Владимир Гланц

ДНЕВНИКИ

(1995-2006)

Стихотворения

Донецк - 2008

1995

*   *   *
А я к себе не подпускал.
Я был ещё нормален.
Казалось, глубже зачерпнул –
прозрачнее вода.
Но опыт жизни показал,
повсюду аномален,
и можно черпать, где взбредёт,
но лучше – где беда.
Гляжу окрест. Гляжу под нос.
Мне есть кому перечить.
Свою главу перечитал –
мне есть что исправлять.
Как неумелая свеча
коптит усталый вечер,
и лезет на гору строка –
пространство искривлять.

*   *   *
Был хищным глазомер у столяров вначале.
Потом по ним прошлись с кнутом и топором.
Потом раскрыли суть Гулаговской печали,
втоптав в двадцатый век кирзовым сапогом.

Они превозмогли. Они своё сумели.
Ведь хищный глазомер прикладом не унять.
Коль приключился он, совсем иные цели,
иная – не убийцы – благодать.

*   *   *
В желток макается листва.
Потом, естественно, просушка.
Потом, как водится, пирушка
и выяснение родства.

Итог?.. Теряем речи дар.
Вкруг сердца сквозняки – в итоге.
И непонятливее Боги,
и промелькнувшей жизни жар.

*   *   *
В тенетах извращённого ума,
где подковырки и намёки,
где многозначность подоплёки,
и честность в служки отдана,

всё будет вкривь, всё будет вкось,

какое дело не примеришь –
ты сам себе уже не веришь,
ты сам в себе случайный гость.

Осталось тризну отдалить.
Кому нужны твои потаи?
Дух обвинительства витает.
И прежнее не отмолить.

*   *   *

Вынь да положь – это я о душе окаянной.
Стань ей на горло – это о песне своей.
Осени воздух пропитан тоской и туманом,
и непонятными кликами серых гусей.

Землю чужую они как свою почитают.
Тоже стараюсь, но своего не сыскал.
Утренний воздух как льдинка прозрачная тает.
Глянешь, к обеду тепла дополна приласкал.

Боже ж ты мой, почему у гусей получилось?
Может по сердцу им скука прилизанных мест?
Осень как будто домой в мою душу вломилась.
Клики гусей, и ни слова надежды окрест.

*   *   *

Всё удивительно, поверьте:
Ваш адрес на пустом конверте,
лежащее во мне письмо –
ещё не начато оно.

И шорох листьев под ногами
и месяц с гнутыми рогами
в него запрыгнуть норовят,
пожалуй, сотню дней подряд.

Но не начать… Начало, где ты?
Мы – неоткрытые планеты.
Мы где-то есть! Пойди, проверь…
Эй, кто там открывает дверь?

Письмо? Не может быть. Пожалте!
Упало сердце? Не лукавьте.
Ведь проще было – избежать,
чем так над строчкою дрожать.

*   *   *

Дотащиться до смерти,
до бурьяна за домом,

и упасть, и подумать,
слава Богу, знакомы
это мутное небо,
с дождем поминутным,
этот грязный песок
и казённое утро,
этот лагерь размером
от детства до смерти,
и убористый почерк
на бойком конверте,
из какого-то, там,
заграничного рая,
где не имут тоски,
да, и смерть там другая.

* * *

Да, Бог с ним, с наслаждением в потае!
Пускай хлебают, если им пристало.
Я свой пробел уже не наверстаю.
Мне лжи и так порядочно достало.

В моей нелепой жизни принималось
на веру многое, но здесь я не поверю,
что счастье только ими познавалось,
и только к ним заглядывало в двери.

* * *

Давай-ка на сцену! А где же поклон?
Так с залом не поступают.
Ты знаешь, если поставлен на кон,
и клячу всерьёз понукают.

Хочешь, не хочешь, играй как все,
стремись к чему не стремился…
Однажды я ставил на скорый успех,
едва опосля отмылся.

* * *

Памяти М.Ц.

Елабужская вьюга.
Сыпучие снега.
Дорога через дом,
который не откопан.
Хожденья по сумётам.
Скрипучесть сапога.
И вдоль погоста –
если б – тропы…

Пришел бы – да далек.
Склонился бы – и прочь…
Писала вкривь и вкось,
Заламывая руки.
И каждое тире,
чтоб нас больней волочь,
чтоб дать понять,
какие в слове муки.

* * *

За медленную речь. За восковые губы.
За то, что говорим как будто мы одни.
За то, что мир нам процедил сквозь зубы:
«Спаси, оборони и в сердце сохрани!»

За то, что, не уснув, мы тянемся к рассвету
и снова говорим, как будто невдомёк,
нас в этом мире, верстами воспетом,
не может поместить и малый уголок.

Мы многого хотим. Нам мало что по силам.
Накопим – унесет. Разбросит – не сыскать…
За всё благодарю! За то, что не любила,
а ведь могла войти, и сердцевиной стать.

* * *

Когда припомните, вернёте.
Когда увидите, пришлёте.
Но не поверите в беду –
что Вас я снова не найду.

Откройтесь сердцу, не томитесь.
На нашу тайну оглянитесь,
и молча, тихо – босиком –
туда, где след прикрыт песком.

Когда вернусь я, отворите.
Когда войду, не говорите.
Пусть просто выглянет слеза.
Пусть просто выкажут глаза.

* * *

Как в пропасть ухнуло,
а вслед летели мы…
Распад… Раздрай…
Слова, и те позорны.
И ощущение вины,
что мы опять во всем покорны,
что нами вертят так и сяк,

и вовсе не берут в расчеты…
Уходит невозвратно что-то.
Что? Объяснять я не мастак.

* * *

Лишь небу на всё и на вся наплевать,
Россия ли там или дале.
Приспела охота, давайте летать
в свои заграничные дали.

Приспела охота, извольте забыть –
живите по новой моде…
Мне – что? Мне не надо топырить грудь.
Меня узнают по морде.

Тоска такая, что спасу нет.
Мне неба привычки ни в жилу.
Россия, ты дашь наконец ответ:
«Одни лишь евреи лживы?»

* * *

Лишнее с лишним – это лишь ведомо.
Звуки, реченья? Кому? Для чего?
Вы понимаете, Боги нас предали.
Мы, понимаете, дети Богов.

Да, понимаю. И то ли участвую,
то ли вхожу в рассужденья других?..
Но без предательства люди не здравствуют.
Нету не преданных. Нету таких.

Сами ль нацелены? С детства запроданы?
Гений, и тот приторговывал для
жизни, в которой ни слава народная,
ни прозябанье не стоят рубля.

* * *

Меня тоска в потемках отыскала.
И нарекла своим. И поднесла
бумагу, грифель, свечку в полнакала,
и тайную свободу ремесла.

Всего-то дел – наполниться словами,
им не мешать и, помахав пером,
избавиться – пускай взрослеют сами –
и все свои сомнения на слом.

* * *

Маком по белой бумаге посеяно.
Кровью ночами бессонными полито.
Жизнью в глаза и вдогонку осмеяно.
Сердцем любимой до срока не понято.

Мне бы в прислужники. Мне бы в угодники.
Век обожает застенчивых хищников.
Где там, бредущие с посохом сборники,
если мы сами давно уже лишние?

Что, там, удача, которая где ещё?
А не случится, так вовсе непризнанным…
Прячут усмешку до срока побоища,
Перемигнувшись с гулливыми тризнами.

*   *   *

Меня не стоит – на свободу.
Я не надежен. Я сорвусь.
И буду в ясную погоду
нести заплаканную грусть,

и буду в слов перемещенье
вносить вселенскую печаль,
и понимать под всепрощеньем
стихов таинственную даль –

необъяснимых, невозможных,
такие ввек не сочинить…
Прости меня, безгрешный Боже,
я жаждал счастье учинить.

Но оказалось слишком кратким,
настоль на кончике пера,
что чуть смолчит, и тут же гадко,
и тут же солнце со двора.

*   *   *

Мёртвых с погоста не носят,
новых страданий не просят,
старых, и тех, выше крыши.
Мёртвых, кто ныне услышит?

Прав ли? Не знаю. Но всё же,
жизнь меня больше тревожит,
раны её и коросты…
Охолоните, погосты!

*   *   *

Молчите? Вас судьба не тычет.

Мы сами были хороши.
Её бесстыдное обличье
считали разумом души.

А впрочем… Впрочем, говорите.
Слова Вас к цели приведут –
всё то о чем сейчас смолчите,
назавтра вызовет на суд.

*   *   *

Нет права плакать надо мною.
Нет права плакать над другими.
Случилось – были мы живыми.
Случалось – спорили с судьбою.

Как появились – так уходим,
следы напрасно оставляя,
и дождь унылый зазывая
вдали от недоступных родин.

*   *   *

Нечаянно заметив, что жизнь проходит мимо,
негаданно услышав, что ей возврата нет,
с улыбкой постигаешь – конечно, устранимы,
и если разобраться, в том жизни весь секрет.

И что же, присмиреем, и сразу станем тише?
Да, полноте. Ни в чем нас нигде не удержать.
И пусть она, чертовка, с нас полной мерой взыщет,
но нас не образумить – над каждым днём дрожать.

*   *   *

Не нас судить.
Не нам судиться.
Не нас учить.
Не нам учиться.
На том стоим.
Нас не подвигнуть.
Судьбу, и ту, уговорим –
чтоб раньше гибнуть.

*   *   *

Не я их должен опекать.
Они – себе защита.
Не я их должен подучить.
Пусть будет всё как есть.
Со строчек шкуру? Вот уж нет.
Пусть даже не прочитан.

Но надо всё ж предполагать
достоинство и честь.

*   *   *

Не первенство тщеславий,
не тайный амулет –
усталая гроза в окна квадратной раме.
И вовсе не сильна.
И смысла, может, нет.
Так, отрезвленья дрожь в проснувшемся тумане.

Выходим ли в тираж,
одно ль всего ушко,
она – твоя, и в этом лишь утеха –
согласье прошагать
свой скорбный век пешком,
не видя смысла в мнимостях успеха.

*   *   *

От неразумности судьбы зависит дата смерти.
От благосклонности толпы – пощада на века.
Я вижу, как меня ведут вдоль гибельной кареты,
как тянется к седым вискам косматая рука.

Мне ничего не изменить. Я обожаю казни.
Такая редкость – посмотреть на палача вблизи.
«Спасибо, – прокричу толпе, – за этот дивный праздник.»
«Спаситель, – прошепчу судье, – ты дурака казнил.»

*   *   *

От руки, онемевшей просить подаянье у скаред,
до мозолей, упрятанных в тьму башмаков
простирается жизнь – то улыбку нежданно подарит,
то прильнёт и замучит в удачливой лжи вожаков.

Я бы разве просил… Я бы разве стремился наружу…
Мне и так – исписался, и вроде позволено жить.
Жалко, руки твои стали часто одаривать стужей,
и, пугая неверьем, вдоль дома чужого кружить.

Жалко, вовсе не вижу, кому свои тайны доверить.
Кто прочтёт вереницы записанных призрачных снов?..
От руки, онемевшей стучаться в закрытые двери,
возникает мертвящая скаредность слов.

*   *   *

От знобких слов, от их мертвящей хватки,
от междустрочий слабости и силы,

как встарь, моих радетелей нападки,
и, как впервой, свидетелей курсивы.

Я прочь и вспять. Я выставляю локти.
Авось скользнут, обидятся и – баста.
Но, где там, запустили в душу когти,
хотят её до капли заграбастать.

*   *   *

По истечению суда подскажут, как пребыть невинным –
мне посох выдадут и в ночь – в просторы мастерства.
И будут росы между строк кудрявы и обильны.
И может даже простудить величье естества.

Всё просто, если рассудить и не шутить с рассудком.
Суд в нас самих. Он в скорбный час отмерит правый срок.
Ведь наказание своё неизмеримо жутко,
пока не в силах разыскать пяток целебных строк.

*   *   *

Под гноем строк не благодать,
не укрощённая природа.
Их надобно марганцевать,
затем сушить хотя б с полгода…

Но я, во всём нетерпелив,
и гной поэтому не изгнан.
И марганец не утонил
души бессчётные капризы.

*   *   *

Пойду, покараулю… А вдруг, как прежде, осень
промчится в отдаленьи протянутой руки?
Я помню, как ловили её колонны сосен,
хватая отраженья в излучинах реки.

Пойду, перетолкую… Мне не с кем объясниться,
что осень – вровень с сердцем – живёт во мне.
Она, давно известно, строптивая девица,
и ни одной улыбки в её резном окне.

Пойду, переиначу… Я не смогу покорно.
Не выдюжить мне осень вдвоём с твоей враждой…
Пригорки и долины полны листвой игорной,
и заняты по горло смертельной ворожбой.

*   *   *

Раскричались.

Раскаркались.
Не желают понять,
я на ихнего Бога
не пытаюсь пенять,
я от ихних обычаев
взвою средь сна,
и горячею кровью
умоюсь сполна.

*   *   *

Раньше весны воды и зверей,
раньше догадок о лете,
свет возникает в душе моей,
каждое слово метит.

Раньше догадок – куда, там, весне? –
ты – средь парения снега.
Только бы верила, счастье во мне,
и не молила побега.

*   *   *

Стихи – невесёлая штука.
Сначала слезами омоют,
потом посыпают пеплом,
а то и вовсе распнут.

Они при себе не держат
ни гениев, ни героев –
лежалый, как камень, пряник
и захудалый кнут.

Они не имут ответов,
и не находят дороги.
Идут ни шатко, ни валко.
Куда? Да, сами к себе.
И если ещё не поздно,
востри поскорее ноги,
или, безумства ради,
перечь беспощадной судьбе.

*   *   *

Так слаб, что смерть не почитаю.
Так сед, что белой ночи не стыжусь.
Лишь солнце ввысь,
как хладный лёд растаю,
и в каждой малой капле помещусь.

*   *   *

Хочу себе оставить право на ошибку.
Хочу и синяков, и даже – немоты.
Слова придут. Они качают зыбку,
в которой огорченья – не цветы.

Они не там, где сладкие подарки,
и с ними ни к чему фальшивый уговор.
У них твои непостижимые запарки
и твой неуловимый уговор.

*   *   *

Чем глубже нож,
тем яростнее речь.
Из самого нутра она,
из самой боли.
И руки ни к чему
на помертвевшем горле,
коль сам себя
не хочешь уберечь.

*   *   *

Чем больше к истине стремимся,
чем больше тщимся – вот она,
тем реже мы любимым снимся,
и сами улыбаемся средь сна.

1996

А жизнь одна –
такая арифметика.
И родина одна –
такой, брат, парадокс.
И нет назад
желанного билетика,
и русский
не кончается вопрос.

Пусть кто куда,
а я ночами плаваю
всё вдаль –
в её материки,
как будто без меня
не стать ей вновь державою,
да и счастливой –
тоже не с руки.

*   *   *

А мне с плеча чужого

подсунули судьбу.
Талдычили, довольно
походов в голытьбу.

Как будто больше проку
в потасканном добре
и в лаковом газоне
на крохотном дворе?

Да, наше подкачало –
позор и стыд.
За жизнь поднакопилось
желаний и обид.

Наивно полагали –
не по живому рвать…
Даёшь седьмое море –
кисель хлебать!

*   *   *

А день, когда ни строчки,
зазря – коту под хвост.
Как будто обесточен,
как будто не дорос
до их мольбы и ласки,
до гиблой ворожбы…
А день, когда ни строчки,
страшней твоей вражды.

*   *   *

А память ростом в тыщи вёрст –
по горлу, по ногам.
Мне не решить вовек вопрос,
зачем я здесь – не там,

зачем ещё живу, дышу,
по улицам влачусь…
Я, видно, дочитал главу,
а свет тушить боюсь.

*   *   *

А он, глупец,
себе не удивлялся.
Ну, музыка…
Она ведь, где ни глянь.
И снова в звук –
небесный –
погружался –
и преступал

обыденности грань.

*   *   *

А чернь, и только чернь,
причастна к перегною.
Нам не по силам
даже толком сгнить.
Всё тщимся оценить себя.
Всё бесконечно ноем.
А жизни просто наплевать,
кого судить.

*   *   *

А искренность порой не в ногу с мастерством.
Ей тесно в мастерстве. Ей даже в жизни тесно.
Попробуй, погрози разгневанным перстом,
коль ей удавка ныне интересна.

Как горло обоймёт? Как пересилит страх?
Как вздох последний нежно облюбует?..
А то, что мастерством считается в стихах,
лишь избранных неискренне балует.

*   *   *

А что оказалось?
Потатчик на прошлом помешан.
А что воспевалось?
Представьте, родные места.

Живут-поживают в охвате
душистых черешен,
да сосны смыкают над ними
не колкие кроны – уста.

Вот так и поймёшь, ты откуда.
Земля ведь повсюду похожа.
А небо и вовсе – в одёже
курносых блажных облаков.

Но выгонят, выпнут –
и лезешь из собственной кожи,
хоть разик взглянуть на страну
незабвенных оков.

*   *   *

А если не цирроз, не лезвие меж рёбер,
то как достойней выйти из игры,
когда на одинаковых надгробьях

чужого воронья беспечные пиры?

Что слёзы бытия, пролитые напрасно,
когда уже ни кроны, ни корней,
и даже приговор «калины красной»
не дальше одинаковых камней.

*   *   *

Был слаб. Отечество любил,
не требуя взаимности.
Оно не помнило о нём.
Подумаешь, герой?!
По соснякам да кедрачам
прошёлся, божьей милостью,
да бочки омулёвой дух
прихватывал порой?!

Как помнить о таких как он?
Не слишком ль много хочется?
И я спасибо говорю,
за то что знал рассвет,
когда гольцам позагорать
ещё немножко хочется,
но шапку нахлобучит в ночь
нежданный снег.

*   *   *

Бахметьев – кто?
Бахметьев – неудачник.
Он родился с отметиной на лбу.
Он жизнь затеял начертать иначе,
и выиграл смертельную пальбу.
Его бумаги выжили случайно.
В них поиск мёда в перелесках трав,
прелестный вальс с картавинкой печальной,
останки николаевских застав
и описанья засек, будто он нарочно
их ставил, где хотел, сзывая татарву,
в степи, в её томлении полночном,
когда она, нагая, – на траву…
Поэт и есть поэт!
Ни много и ни мало
он пули отливал себе – не для других.
Жизнь хороша, да жаль не перестала
к нам подсылать советчиков своих.
Они его учили непрестанно.
То хмур. То сед. То расточает лень.
А лень поэту только и желанна.
Она рождает – Болдинскую сень.
То вкривь, то вкось, то скопом – принародно

стихи выходят, правила поправ.
Бахметьев, ты подлец!
Ты спал – когда угодно,
не признавая суетных потрав.
Но всё-таки скажи, как может угораздить,
шептать слова, пелёнки им менять,
как превращать их в торжество и праздник,
когда беду по жизни не унять?

* * *

Бирюк, сосед анахорета,
очнись, ведь песня не допета,
к тебе направилась она.
Взъерошь нечёсанные лохмы,
не так на этом свете плохо.
Жаль, горе от ума.

Он испоконь вредил и тщился.
Ещё Вершитель не случился,
а ум был тут как тут.
Начёркал, в списках расстарался.
Когда б в том смысл оказался?
Иль ум враги зачтут?

Ну, не брюзжи. Меж рам скрипучих
худая вата рёбра пучит,
и зиму ворожит.
И ты не прячься под запором.
Тебе уже проснуться впору.
Вдруг песня запуржит?

* * *

Памяти И.Б.

Был неоправданно задумчив
и ненамеренно смешон,
швейцару говорил «голубчик»,
и пил невиннейший крюшон,
потом с извозчиком лукавил…
«Видали? Барин, а простак».
Наутро в саван облекали,
привычно плача: «Как же так?!»
Ведь то, что жизнь качнулась к прозе,
и кровь плескалася окрест,
не повод – чтоб в неловкой позе
лежать напротив злых небес.

* * *

Беглянку-душу под надзор,

став соглядатаем бессонным,
потворствовать словам,
суд над собой вершить,
коль за нарошечной стеной
в движеньях заоконных
безмолвие заблудших душ
пространство ворошит.

*   *   *

В пространства листопадов
вступить и осознать,
что смертный час –
когда вернёшься оземь,
и медленно идти,
и к Богу не взывать,
и головой вперёд,
на скошенную озимь.

*   *   *

Весна ведь вовсе не спешит.
Её подманивают свистом
душе подвластные солисты
на ломких веточках сушин.

Из клюва в клюв, из уст в уста,
они такое преподносят,
что просмолённые перста
к ним тянут анфилады сосен.

И так всегда. Из года в год.
И нет ни устали, ни сладу…
Весна выходит из засады,
и смысл песням придаёт.

*   *   *

Вот я, ничтожен, а берусь
влачить слова среди людского блуда.
Мне неизвестно, что – откуда.
Я сам безумства слов боюсь.

*   *   *

Всё уведаша, яко трава, всё погребишися…
Отчего дома, сколь не трудись, вновь не сыскать.
Это по глупости миру сулим – жизнь перепишется.
Спьяну чужбину, и то, не дано приласкать.

Всё увядает. Всё глохнет. Всё погребается.
Хочешь душой прикипеть – отнимает судьба.

Где ещё отчее, яко трава, пригибается?
Где ещё горше и злее по душам пальба?

*   *   *

В крохотном мире несчастий,
скаредных дней череде,
есть эликсир от напасти –
сопротивленье судьбе.

Есть удивления совесть,
взлёты упавшей души –
слов непридуманных повесть,
громокипенье в тиши.

*   *   *

В предчувствии и предвкушенье –
вдруг говор выше вознесёт –
услышал тихое реченье,
когда слова наперечёт,

когда им – вес, и боль, и место,
в котором небо утешать…
И всё сбылось. И было тесно.
И глубже довелось дышать.

*   *   *

В этой воде от беды миллиметры.
В этой тиши не заплачешь навзрыд.
Дуют, скрипят незнакомые ветры.
Стол не душевности ради накрыт.

Синь прозябает меж наволок душных.
Гордое слово – под ноги, на слом…
Век, я, пожалуй, не стану послушным,
душу не выдам тебе на поклон.

*   *   *

В воскресение осень.
Ну, и пусть. Ну, и ладно.
Не впервой отгонять от души облака.
Станут мысли грустнее
и будто прохладней,
как твоя незнакомая вечно рука.

Ты приникнешь.
Ты в осень ступаешь с опаской.
Что она нагадает?
Потоп и разор?

А вокруг обступают
печальные краски,
как оставленных близких безмолвный укор.

Где мы? Кто мы?
Зачем нас по свету
носит ветер, как павшую оземь листву?
Неужели мы держим
ещё на примете,
как надежду, бредущую в осень версту?

*   *   *

Виллона наказав, мир дал ему бессмертье,
и сколько весит зад поэта, больше не секрет.
Таинственна мораль двадцатого столетья.
Жаль только воровства между поэтов нет.

Им некогда ловчить. Они усердно сеют
в духовный перегной высокие слова.
Пустяшен гонорар? Но разве он посмеет
в не собственный карман скользнуть из рукава?

Взамен тому душа. Здесь до сих пор привольно.
И тщимся доказать, кто прав, а кто не прав.
Нет, чтобы перестать. Ну, хватит. Ну, довольно.
Бессмертен только строчек нрав!

*   *   *

Державина уж нет.
Озорничать не надо.
Хотя чуток седин –
и снова бес в ребро.
Старик был хоть куда:
за кованой оградой
глаголов уберёг
бесценное добро.

А если б он живой?
Мне и тогда не впору.
Курчавость есть,
да слово не востро.
Тут надобно одно –
скакать чертёнком в гору,
в бессмертье обмакнув
гусиное перо.

*   *   *

Доверчивы…
Судьбу свою вверяем

политикам,
а то – материкам.
Итог один.
Отечество теряем.
Да и судьба,
как девка,
по рукам.

*   *   *

Давай торжествовать!
Перо прибавит горя.
Ему не обольститься
вместилищем души.
Оно с тобой всегда.
С ним даже в разговоре
всё можешь позволять,
но ложь не вороши.

*   *   *

Для завершения судьбы
недостаёт какой-то точки.
Для прозябания во тьме –
всего-то ничего.
Прости, подлунный мир,
я нынче так непрочен.
Мне подземелье тишины
желаннее всего.

Пусть сверху всё как есть:
деревья, сена груды,
цветы и листопад,
и женщин болтовня.
Ещё я потерплю.
Ещё живой покуда.
И трепетность последних рифм
зависит от меня.

*   *   *

Есть грех
иль сущее всегда греховно?
Есть жизнь
иль это просто мимолётный сон,
а то что числится духовным,
приходит к плоти на поклон?

*   *   *

Единственно где можно объясниться –
в клочок бумаги вколотить слова,

и пригубить печаль, и вскоре позабыться…
Иначе для чего забвения трава?!

* * *
Ещё не суд. Ещё есть время оправдаться.
И если нас возможно извинить,
то лишь за то, что где бы ни скитаться,
нам души прежние уже не изменить.

* * *
За себя пишу – не за каждого.
От угодников вовсе далёк.
Не такого Америка жаждала.
Мои сны ей совсем невдомёк.

Да и там, где командовал росами,
где на зазимок твёрдо ступал,
жизнь иными грозится вопросами,
и читает иное с листа.

* * *
За хлеб, отпущенный по водам,
за то, что числилось добром,
ещё расплатится свобода
казённой встречей с топором.

Ей выдадут сполна, с избытком,
чтоб уцелевшим осознать,
была последнею попытка,
и с нар отныне не слезать.

* * *
Зачем от старых врак
бросаемся к другим,
ещё не зная,
что легло на плечи,
и почитаем вновь
бесценным, дорогим
затасканный мотив
и захудалых певчих?

* * *
За память, которой желанней гроши.
За мнимость величья продажной души.
За то что мы грешные люди.
За то что другими не будем.

*   *   *

Зима как повод к одичанью.
Крик замерзает на лету.
И снега знобкое ворчанье.
И от него придёшь в отчаянье,
пройдя хотя б одну версту.
Когда бы труд не безвозмездный?
Дымит растопка. Ночь пуста.
Да, жизнь, пожалуй, бесполезна.
Она – заманчивая бездна,
недостижимые уста.

Наутро смотришь виновато.
Снег будто бы слегка просел.
И вправду, он теперь, как вата.
Так вот, зима, тебе расплата?!
Я на правёж не зря поспел!
Напрасный форс… Опять морозы.
Опять раздумья о конце,
верней, в чём смысл метаморфозы,
когда ты перейдёшь на прозу,
с улыбкой постной на лице.

*   *   *

Знаю, известность начнётся позднее.
В ранние сумерки подле моста
все рыболовы и ротозеи,
видели как были рады уста,

как проскользнуло под сваи светило,
и в потемневшее лоно реки
сыпались звёзды. Одну ты спросила:
«Можно ли счастьем кормиться с руки?»

*   *   *

И похвала в иных устах…
Не спрашивайте дальше.
Земля уходит из-под ног.
Ты – фабрикант стыда.

В нас накопилась, видит Бог,
ежесекундность фальши,
что даже слово в простоте
не пустим на порог.

*   *   *

И надобен конец, чтоб зачеркнуть начало.
И надобно отнять, чтобы словам назло.

Зачем ты нас на царство величала,
обвила души равноправия узлом?

Зачем твоих пространств противоречья,
метания наотмашь, нараспах,
и в пьяной песне запах свежей речи,
и жизнью нераспознанный замах?

Довольно. Отойди! Ослобони подпруги.
Ещё живу – не поступь мертвеца…
И надобен конец, чтобы вернуть на круги
потерянную суть продажного лица.

* * *

И сон весь как долгая жалоба,
как стиснутый лёгкими крик:
«Когда б я?.. Да, если бы знали бы?..»
Всё знали, да леший настиг.

Всё знали! но очень уж хочется
отведать заморских харчей.
А вдруг там бездумней хохочется?
Иль солнце калит горячей?

Отведали… Давимся хохотом.
И счастье надеждам под стать.
Ведь знаем, что плохо Там, плохо Там,
да некуда сны подевать.

* * *

Извольте угождать –
иначе дело плохо.
Сумеете восстать –
я Вам не судия.
Но вот Она – на круг,
ни вздоха, ни полвздоха –
ведь без неё, как ни крути,
нет смысла бытия.

Её вскормили боль и сны
отрочества и детства –
всё что случилось привечать
меж небом и травой.
Она от счастья далеко!
Как будто счастье – средство?
Как будто угождать душе –
само собой?

* * *

И отлетит тепло.
И в пору одичанья,
когда пространства душ
сомкнутся на нуле,
и только бесконечное отчаянье
с тобой на проклятой земле,
когда, казалось бы,
сживи себя со света,
никто не то что слёз –
слезинки не прольёт,
случаются Слова,
но вовсе не ответы,
к которым боль
сердечная прильнёт.

*   *   *

И прихотей полна, и детского притворства.
Откуда что? Сама не разберёт.
То, как щегол, в Воронеж унесётся.
То в Переделкино депешу отобьёт.

Сказать, боготворю? Не то чтобы, но где-то.
Который час? Она стучит в окно.
Знать, снова обитаема планета,
с которой вдохновенье заодно.

*   *   *

И всадник, которому имя Смерть,
и ночь, у которой в Лету дорога,
готовы меня в лицо рассмотреть –
следы то и дело снуют у порога.

И я, не доставший до неба рукой,
тебе, и то, не сумевший поверить,
к земле припадаю – прошусь на постой,
постылое тело пытаюсь примерить.

И всадник, и ночь, и судьбы круги –
они, как у всех, не бывает иначе –
ведут себя так, будто мы не враги,
как будто я в дружеском списке означен.

*   *   *

И что же нам, в конце концов, положено по праву?
Клочок небес? Сирени дым? Похрустыванье льда?
Когда и от каких щедрот вползает в нас отрава,
мол, что не куплено, увы, не ценят никогда.

Да, полноте!.. Да, отчего ж? вот шапки оземь тучи.

Весь мир зловещ и нелюдим. Остался только гром.
Но вот иссяк… и в тот же миг к тебе на щёку – лучик,
в соломе золотых волос, в сиянье голубом.

И вмиг воспрянет всё вокруг. И нет ни в чём опаски.
И небеса войдут в сирень. И лёд души обмяк…
Напрасно звяканье монет, их купленные ласки,
коль божий день – безбожный день! – дарован нам за так.

*   *   *

Идите к мёртвому!
Он больше ждать не может.
Успел иль прозевал,
извлёк иль обронил,
отныне жизнь не потревожит –
он смерть подругой объявил.

Недвижен… Хладен…
Неподсуден!
Так пусть не ошельмует речь!
И потому, давайте, будем
его хоть с этих пор беречь.

Нам отвечать – живым и праздным.
Идите к мёртвому!
Пока
среди травы и свежей грязи
могилы не сошлись бока.

*   *   *

И плохим, и хорошим его наделил.
И терпеньем, которое, может быть, лишне.
Ну, подумаешь, краски безмолвно копил –
от жемчужных зарниц до оржавленных вишен.

Ну, подумаешь, знал всё про всё наперёд,
будто знание может исправить ошибки,
и когда мы искали в поступках рассчёт,
замирал удивлённо с бессильной улыбкой.

*   *   *

Иная кривизна
и прямизна иная…
Как будто был
особый прок
в том, что иначе
Время понимая,
ты мог и впрямь любить
отеческий порог.

*   *   *

И высказаться всласть.
И выплакаться вдоволь.
Но как бы ни пошло –
себя превозойти,
и осознать, что суть
не столько в горькой доле,
а в том, что и зачем
ты делал по пути.

*   *   *

И шифр.
И тайнопись.
И междометия.
А как иначе?
Как окоротить
подробности,
в которые столетье
нас полагало кинуть
и забыть?

*   *   *

И от своих несовершенств,
куда там, не в восторге,
но то и дело, там, не там,
припомнишь, как грешил…
Но, Боже, огради меня
от раскаяний оргий,
когда готовы оболгать
всё то, чем прежде жил.

*   *   *

Из недоверия,
из окликов вражды,
из тайной зависти –
её любезных взглядов,
из нелюбви –
случайной ворожбы,
ведь надобно любить,
ведь непременно надо,
из лени, наконец –
она-то на коне –
мы состоим,
гордимся или прячем,
чтоб всюду обвинять
в немыслимой вине
кого-то – не себя,

планиду – не иначе.

* * *

Памяти И.Б.

Из очкастеньких, из робких.
Из несломленной Одессы!
Без его цветистых сказов
быть ли Бене королём?
Он пытался жить по книгам –
общим, высшим интересом,
оставляя честолюбцам
сладость властвовать враньём.

В горле – ком. Один он, что ли?
Кто здесь наши и не наши?!
Их, поверивших, пожалуй,
никогда не перечесть.
Жаль их очень, жаль их вечно,
в разночасье разно-павших,
возомнивших слово правды
в жизни суетной расчесть.

* * *

И я был мерзок, жизни подпевая,
как будто бы её мелодия права,
и ложь за правду принимая,
и за объятья – жернова.

Когда бы так… Когда бы вместо
всенепременного вранья –
от счастья хоть мгновенье тесно.
А в строчках? В строчках – боль моя.

* * *

И нерасчётливость пера.
И мнимые успехи.
Бумага стерпит.
Кто же знал,
бесплоден с жизнью спор.
Я слышал, лучшая пора,
не замечать помехи,
и даже поздние года –
ещё не приговор.

* * *

Памяти Б.Ч.

Куда уходит человек? В какие веси?
Где начинается конец беспечного пути?
Разгадка мáнит и манúт. Но как над ней не бейся,
ответа нам не отыскать, вовеки не найти.

Уйдём как все. Как он ушёл, прекраснодушный Борька.
Он всех мечтал перемирить. Имел особый дар.
Он русским был. Он Русь любил безудержно и горько –
от малой пригоршни махры до беспробудных нар.

*   *   *

Кто может без притворства
разъять на звуки душу
и выставить, страдая,
свой стыд и срам,
и, если надо, даже
мгновенно жизнь порушить,
и замереть навеки
среди оконных рам?

*   *   *

Как брадобреи стерегут
нашествие щетины,
стремясь за бритвой уследить,
совсем не за щекой,
так были уязвимы мы
и будем уязвимы,
и брадобреям отправлять
нас – всюду – на покой.

*   *   *

Как волочат металл,
чтоб сделать тоньше, уже,
чтоб в нужный час
в бараний рог свернуть,
так жизнь, то нехотя,
то горло взяв потуже,
куда-то волочит – не встать,
не продохнуть.

*   *   *

Когда б не наказанье быть самим собой –
не восставать, не обожать гоненья –
униженно предстал пред ласковой судьбой,
и шапку снял, прося благословенье
на бегство, на исход, хотя б в тартарары,
на вечности бесценную минуту…
Мы носимся с собой до срока, до поры,

пока не разберём, что вездесущи путы.

* * *

Памяти Б.Ч.

Красные помидоры, вот и настал черёд.
Слово в ночную пору в тихий трамвай войдёт,
хмыкнет на повороте, выскочит на ходу.
Зря ли твердят в народе: «Не подмани беду!»

Разве советам внемлем? Много их. Всех не счесть.
Мне бы в родную землю вместе с Борисом лечь
и повторять без срока в потусторонности дня:
«Красный помидоры кушайте без меня».

* * *

Кончаемся загодя – впрок,
хоть далее жизни немало.
Какой? Опускаю забрало,
догадки беру на замок.

* * *

Как давеча случалось,
опять явилась осень.
Стоит себе, играя
соломенной косой –
щемящая улыбка, и ничего не просит.
А ведь она, пожалуй,
превыше всех красой.

А ведь она, представьте,
от наших бед устала.
Ей бы листвой играться,
да босиком ходить.
А тут, как нож у горла,
во что бы то ни стало,
ей предлагаю с рифмой
знакомство заводить.

* * *

Жене

Как поздний ребёнок –
ни в мать, ни в отца…
Откуда берётся, откуда
небесная пропись в овале лица,
в характере жар и остуда,
в повадке – брести неизвестно куда,

меня волоча за собою?..
И всё это вовсе не дни, а года,
и названо – сладкой судьбою.

* * *

Как оговорено бедой,
ни в чём не будет меры:
ни в униженьях, ни в слезах –
уходят сквозь песок.
Ты не последний,
видит Бог.
Ты далеко не первый,
кого отринул,
оттолкнул
отеческий порог.

* * *

Коль в мраморе не замурован,
коль снег, как крупная картечь,
тебе и вправду мир дарован
не для того чтоб жизнь стеречь.

Резон простой – в ней мало проку.
Но вот обвисли небеса,
и снег посыпал ненароком
на златокудрые леса.

Охолони! Не прячь двухстволку.
Утихнет за ночь снеговей,
и сможешь медленно и с толком
пройтись по лежбищам полей,

по разномерности увалов,
и там, где лес и злат, и сед,
приять – и в мраморе немало
лукавства, вовсе не побед.

* * *

Коль вовсе не осталось суши,
в которой кто-нибудь не лгал,
предложено всё сущее улучшить,
и ложь считать началом всех начал.

* * *

Листик за листиком –
осень вокруг.
Всё, что случается,
вовсе не вдруг.

Всё, что предписано
нам не додать,
можно у осени
предугадать.

Листик за листиком –
прочь календарь!
Многое было
нелепым и встарь.
Значит, бессмысленно
больше хранить.
Значит, нерадостно
верными быть.

*   *   *

Лишь одинокий ворон исподлобья
на то, что сотворил я, поглядит
и порешит – не надо мне надгробья,
казённых и постылых плит.

Пусть будет просто серый камень,
с неровной гранью, а на ней
три слова из посланий к Анне –
«любил нерасторжимость дней».

*   *   *

Люди мелкого счастья,
жертвы мнимых щедрот,
постоянно во власти –
кто чего подаёт, –
подбирают и ропщут,
проклинают и ждут,
перелески и рощи
никогда не крадут –
не пригонят к подворью,
не впихнут в сундуки,
и над осени горем
им вздыхать не с руки.

*   *   *

Мне предложили жизнь возобновить.
Вновь подставляться, вновь склоняться,
но от бумаги отказаться –
за счастьем гонку возлюбить.

Зачем? К чему? Кого я догоню?
Неужто мишуры мне не достало?
Советами накормлен до отвала –
по сорок раз твердят на дню.

Ходатаи мои, Вас хлебом не корми,
дай жизнь чужую выправить, отладить…
Но мне пристало строчки нежно гладить.
А жизнь иную?.. Боже, сохрани!

*   *   *

Между нами не звуки –
иные традиции.
Здесь нормально грести под себя,
о своём воевать.
Может, время пройдёт,
собираясь спьяна в экспедицию,
я начну лишь своё
узнавать-признавать?

День высок и красив.
Он – при солнце.
Он этим бахвалится.
Мне бы руки подать.
Только нынче дружить не с руки.
Жизнь сквозь пальцы ушла.
Только память
упрямо цепляется,
и сосновое детство
плывёт вдоль сибирской реки.

*   *   *

Мне как-то невдомёк
услужливо смеяться.
Мне как-то недосуг
покорноглазым быть.
Привычней и милей
на подлость нарываться
и неприкаянно любить.

*   *   *

Мне не было больно,
когда отрывали по крохам
всё то, что не смели,
верней, не могли оценить.
Мне не было больно,
когда порешила эпоха,
что надо меня от Тебя
навсегда отстранить.

И нынче мне, нет,
мне совсем не обидно,
что воздух иной,

что ещё продолжаю дышать…
Жаль только одно,
над Тобою просветов не видно.
Неведомо кто продолжает
как прежде мешать.

*   *   *

Милостивый сударь, разочарованье
позволяло раньше вызвать на дуэль,
и шагами меряя смерти расстоянье,
нехотя приметить, как пушиста ель,

как бездонно небо в облачных перинах,
мысль того огромней – вглубь и вдаль…
Жизнь – такая мелочь, впрыск адреналина.
Разве расставаться будет жаль?

Пусть, кто очарован, примечает дальше
всю эту нелепицу лжи и слёз…
Сударь, понимаете, это было раньше.
Нынче не приемлют жизнь всерьёз.

*   *   *

Не устоять! Америка – как взятка.
Расплата наступает погодя.
Когда глядишь на прежнее украдкой,
прибежище в раю для сердца не найдя.

*   *   *

Не лук на подоконнике,
а лук в руках Амура
стрельнёт, а в рукомойнике
уже гремят авгуры,
и ласка капель лаковых
в предвосхищеньи лета,
найдёт в итогах аховых
спасительную лепту.
А как же? А иначе бы
вам от стрелы не вздрогнуть.
Амур стрелу оттачивал
у лета на пороге.
И рукомойник выстоял
под рифм продвижением –
нужны ведь капли чистые
для звуков охлаждения.
Любовь – она горячечна.
Она всегда стремительна.
Когда бы жизнь растрачена
в амурах расточительных?!

*   *   *
На конец сентября всё по норме, по норме.
На конец сентября от дождей – никуда.
И согласно сему настроенье минорней,
словно с каплями в лад барабанит беда.

На конец сентября слов уже не хватает.
Разве дождь и тоску нам удастся пресечь?
И расхристанный ветер за полы хватает.
И хрустит под ногами безумная речь.

*   *   *
Не грех, а прегрешение,
предчувствие греха –
невольное смирение,
вино в мехах.
Созрело или позже
его испить,
и переливы дрожи
впитать, вкусить?
И горькая огласка
в своей душе.
Невосполнимы ласки!
А говорят – клише…

*   *   *
Нам до судьбы не дотянуть.
Она лишь гениям подвластна.
Нам до себя не добрести –
дорогой бурелом.
А гений в действии простом –
нежданном и прекрасном –
отыщет неприметный ход,
и нас возьмёт в полон.

*   *   *
Не регулярность хороша,
а проблеск,
не полнолуния размах,
а павшая звезда –
таилась, брыкалась,
но вот –
в полнеба дивный оттиск,
и память провезёшь потом
неведомо куда.

* * *

Не буду путаться в ногах твоих,
твержу с утра, а вечером, куда там,
стою, необъяснимо тих,
с улыбкой виноватой.

Мне надобно тебе сказать…
И все признанья – оземь.
Одно лишь помню – лобызать,
как снег декабрьский озимь.

* * *

Но только осень кровоточит –
приникнешь, зрак больной скосит.
И каждым листиком пророчит.
И каждой веточкой грустит.

И потому так справедлива
и так немыслимо чиста.
А то, что после снег – не диво,
ведь в помыслах своих чиста.

* * *

Ничтожен каждый край земли,
будь вспахан или дик,
когда бы люди не ввели
язычество в язык,

когда б не облекли в слова
и куст, и камень, и грозу –
не выдали словам права
предвосхищать слезу.

* * *

Неверие людей тебя да не минует!
Ты второпях отдашь, запросто так, слова.
Их без тебя распнут иль растолкуют.
Кто защитит их мнимые права?

Отвержен или нет, в сомненьях или злобе,
людей не миновать – заказаны пути.
Они – какие есть – необъяснимой пробы.
Неволен выбирать, коль мимо не пройти.

* * *

Не подражанием живу – своей охотой.
Не распинаюсь пред тобой – потерянно молчу.
Мне было что сказать, да не твоя забота,

хотя бы выслушать меня. Я погасил свечу.

Отныне первая не ты. Кому читать? Не важно.
Пусть отлежатся. Что с того? Душа не замолчит.
Я буду прятаться теперь в объятиях бумажных.
А если всё-таки не прав, пусть Время уличит.

* * *

На пристани, в толпе изгоев,
в коростах смрадного тепла,
стою с протянутой рукою,
в надежде крошек со стола,
в расчёте, их перетирая
едва подвижною десной,
вконец понять – тщета земная
с тобой, покамест ты живой.

* * *

Непозволительно штукарство,
и поиски пристойного – меня.
Стихи – не безнаказанность лекарства,
а документ, свободный от вранья.

* * *

М.Поповскому

Не в пустоту…
Я неспроста приемлю
хотя бы одного –
внимавшего сполна.
Он близок мне.
Я с ним излазил Землю.
На нас лежит одна и та ж вина.
Он доверял!
Он подсылал бумагу,
и ждал порой годами
скупость строк.
За что – его?!
У нас всегда во благо
сбивают с мало-мальских ног.
У нас всегда – в стада,
в услужливые стаи…
Не в пустоту!
Один – и до конца!
Редеет ночь…
Он вскоре дочитает.
Я вижу свет его бессонного лица.

*   *   *

На «кембрий» надежда, на «кембрий»,
на нашу пещерную суть –
дарован единственный жребий,
историю вспять повернуть.

Ни шагу в «юру» и «триасы»!
Там страхов уже дополна.
И ящеры вовсе не в рясах.
Их сила – не в складе ума.

Но если прорвёмся мы дальше,
в души заповедную тишь…
На «кембрий» надежда, где с фальшью
не нянчишься, не пошалишь.

*   *   *

Никаких эксцессов не будет.
Разве что, приключится смерть?!
Дети сукины – тоже люди.
Им бы разик один посметь.

Им бы разик взойти над страхом,
дрожь постыдную превозмочь…
Были плахи, и будут плахи,
совесть ведь не прогонишь прочь.

*   *   *

От руки себе угодного
соглядатая бумажного
буду проклят и растерзан
над исчёрканным листом.
Ничего не сделал путного.
Ничего не молвил важного.
Просто вызволил наружу
раздиравший душу стон.

*   *   *

О чём трубит молва?
О гонке по спирали:
Молва и здесь – в повтор,
ей вовсе не до нас?
А помнишь,
как мы вещи собирали,
как душу истончал
неотвратимый час?
…Опять я виноват.
Опять исчезло что-то
из жизни той,

где было тем и тем.
Я знаю. Просмотрел.
Была тебе охота
тянуть спираль туда,
где только память стен.
Ну, кухня. Ну, окно.
Ну, видели, как мимо
несут с базара
грудами огонь.
Ну, помидоры, перцы…
Вот они – гонимы!
Им вечно снится
смертный бой погонь!
Стучат ножи.
Ужо, теперь дождутся,
Да здравствует гювеч
в шершавых казанах!
…Мы не были в плену
бумажных конституций.
Ведь били «по мордам»,
и нам привычен страх.
Ну, полно. Я – того…
Я пошутил.
Откуда
в нас это нежеланье
битым быть?
А впрочем, ведь спираль
всё помнила, зануда,
и не давала ни-ког-да
спокойно жить.
Молчу. Разбередил.
А если жизнь – не в радость?
А если всё же хочется ТУДА?
Молчи, спираль.
Ты, видно, догадалась,
что с нами
при любых условиях
беда.
Ну, полно.
Ну, пройдёт.
Ну, вейся как желанно.
Повторы, новизна –
всё можешь продолжать.
Жизнь, как ни усредняй,
поездки за туманом.
Жаль только некому
за полы придержать.

*   *   *

Осыпает дарами…
Чем листва не подарок?

Наделяет пространством…
Лес в руках сквозняков.
Как никак, а достался
нежданный приварок.
Разве можно иначе
распознать, мир каков?

Разве можно иначе
вопрошать эту осень,
исступлённые краски,
безумный разгул?
Почему получаем
то что вовсе не просим,
а желанное зорко
сторожит караул?

*   *   *

От зла творимого, от наважденья,
что неизбежна в жизни ложь,
спасёт лишь горькое уменье –
пера предутренняя дрожь.

Его невнятные посылы,
и скоропись в теснинах сна,
даруют бешенную силу
и опьяненье без вина.

*   *   *

От приглашения на казнь
непросто отказаться.
Тебя ведут, примкнув штыки,
навстречу темноте.
Увы, растрачено дотла
желание цепляться
за жизнь, в которой пребывал
в постыдной немоте.

Ну, говори! Ещё живой.
Ещё совсем не поздно.
Толпа хоть как, но донесёт
прощальные слова.
Куда там?! Шаркают шаги.
Просторно и морозно.
Поверх испуганных голов –
забвения трава.

*   *   *

Об участи иной ни слова.
Мы всё умеем оболгать.

И счастья разогнуть подкову.
И разбросать надежды гать.

* * *

Отринуть красоту.
Не замечать.
Не слышать.
Весь божий мир
средь ужасов царит.
В нём всяк сам по себе.
Не зря скрипач на крыше
в потёмках разглядел –
слепы поводыри.

* * *

Отче, благодарю!
Лучшего я не приемлю.
Стану ли горевать,
зная верёвки вкус?!
Радуюсь, боготворю
в листьях шуршащих землю –
вечный неупокой
и бесконечный искус.

Руки не убирай!
Я пожинаю жатву –
пригоршни ломких строк,
и бесполезных слов.
Каюсь! Какой, там, секрет?!
Верил в их силу когда-то. –
смогут они вознести,
освободить от оков.

* * *

Поплачь – и недолга. Остуда – не помеха.
Не в золотых обрезах небеса.
И на карете мнимого успеха
не въехать в заповедные леса.

Ну, полно. Отойдёт. Ещё перо поскачет.
И будет день, и будет час,
когда оно над вымыслом заплачет,
решив, что это правда без прикрас.

* * *

Пенять на себя. Ничего не просить.
Грызть коготки, да по-волчьи выть.
Мёрзлые сосны. Не снег, а песок.

Каторжных песен пробритый висок.

Горькая чаша. Да сладка вода!
Дна не достать, а на дне холода.
Дна не увидеть, а память саднит.
В самой серёдке – кровавой – сидит.

* * *

Примиряют не лоск,
не постылый достаток,
а бессменная сухость
закушенных губ,
и ночной приговор
потаённой простаты,
будто стала душой,
будто мир ей не люб.

Примиряют касанья
косых листопадов,
бормотанье дождя
через ночь – напролёт,
и ещё – преподлейшее,
жалкое «надо!»
Жизнь – одна,
и нормально,
когда не везёт.

* * *

Жене

Разрешает менять цвета –
это из прихотей осени.
Позволяет с прохладой дружить –
это её мотив.
Нынче небо синё –
отдыхает от облачной проседи,
и глаза устают –
до того этот мир красив.

Разрешает солгать –
ненароком и правду выложить.
Позволяет шутить –
то ли будет ещё зимой…
Ты, как осень,
то знобкость упрёков вывалишь,
то окатишь теплом,
будто вспомнишь июльский зной.

* * *

Рождённый речь любить
иное не полюбит.
Ему пожизненно дано
слова перебирать.
И что убийственней всего,
покоя не пребудет –
неистощима маята
меж строчек умирать.

* * *

Жене

Рождённая повелевать
и нехотя повиноваться,
расцвётшая меня корить,
таская за собой,
доколе будешь в днях моих
безоблачно плескаться,
какую кару сочинишь
ласкающей рукой?

* * *

Я был подвластным и отнюдь…
Я восставал без счёта.
Но ты без всякого труда
мой охлаждала пыл.
Казалось бы, давным-давно
не в почести тенёта,
а вот поди ж ты,
столько лет
я каторгу любил.

* * *

Разве я сторож подлунному миру?
Разве я в силах его уберечь?
В гневе ломаю послушную лиру.
Прячу до срока невнятную речь.

Может, когда и случится – на взмахе
выложу миру свою правоту?
Тесно в оковах житейской рубахи.
Некуда сунуть слепую мечту.

* * *

Сейчас бы босиком по луговине зябкой –
седая от росы раскинулась окрест,
а где-то за холмом играет солнце в прятки,
и дали сторожит непроходимый лес.

Сейчас бы отболеть, отмучиться, отплакать,
и, засучив штаны, подальше забрести –
где ляшушачий царь способен страстно квакать,
а комариный бог на дудочке свистит.

*   *   *

Стихи не буквы, не слова –
пространства между строчек,
незримых мыслей жернова,
на видном месте – прочерк.

Их в горсть? Ну, нет. Не удержать.
Свинцовый запах краски.
И дым отечества. И ржа
на проволке бесстрастной.

И волчий след на сиверах –
Подальше от дороги.
И страх, что в сладеньких словах
переломаешь ноги.

*   *   *

Памяти отца

Снега-то на копейку,
а на душе разор.
Батина телогрейка
заполонила двор.
Может, дровец наколем –
больно колун хорош.
Или, давай, подполье
выведем на правёж?
Винные помидоры,
хрусткие огурцы…
Мне бы – спокойный норов,
душу, да под уздцы,
снег бы снаружи только,
к сердцу не подступись…
Батина чашка в горке.
Странная штука, жизнь.

*   *   *

Со всею страстью инородца
влюблённый в русские стихи,
я думал, рифма воздаётся
за безупречные грехи.

Я думал, что её достанет,

и кровь сумеет изменить…
Меня, увы, теперь не тянет
себя напраслиной томить.

* * *
– Сударь, Вам велено помнить об отчих пределах.
– Вот незадача, я их не вчера позабыл.
Помню лишь речку в одеждах немыслимо белых.
Так что, увольте! Я полную чашу испил.

– Сударь. Вы лжёте. Вы помните несколько больше.
Кустики, речки… Об этом ли мыслится речь?
Память, по-вашему, может разверзнуть пригоршни,
а неприметную речку в снегах устеречь?

– Чур, без меня. Я не в силах. Я больше не жажду.
Белая речка, как саван, в душе навсегда.
Я по России прошёлся, промчался однажды.
Было! Да, только не помню, когда.

* * *
– Хороших стихов не хватает.
– Да, полноте! Разве стихи
по жизни идти помогают.
Не слышал смешней чепухи.

– Хороших стихов невозможно
ни вымолить, ни прикупить.
– О чём Вы? Поэты безбожны.
К Творцу им ногой не ступить.

– Хороших стихов на потребу?
А если потребность – враньё?
– Мне жаль Вас. Взгляните на небо.
В нём нынче одно вороньё.

* * *
Хоть бы какую могилу –
чтобы поговорить…
Ветер теряет силы,
просит меня не дурить.

Где ему, беглому, вызнать,
как одинок среди слов?
Где ему, шалому, вызвать
скорбную ярость листов?

* * *

Через свою могилу прыгнуть,
брести среди чужих высот.
И окончательно постигнуть –
не та, не эти, сам не тот.

Казалось, время одурачил,
забыл о собственной вине…
Читается совсем иначе
своя судьба в родном окне.

* * *

Маме

Шарканье – не шаги.
Кашель натужный.
Ночи…
Кто скоротает этот
невозмутимый мрак?
Дети?!
Они вдали.
Прошлое – будто бы клочья.
Надо превозмогать,
делать за шагом шаг.
Надо бы… А зачем?
Разве уже не ясно,
жизнь оборвалась раньше,
даль – это та же ночь.
Знать бы в урочный час,
всё в этой жизни напрасно –
даже навстречу дню
тело своё волочь.

* * *

Элоквенции профессор,
ритор, дивный эрудит,
отчего так мир не весел,
полон низости и спеси?
Отчего душа болит?

Не скреби плешивый череп,
слёзы старости не три!
Правду знают только черви.
Ими наш итог измерен.
Кровь мне, старче, отвори!

* * *

Я был… А впрочем, разве важно,
что поздно постигаем суть?
Она – пристрастна и продажна.

С ней на подмостках лишь блеснуть.

И после всяческих дебютов –
жизнь в самом деле коротка –
спешим под прошлого салюты
продать остатки с молотка.

*   *   *

Я правду упустил. Её шальное тело
мелькнуло меж кустов – ни шороха, ни зги.
Что говорить, охотник неумелый,
не всякому она с руки.

Я правду упустил. Она всегда гордячка.
Не подмигнёт, не сядет у колен.
Истрачена последняя заначка.
И что взамен? И что теперь взамен?

Не лги? Не обмани? Но разве так возможно,
когда гроза вдоль жизни за грозой,
а ложь и откровенна, и безбожна,
повита победителя лозой?!

*   *   *

Я сделаюсь хмельным,
когда Вы отведёте
седую прядь с нахмуренного лба,
когда меня с собой возьмёте
в любви полёглые хлеба.

Я сделаюсь иным!
Как было трудно это –
Вас уверять, что я совсем не тот,
что не притворства пошлые приметы,
а просто мой приспел черёд.

ЦИКЛ ПАМЯТИ И.Б.

1
Был адрес приобщения… Вдогонку
бросают все, кому не лень.
А вам бы хоть шажок, где Вы – ребёнком,
где Анны до сих пор витает тень.

Молчу. Не угадал? В отгадках мало проку.
От перемены мест не каждому восторг.
Но Вы-то знали точно, В.Набоков
ещё до Вас приять двуречье смог.

Но Вы-то знали, что оно нисколько
не заменяет звуков смутный сказ,
когда они с пелёнок, с зыбки лёгкой,
подвешенной пониже отчих глаз.

2
Вот и нынче зима: то ли снег, то ли дождь – вперемежку.
Слёз, увы, не ручьи. Пустословья тщета.
А какие мечты совершали с ним вместе пробежки,
умоляли, просили счастливчика: «Слезь со щита!»

Ни ногой… Потому как природою щедро нацелен.
Налетит на перо, разожжёт в полумраке свечу
и – забудет, отринет неподъёмные склоки недели,
воспалённо шепча – приключилось,
над прозой постылой лечу.

3
В сторонке тоже можно.
В сторонке мне завидней.
Не в каждой панихиде
быть важно на виду.
Читатель, он тихушник,
он между строчек видит
несказанную всуе
заглавную беду.
Читатель, он провидец,
и возникает кстати:
«Взойди, сынок, повластвуй,
твой нынешний престол!»
Он книжки сразу купит,
безденежный читатель,
и будет что поставить
писателю на стол.
Увы, и в том союзе
случаются промашки:
писатель покидает
до срока грешный мир
в распахнутой, помятой,
но – праведной рубашке.
А тут, гласит обычай,
положен скорби пир.
Не важно, был иль не был.
В сторонке тоже можно.
В сторонке дольше память
и меньше суеты.
Читатель, он остался.
Он знает, жизнь безбожна,
пока слова не лягут
в бессмертные листы.

4
И этот день.
И холод между губ –
он душу охватил,
он был взращён на смерти.
И те, которые не столько воздадут,
а вновь и вновь,
везде – мы были рядом…
Дети!
О чём печаль?
Неведомы вожди?
Но есть слова –
по-прежнему гонимы –
не ведают ни злобы,
ни вражды –
бессмертье клинописной
глины.
Не для себя их подзывал –
для нас,
осознавая, как безмерно
горьки,
ведь правда – неприглядна
без прикрас.
Одна на всех.
Одна лишь только.

5
Ну, как Вы? Я – того…
Надоедают черви,
да стонет наверху
безродная трава.
Какой уж тут привет?!
Скажите легковерным:
«Не стоило всерьёз
ходить в слова».
Скажите всем:
«Хула была напрасной.
Не кланялся. И вот
не выпало сполна
признания страны
безудержно пристрастной,
где вслед тебе лишь брани
горькая казна».

6
Простим судьбу.
Она безумней нас.
Умеет лишь одно –

в артерии височной
найти пробел,
приманку для проказ,
и притворившись
девой непорочной,
унять того,
кто нас, безгласных,
спас.

7
Рассказывают, рыжий. Вот уж враки.
Подсказывают, гордый. Вовсе сон.
Руки не смел отнять от бешеной собаки,
от жизни – той, с которой в унисон.

Придумают – понятливых немного.
Уцепятся за премии подол.
И гомонят, мол, горняя дорога,
мол, склад добра, ни капельки не зол.

А на себя? А на пустые траты –
на безысходность, хоть пиши дотла?
Сапожнику легко – он заготовил дратву
и – нате Вам сапог – вершину ремесла.

А здесь и рыжина, и гордость, и беспечность,
хоть с виду ничего такого нет,
варганит не сапог, а бесконечность
в небрежной безупречности примет.

1997

*   *   *
А что убудет – если,
а что прибудет – после,
когда не будем вместе,
не рядышком, не возле,
когда за океаном –
за голубым корытом –
не станем покаянней,
с уютом новым слиты,
когда за ложкой каждой –
а как там, а доколе –
и прежней жизни жажда,
и прошлой жизни боли?..

*   *   *
А коготочки рифмачу
положены не даром.

Он душу грешную когтит
и тянет вдоль строки.
Непрезентабельна? Увы!
Но лучше – санитаром,
чем безупречные слова
и лживые виски.

* * *

А, может, блажь?
Лишь поиска литьё
едва подъёмных слов?..
Но от бумаги
уже ни продыха,
да позднее чутьё –
ты каторжник
в невидимой ватаге.

* * *

Был Дарвин знаменит не только «Изабеллой».
Мы до сих пор не поняли, зачем
он мир объединил – ни чёрных в нём, ни белых –
провозгласив законность перемен.

Он, видно, распознал, что в мире всё едино:
и божия коровка, и талант,
который, коли есть, плетёт, неутомимый,
и лучший материал – неодолимость трат.

* * *

Памяти А.Б.

Восьмого августа придут,
но будет поздно.
Их выставят за дверь,
за жизнь – куда хотят.
Случалось, гений уходил,
но чтоб вокруг – морозно –
когда на август он кидал
прощальный взгляд…

Поэт – насмешки для фигур,
которым странно – в слове
прекрасной дамы обнимать
неповторимый стан.
Доверчивость – его секрет!
Он жизни верит внове,
и вовсе не грозит унять
прельстительный обман.

*   *   *

Памяти В.Ш.

Вплоть к баракам вышки цепкие,
проволока да товарищи
в полушубках. Нервы крепкие.
На щеках идей пожарища.

Пушкин здесь и вовсе пепельный.
Где загары эфиопские?..
Почитай нам! Сказкой трепетной
души выверни холопские.

Громче, классика! За штабелем –
мёртвым сказки разве слышатся?
Лишь перо гусыни набело
перепишет жизни пиршество!

*   *   *

В лодке моей души
местечко одно – не боле.
В лодке моей души
ни вёсел и ни руля.
Плывёт себе и плывёт
среди каждодневной боли,
струйками скорбных слов
медленно шевеля.

*   *   *

Вроде не сторож,
и не было брата продажного.
Всё побросал.
Что теперь сторожить?
Разве что, строчки –
потатчики хлама бумажного?
Только и тем
надоело
с угрюмцем дружить.

*   *   *

Владеющий двумя руками,
два света взявший на прокорм,
что делать, если чудаками
ещё усеян небосклон?

Не то что густо, но порядком,
и вверен им всего пустяк –
в тоску влюбляться без оглядки,

и прозябать среди сутяг.

* * *

Все шахты безрассудны.
Беда обрушит своды,
и станет погребенье
формальностью простой…

Углём покрыты лица
великого народа –
ведь плата так ничтожна,
и временен постой.

* * *

Для беглого прочтенья лицо не отопру.
Пусть тешится ладонь в тисках рукопожатья.
Лицо пристойно открывать гусиному перу –
его ужимкам и проклятьям.

* * *

Ещё не умершим, но распознать посмев:
всё канет, всё пройдёт, всё изотрётся.
Лишь трепетных стихов прекраснодушный гнев,
назло всему, над прахом остаётся.

* * *

За Рубенсом – заведомо
весь в розовой телесности –
слежу зрачком базедовым
из нашей постной местности,
из нашего пристрастия
стыдить за плоти творчество.
Как поживают Саскии?
С кем Рембрандтам хохочется?
Неужто снова с Рубенсом,
с его неутомимостью,
мы в пышнотелость влюбимся,
наперекор равнинности?
Ах, Питер! Ах, бессовестный!
Ни меры. Ни приличия.
Тебя бы в наши повести,
иных времён обычаи.

* * *

Здесь тропка. Здесь побег.
Он состоялся сдуру.
Но позади послушность рабских спин.

Вы помните, вдруг, гордые фигуры,
и как никто пощады не просил?

И ветра вой, и проволок зигзаги,
и пьянь начальственных столбов,
и – непременно – розовые флаги,
чтоб оттенить напрасность мёртвых лбов.

*   *   *

И вечный суд!.. Таланту что дано?
Нас усладить и каждый жест в угоду?
Иль в уксус проскользнувшее вино –
нежданной правды горькая погода?

*   *   *

И дерево большое перед домом,
к которому направилась ворона,
свой дальний соблюдая интерес,
и наволоки белые небес,
и слабость стен – снаружи фанерован,
местами краски камуфляж облез,

и стриженый газон – под бокс или под польку? –
и лакированность машин –
всё вроде есть, но лишь поскольку
их карандаш растормошил.

Вдруг дереву упасть, причёску смяв газону,
и мудрую ворону напугав…
Но то уже житейские резоны
вдали от фанеровки этих глав.

*   *   *

И пономарь готов унять бессмысленность чтенья.
Уже не радуют ни ритм, ни мудрые слова.
Всё повторяется, увы, и лишь траву забвенья
он видит между вечных строк – всегда права.

Она приходит вслед всему – планетам и подворьям.
Она меж нами проросла – живём поврозь.
И лишь одёжку теребя, в случайном разговоре
оброним, как иную жизнь прошляпить довелось.

*   *   *

Памяти Ю.К.

И бить посуду недосуг,
и не с кем.

Но что похвально, нос сую
в премудрость древних книг.
Их возраст, как бы округлить,
годков, так, два по двадцать,
но жизни той пропал и след,
не то что крик.

Ну, плакал кто-то…
Бог ты мой,
и сам готов заплакать.
Скитались «Двое в декабре»,
и «Гончий пёс» вдогон?..
Я слышал, автор крупно пил.
Но я согласен алкать,
когда исходит от страниц
«брегета звон».

*   *   *

И канет век. И вздыбится другой.
Ему бы потерпеть… Всё впереди, казалось б…
Но терпеливость лишь у тверди голубой,
когда дождями позабыта жалость.

Век скрутит вдруг все мерзости пружин,
всех подлецов до срока – на запоре.
А далее – повтор… Двадцатый знал свой чин.
Века на человечьем промышляют горе.

*   *   *

И корни жгу, и крону жгу,
и всё, что посредине.
И уповаю на слова –
они не подведут.
Чем гуще пепел, тем больней
от недоступной сини,
когда откроется она
на несколько минут.

*   *   *

Памяти Ю.К.

И во сне горько плакал,
а надобно въявь и надолго.
И вдогон громко кликал,
а вёрстам на клики плевать.
Отчего так бездонно
паренье высокого слога?
Отчего норовит на ристалища
нас выставлять?

А потом обнимает,
прислав жемчуга и кораллы,
выймет ларчик заветный,
а там – белопенность листов,
чтобы в слове едином,
которого много и мало,
плач ночной уместить
и дневное бессилье перстов.

* * *

Иные не спешат. Иные время тянут.
А тут, поди, виновник и не знал,
что время обязательно заманит,
коль век не дом, а форменный вокзал.

Чего б нам не сидеть?
Ужель узлы да склянки –
хрусталь, не Боже упаси, гранённое стекло –
нам заменили отчие гулянки?
Нас, вона как, по миру утекло!

* * *

И пепел не стучит –
нет по сусекам пепла.
И ворог не томит –
он вежлив и слезлив.
Жизнь – где-то стороной,
не то чтобы поблекла,
а просто на неё, увы,
нет прежних сил.

* * *

Памяти В.Т.

И там ведь знали, что когда –
испытанное снадобье –
и вовсе не писали в стол –
зачем себя томить.

Случались, правда, наглецы.
Их помнить людям надобно.
Не всякому дано в себе
раба убить.

* * *

Из бисера, который надобно метать,
иначе жизнь в пустыне.

Ну, что нам стоит отрезветь
и быть всему под стать?!
Законы ведь до ужаса простые:
не видеть, не хотеть
и думать перестать.

* * *

Памяти Б.С.

И новые откроют альманахи.
И в старых обнаружат ложь:
не замечал смирительной рубахи,
был в кабинеты именитых вхож.

Забудут – сквозь препоны и запреты
он правду века по-пластунски доволок…
Неужто текст, прибежище поэта,
невдосталь нам? Дай судьбы – на зубок!

* * *

И вправду беженец –
от матери бегу,
от немощи,
от бремени бесстыдства.
Ничем себе вовек не помогу…
Ни извиниться.
Ни отмыться.

* * *

И поиск времени, когда спиной – вперёд…
И рейды в прошлое – откуда мы, откуда…
И оторопь, неужто ложь прильнёт –
и правду о тебе? Глазастая, паскуда!

* * *

Искать своё? Увольте! Пас.
За сытым океаном
на дно пускаю свой баркас
с названьем окаянным –

не то «Борей», не то «Гипер»,
он в ил воткнётся скоро…
Поникли паруса химер.
Покрылись пылью споры.

* * *

И только смерть –

её клевреты всюду,
и только кровь –
её следы на всём,
нахально возомнят,
что больше мы не будем,
что вечности
всесилен окоём.

*   *   *

И вроде правда всё,
но словно о другом,
как будто знаешь о себе иное.
Приглажен будто детским сном.
Твоё, но нет, не дорогое.

*   *   *

Жене

И вот дыхание твоё.
И сонная рука.
Она скользнула вдоль меня,
придя издалека.
Иль сон был горек,
или бред
в разгаре дня волок?
У наших бед один ответ –
моей вины клубок.

*   *   *

И всё-таки желанье угодить,
казаться, но не быть собою,
и, где положено, нудить,
плескаться ласковым прибоем,

сильнее, чаще и страшней,
чем даже вслух предполагаем…
Мы смело по себе шагаем,
выводим из игры – взашей.

*   *   *

И умудриться уцелеть,
не распластавшись по дороге.
И ухитриться говорить.
Зачем и для кого?

Ещё не ведомо судьбе,
что будет в эпилоге –
где мне позволят пребывать

ревнители слогов.

*   *   *

К вопросу о дыме… Он есть или выдумки только?
Он вьётся из труб? Или сдуру мерещатся взгляду
печальные вздохи давно позабытых погостов,
сиреневый ток за просевшей от века оградой?

Какого рожна этот дым порождает ущербность?
Уж, мы-то честны. Нас не очень-то дома прияли.
Иль всё-таки в нём наша суть, не фанатов химерность,
которую мы, за компанию, глупо прервали?

*   *   *

Когда б других не мерить
собственной виной,
не почитать себя превыше Бога…
Но ведь тогда себя судить,
глумиться над собой –
не выпускать из совести острога?

*   *   *

Когда б пресечь в себе
всю эту говорливость –
постриг, молчание
хотя бы на чуток…
Иль всё как есть? И рядом боязливость –
вдруг больше не видать
своих – корявых строк?

*   *   *

Памяти З.Гердта

Как мертвенно поблек его шипучий взгляд.
Глаза как будто «над» – уже не бьются оземь.
Он рядом? Он живой? Так отчего же возле
витает тишина кладбищенских оград?

Вдруг встрепенётся, будто запросто – назад,
шлагбаумы не все ещё забиты и закрыты,
и сердцем нас – в мир, звуками повитый,
раскатами рифмованных громад.

Иль напружинит нюх… Оценок берегись!
Ему ль не знать попыток речи безупречной?!
Прощальные черты запоминает жизнь
того, кто с нами навсегда, навечно.

* * *

Памяти О.М.

Как масть коня, не зря пропущенного Као,
взамен на то, чтоб скрытую провидеть стать,
так суть прозрения Осипа. Не мало!
Он был юродивым под стать.

Он прорицал правителю рябому –
«Утопишь отчее в безудержной крови»…
Всё как всегда. Провидцу дармовому
воздали. Поделом! С конями говори.

* * *

Как страшен он в делах своих,
как непреступен.
Как далеко его простёрлось зло.
Когда бы это – перец в ступе
и кухонь оловянных ремесло!?

Ну, нет. Певец невиданных масштабов,
мясник мильонов – ни за что…
А все твердили: ряб, нескладен,
шинель не сменит на пальто.

* * *

Как будто нет камней, забить как будто нечем,
везде их дополна, растут среди травы,
сиреневы – чуть ляжет набок вечер,
и вовсе не страшны, когда идём на Вы.

Но руки, тех кто взял, кто поднял, кто нацелил,
страшнее не сыскать – им, видите ли, дан
карающий бросок… Мы крупно преуспели
судить-рядить и – в новый лезть обман.

* * *

Как независимы гольцы. Как вознеслись!
Стоят стеной – один другого круче.
Как будто небо поддержать взялись,
вернее разобщить, распутать тучи.

И мы, в хитросплетениях молвы,
в тенетах лжи и поучений,
пытаемся порой, не пряча головы,
хотя б привстать – храня души свеченье.

*   *   *
Кем соткан человек?
Каким ткачом
исполнена забава?
Лишь проблески ума
над ситным калачом,
да скаредность души
среди желёз лукавых.

*   *   *
Как камень обрастает льдом,
лишь бы мороз отвадить,
как небо тучи залучит,
лишь бы не видеть снег,
так Слово прячется в кусты,
на нас, пугливых, глядя,
и вовсе не спешит попасть
на вожделенный брег.

Конечно, вовсе тут не рай –
не всякий Слову ровня.
За горло держит, будьте спок,
копеечный вопрос.
Но что мне делать, как мне быть,
коль Слово проворонил,
и не с кем будет уходить
навеки на погост?

*   *   *
Когда сбивают в стадо и тем повелевают,
не сразу понимаешь, куда его ведут.
Вон там, за поворотом, ветла вдогон кивает.
А дальше, за увалом, другие вётлы ждут.

Когда исчезнет стадо, ни пыли, ни пылинки.
Приснилось! Мимолётна людского праха суть…
Истории барханы, соринка над соринкой.
Оглянешься и ахнешь, такая жуть.

*   *   *
Как явствует беда,
всяк сам себе палач,
а руки воздевать
и уповать на небо –
привычка обращать
на пользу даже плач,
как будто не хватило
крошки хлеба.

* * *

Как поспешают угодить.
Откуда опыт?
Как припадают целовать –
ничком у ног.
И не холопы ведь?
Конечно, не холопы.
Пластичны!
Будто бы слепил
из пластилина Бог.

* * *

Памяти Б.О.

Кто здесь тебя помянет?
Умеем усомниться.
Какие нынче песни
у бывших на слуху?
Нам приходилось в прошлом
не часто, но гордиться –
не всё ещё подвластно
продажному стиху.

Теперь – иное дело,
иные назиданья
возносит на престолы
неодушевлённый слог.
Мы проиграли битву,
покинув поле брани.
Нам песни только снятся.
Ты победить не смог.

* * *

Когда бы жаль себя?!
Я знал, что оплошаю,
что жизнь чужая
не по моим зубам.
Я жил всегда вдали
от центра – где-то с краю.
И лучшее – моё –
осталось там.

* * *

И.М.

Как будто рвы безмолвия меж нами,
и меркнет неначавшийся рассвет.
Бог с ними, с теми давними стихами –

не льнут к душу или «предмета» нет.

Когда б тщеславье, жажда поклоненья
или боязнь за гордого меня…
У горла странные свиваются сомненья.
Я всё о том – о жизни без вранья.

* * *

Любить – талант пореже слова.
Повыше пламенных небес.
Рывок – и замкнута подкова,
и рифмам ты наперерез.

* * *

Можно наткнуться на правду.
Можно её угадать.
Только не нужно, не надо
копья за правду ломать.

Будет их больше и больше,
да запоздало поймёшь –
в правды добытой пригоршни
юркнула новая ложь.

* * *

Мой нежный нрав,
тебя я узнаю.
Нет, чтобы взять предмет,
и выгоду приметить –
устроился, как прежде,
на краю –
где пуст карман,
и гулеванит ветер.

* * *

Б.Гофману

– Мы так до ночи не услышим «рынду».
Доколе вёсла в воздухе – сухи?
– Закройся! Дай послушать тихий с виду
подстрочник столкновения стихий.
– Доколе вёсла? Где она, подмога?
Куда туман направил тайный бег?
– Терпи, судьба! Ещё совсем немного.
С пальбы начнётся бесподобный век.

* * *

Может случиться и – ближе
станут в заморской глуши,
в этих заштатных Парижах
тайные токи души?

В этих бесшумных Нью-Йорках
снова взлетят голоса
тех, кто с российских пригорков
видел словес небеса?

* * *

Памяти У.Ф.

Мы полны благородства.
Мы проиграли историю.
Бастионы души в коий раз снесены.
Или «дранкой для Господа»
только себя объегорили?
И не Кристмасы вовсе от крови своей спасены?

Юг ли, Север замешан,
или везде обесчещены?
А ведь мнилось, по Богу, по чести живём.
Жизнь одна. И, представьте,
возвраты ещё не обещаны,
если Сноупсы новые крикнут: «Уильяма ждём!»

* * *

Не надо раскатывать губы.
Ещё пригодятся в тиши.
И здесь мы, конечно, не любы.
И прежние горьки шиши.

И здесь мы, конечно, напрасно.
Нас всюду неравенство ждёт.
И только за морем, за Красным,
возврата история ждёт.

* * *

Навязчива? Ещё б. Прилипчива? А, как же.
Ещё на ноты не посыпал снег,
она – за душу, будто душу жаждет,
и вместе с ней, и только с ней, – в побег.

И всё не впрок. И всё теперь не важно.
И только звуки, павшие с небес
на этот мир, бесстрастный и продажный,
который музыке во всём наперерез.

А после? После не приемлешь враки –
хотя б на миг за чистое в себе,
и лезешь в исступленье пошлой драки,
переча музыке, а значит – и судьбе.

*   *   *
На каждой веточке – по ворону.
На каждой шпале – по вороне.
На родине и враки поровну.
Жаль, в юности их проворонили.

Иль эти поздние раскаянья,
стихов прощальных запоздалость, –
лукавого пера касания,
того что поделом досталось?

*   *   *
Ни скользкого вина? Ни Саский на коленях?
А, собственно, в чём надобность колен?
Неужто только в красок появленье,
когда пленён, и сам приемлешь плен?

Ведь Рембрандта портрет в пол оборота –
ничто, пока потворствует рука
вину – ему не нужна позолота,
а Саския с тобой – вне красок – на века.

*   *   *
Не ошибиться бы в себе – не ушибиться.
И тех, кто вовсе не при чём, с собой не уволочь.
Так замечательно считать, ты не рождён убийцей,
и потому найти тебя карателям невмочь.

Какие страсти на дворе? Апрель грозится снегом?
А лужи крови посреди – не твой ли след?..
Мы ошибались, чёрт возьми, не финишем забега,
а тем, что человека суть, себе во вред.

*   *   *
Ну, царь! Ну, молодец!
Своим поганил пашню.
Кричат – озоровал,
мог кровь пустить рекой…
день нонешний в потравах,
как вчерашний,
и ближних бьёт, как он,
сиятельной рукой.

*   *   *

Не в проповедях зло, не в проповедниках.
Мы сами, между прочим, хороши,
рабов свободомыслящих наследники,
усердно бьём поклоны – от души.

И в норы уползаем – наши крепости.
Тут проповедь особенно важна.
В ней все твои обиды и нелепости.
И всё впопад, но смысла ни рожна.

*   *   *

Нет лишних букв!
Лишь там, где нет их вовсе,
где тишина пособница вранью,
они бессильны.
С них никто не спросит,
как власть приходит
в руки к воронью.

*   *   *

На какую потребу,
на чьи пироги,
люди тянутся к небу
до и после шуги?

То ли синь окрыляет,
то ли гонит земля,
стаи льдинок бросая,
ничего не суля?

*   *   *

Ни принадлежности к чему-нибудь…
Ни липких пальцев на загривке…
Была душа. И ту не уберёг.
Как Время плещется в крови!
Невинные ужимки?!
Как заставляет нас – зачем –
кидаться наутёк!

*   *   *

Намедни голос был в ночи,
потерянный и странный,
сквозь стен тугие кирпичи
и сомкнутые ставни.

Он был твоим?

Иль просто сон
открыл дорогу звукам,
когда тоска со всех сторон,
со всех сторон разлука?

*   *   *

Но можно живопись
не звать –
и ничего дурного.
Но можно живопись
копить –
за деньги, не за так.
А то и вовсе,
небу внять
без четверти второго,
и лишь под вечер
отпустить,
закрыв чердак.

*   *   *

Немеряны снега. Куражится позёмка.
Ты вновь настигнут репликой небес.
И с позабытой робостью ребёнка
взираешь на весенний – белый лес.

Апрель? Не может быть!
Не каждый день приснится.
Но солнце вдруг ошпарит – не зима.
А в полночь вновь позёмка заклубится,
как холод запоздалого ума.

*   *   *

Об истинной цене не говорю ни слова.
К ней просто не подступятся слова –
верёвки ссученной сермяжная основа,
и шейных позвонков бессильные права.

*   *   *

От правды устаёшь.
Она однообразна.
Куда как занимательней
у лжи.
И красива.
И образна.
И толика соблазна.
И знает как спрямить
крутые виражи.

*   *   *

От Вертеров вдали, от вертопрахов,
среди успевших вовремя убечь,
иль припоздать, иль стать адептом страха,
вдруг день за днём теряться станет речь.

Вдруг в речи той ни живости, ни лада –
один, неведомо зачем, но нужный тон,
надёжный как приверженность приклада
и скучный как подогнанность погон.

*   *   *

Они кровоточивы –
пока их не услышат.
Они исходят болью –
пока их не прочтут.
Они в тиши листочков
ещё в полсилы дышат,
а если разобраться,
то вовсе не живут.

Им надобно немного –
не крики одобренья,
а голод подле сердца
и оторопь средь сна,
и правилам постылым
души сопротивленье,
чтоб в полночь над строкою
сходить с ума.

*   *   *

Жене

Облепит с ног до головы цветами.
Подумать только, это же весна!
Когда б ещё на краешке гортани
нектароносной сделалась десна…

А то и вовсе – жарки и пахучи,
твои глаза сумели передать,
что вовсе не апрелям я попутчик,
а с мартом велено до гибели шагать.

*   *   *

Помнишь, как были ленивы
и неоглядны овсы?
Осы летали пугливо,
глядя на порхи лисы.

Если успели, полёвки
в норы спускались на дно…
Наши слова – недомолвки
с жертвой всегда заодно,

тоже не всюду успели,
да и бессилен вопрос…
Где наш в разгаре недели,
слитый с овсами погост?

*   *   *

Помилуй, Дельвиг! Не звони с утра.
Не велено потворствовать обидам.
Ну, не писал. Ну, упустил из виду,
что у тебя вселенская хандра.

Здесь тоже невтерпёж. Ни рифм. Ни балов.
Из-под колёс иные развлеченья.
А лакомства неведомых столов
уже не в счёт – лишь печени мученье.

Ты говоришь, весна? Конечно, от неё
ещё чего-то ждёшь. Зима полна досады.
Вновь в небесах пахучее бельё.
Но переменам мы уже не рады.

Ты прав! И здесь – хандра. Такая или нет?
Не меряна! Твоя, пожалуй, круче.
Когда б раз навсегда на жизнь сыскать ответ,
и переменой мест себя не мучить?!

*   *   *

Применительно к подлости
этот век бесконечно услужлив.
Впрочем, тип выживанья повсюду один.
Из одной – земноводной
мы выползли лужи.
Гибкость с нами – насквозь,
до бесстыдных седин.

*   *   *

Пустить в промот и тех, и этих,
и возомнивших, что промеж
облац, не по карману летних,
небесней всё-таки помреж.

Он конъюнктурен. Он податлив.
Он ухитряется унять

и тех, кто вдохновил спектакль,
и тех, кого он смог пронять.

Но жутко, ежели в промоте
вся сцена – разом из-под ног –
и ты окажешься напротив
того, с чем жить бесславно смог,

смирялся с чем, ходил на спевки
и, кухонь усмиряя чад,
горланил, что таланты редки…
Помреж ни в чём не виноват.

* * *

Привычное бесстыдство –
себя, да не простить,
а на чужое свинство
собак спустить.

И вечное сознанье –
от Бога прав…
Невинно мирозданье,
да ты лукав.

* * *

Памяти У.Ф.

«Свет в августе» и Кристмас убегавший
от крови, что по жизни по пятам,
и правды свет, ещё не осознавший,
что он себе лишь нужен, если б нам,

и дробность света – это нам по нраву,
кусочек правды наш, и потому правы,
и Сноупсов семейные потравы
в начале, а потом в конце главы,

и сам Уильям, почтам попечитель,
своей Иокнапатофы командор…
Когда б не новой жизни был рачитель,
я б снова перечёл весь этот дивный вздор.

* * *

Сужу не выше сапога –
носок, подмётка, кожа…
Гляжу не дальше головы –
пушок, увы, облез…

спасибо, истине, за то,

что ликом не пригожа
и может наблюдать сполна,
как мы – вдали и без…

* * *

Старческие надежды.
Тихая колея.
Я прикрываю вежды,
 ласковая земля.
Я припадаю ухом…
Боже, какая тишь!
Змейкой шуршащей вьётся
в жухлых травинках мышь.
Жук, в конопушках гордых,
лезет наперерез.
Если бы стать моложе!
Если б года в объезд!

* * *

Памяти Б.Ч.

Среди сна ужаснуться,
и сердце разъять,
и заплакать, как в детстве,
открыто и горько.
Всё попрали,
что только возможно
попрать.
Не для нас помидоры
загадывал Борька.

* * *

Тщеславным – что? Они всегда отыщут
приватный интерес и станут уверять,
что было всё не так,
здесь – наслаждений тыщи,
а там нам было нечего терять.

Я не терял. Я попросту оставил
бессонные пространства языка,
в котором не поганил, не лукавил –
касался слишком робко, лишь слегка.

* * *

Талант запоздалый,
как песня, которую некому слушать,
как небо,
когда от земли ни за что не отстать.

Я долго стерёг,
не пускал свою
душу наружу…
Мне б плакать над жизнью не перестать.

* * *
Так вот оно, братство Сиона,
собрание гиблых голов:
Исаак из разбойничьей Конной
и Оська – радетель щеглов,
а между – Бориса свеченье
и «контрабандиста» арбуз –
корыстных людей увлеченья
в объятьях расчётливых муз.

* * *
Уже луна неторопливა,
и стал просторней небосклон.
В подкове знобкого залива
сосновый перечень колонн.

И молча, молча – кто здесь внемлет
в похожести текучих дней –
туман свои одёжки стелет,
а ты всё ближе и родней.

* * *
Уймитесь! Я от Вас устал,
и прославлять Вас – ни ногою.
Уж лучше в данники, в изгои,
в аскетов замкнутый устав.

* * *
Я слышал, Вы больны,
Вы смерть пытались слушать.
Ещё, неровен час,
поверили бы ей.
И что тогда?
Неужто стало б лучше
в бессмыслице недвижимых теней?

Неужто, впрямь,
за тем пределом проще:
ни денег,
ни предательской возни?
И всё же не гони,
услужливый извозчик!
От глупостей Вас, Бог, оборони!

1998

*   *   *

А если не обречено,
то значит плохо сделано,
и скул не воротит у тех,
кто истину приял…
Ещё себя не огласил.
Ещё чуток осмеяно,
и надо загоды стеречь
трагический финал.

*   *   *

А ярмарка была!
И мчались. И кутили.
И головы кружили –
себе, а то кому.
И вместе, а не врозь
всё под откос пустили,
не осознав поныне –
прошляпили страну.

*   *   *

Быть с шутками своими тет-а-тет,
им нравиться, им угождать.
А как же?!
Но под полой отчаянья стилет
и грифель утоляют жажду.

И боле, от шуток дервенеть,
от собственной готовности к продаже.
И колокольчиком рассыпчатым звенеть.
И славы жаждать.
Ни к чему, а жаждать.

*   *   *

Без объяснений – стало тесно в море.
Без интонаций – выпалить в лицо.
И суть свою развесить на заборе,
а в ноздри – неразъёмное кольцо.

*   *   *

Всё та же чистенькая гладь,
и все правы заранее.
Ну, как ты смеешь возражать
чужой стране?

О, если бы умел молчать,
когда твоё поганят,
и чувствовать –
хорош изгиб
в твоей спине.

*   *   *

Да, пепел на губах.
Да, странная вертлявость.
Да, робость и напор,
и кожи желтизна.
Но вдруг у стёртых слов
не дряблая линялость,
а красок буйная казна.

Да, жизнь невпопад.
А разве мог иначе?!
Кому на душе пристойно угождать?!
А захотят убить,
не хныкать – незадача,
и выстрелы
мольбой не упреждать.

*   *   *

Памяти В.Ш.

Ещё есть силы воровать,
и хлеб приманкой.
Десну цинготную вонзить
в пахучий ком.
Сегодня или никогда!
Безумия изнанка –
Вечно голодная строка
над шепчущим виском.

Потом догонят, извлекут –
хлеб стал белее мела.
И ты, не верится, не мёртв,
и копишь слов припас…
Ещё есть силы воровать
бесстыдно и по делу.
И жизнь пропащую ловить
в который раз.

*   *   *

Его уже не ждали –
догнал, достал –
не требуя медалей,
на землю пал.

Пушистей не бывает.
Белее – ни-ни-ни.
Он в четверток растает.
И снова мы одни.

И в этом затхлом мире,
средь плесени углов,
никто нас не помирит
без чёрно-белых слов.

*   *   *

Забудут свои… А своих-то?
Сосна да угрюмая пихта
в урочище знобком Ярала
на левом предплечье Байкала.

Забудут чужие. И баста.
Довольно маршруты грабастать!
Знать всё доставалось задаром
на «пилах» и «рёбрах» Кодара.

Забудут… А как же иначе?!
Беспамятством мир околпачен.
Что было, давно позабыто,
спасением плоти прикрыто.

*   *   *

За немощь музыки, за ропот
её прибоя и волны,
за понимание чего-то
взамен постылой тишины,

за букв невнятных очертанья
среди линованных полос,
за непредвзятое роптанье
и незалеченный вопрос,

за бесконечные повторы
себя, своей неправоты,
и тишины, в гостях которой
дни оглушительно пусты.

*   *   *

За прозелень вина, его холмы и горы
в объятьях скользкого вина,
за дребезга хрустальный норов
и поиск вёрткого тепла –

среди запретов и запоров
не отвержи, дай райский сок –
за смех, что оказался впору,
и страхи выгнал за порог,

за ломкость ног и шёпот оземь –
ещё глоток, перемогу –
и локотки бездарной позы
ссужу любезному врагу.

* * *

Зачем ты? Ещё не понятно,
рассвет или зыбкая ночь?
Мы можем пойти на попятный,
и счастье в зубах приволочь.

Мы всё-таки живы и, право,
не слишком погрязли во лжи.
Ты, видишь, рассветы лукавы,
горазды на миражи.

И если, и если бы только
прорваться сквозь лжи облака,
и лодка продавленной койки
с утра не пойдёт «с молотка»,

и если бы ноги в сандалии,
а там бесподобно тепло,
мы много чего б наверстали,
не всё бы в песок утекло.

* * *

И танец подстеречь, забыв про неудачи,
и не внимая горечи в глазах,
а супротив, напротив и, тем паче,
отнять у грусти воздух и замах,

чтоб дать им ход в движениях телесных,
с музыкою на время заодно,
и различив, что жизни вкус не пресен,
и рано опускать себя на дно.

* * *

Иное дело изумиться
велеречивости толпы,
взглянуть на пламенные лица,
поверить – вовсе не тупы.

И свой мотив забыть, и вовсе

похерить частности. Ура!..
Что было после? Разве после?
Ещё не кончилось вчера.

* * *

Памяти О.М.

И псу в одежде конвоира,
и псу на злобном поводке
не внять, что погибает лира
в насквозь продрогшем старике.

Когда бы он гордился строем,
в лад исправленья попадя…
Страна приветствует героев
холодным саваном дождя.

Пусть вечность позже им гордится,
а нынче он ничуть не люб,
хоть звук невиданный клубится,
и гнёзда вьёт у гиблых губ.

Его упорство оголтело –
средь звуков намертво рука,
и, видит Бог, не важно телу,
что псы цепные у виска.

* * *

И надо быть готовым у отчужденью
от наволок небес и наволок хулы,
от непрестанной жизни наваждений
с каретами даров из-под полы,

с её уменьем изгибать упорно
и падать ниц, хотя ещё вполне,
с вином, отравленным улыбкою притворной,
и горькой истиной, которая на дне.

Сие не миновать. Приятен или вреден,
но век испит. Твой отживёт искус…
Я был. Я горевал ещё намедни,
и смерти нынче не боюсь.

* * *

И в слуги угодил, а ведь горазд был – мимо,
где не прислуживать – приять
маршрутов жор неутомимый
пространства божие объять.

Им – в ноги, в пояс, как угодно,
лишь только бы вскочить впотьмах,
и там, где нет следов народных,
пройтись в кирзовых сапогах.

И там, где солнце запашисто –
на перевалах золотых –
забыть, что жизнь сгибает быстро –
не оббежать на вороных.

*   *   *

И в этом мире подневольном,
где правды – капельки – на дне,
лишь крик художника «Мне больно!»
останется всегда в цене.

И благодушные потомки,
внимая краскам на холстах,
поймут, как можно стать неломким
в любых местах, в любых местах.

*   *   *

И только к старости начав –
иным терпенье видится –
взломаю сердца сундуки,
и раздарю добро.
За седину усталых строк
пусть молодость обидится –
была бы малость половчей,
пускала б за порог.

*   *   *

Лишь воздух воровать,
лишь воздух.
Его покамест дополна.
И он ничей.
Но коль не выкраден,
не взят в запретности –
иль возле,
игра и впрямь
не стоила б свечей.

Она как будто бы слегка.
И воздух лёгок тоже.
Но ты втолкни его в себя,
не просто пригуби,
и вдруг,
а может быть не вдруг,
всей исступлённой кожей

почувствуешь какую боль
в себе соорудил.

* * *

Масштабы личностей не те,
масштабы личностей.
Мы присягаем на щите –
эгоистичности.

И не пытаемся понять
своё бесплодие.
«Мы были? Были или нет?» –
твердим юродиво.

* * *

Меж строчек не ищи – превыше:
в покрое облаков, в повадках тополей,
и даже толь, уложенный на крыши,
её смолисто-огненных кровей,

и даже смысл, нацеленный в мирское,
в успех, в усекновение души,
её высот ни чуточки не стоит…
даст пригубить?! И только не спеши.

* * *

На отзвук, на отзыв, на озимь
ложатся и ныне снега,
и бьются снежинками оземь,
сцепляя слова и стога.

Пусть нами затёрты, запеты.
Но снегу слова нипочём.
Иные он слышит планеты,
с Землёю возясь как с мячом.

По праву, по нраву – на раны.
Не снег, а коварная соль!
И с комнатным ласковым краном
не глохнет вселенская боль.

Куда мы? Откуда? Доколе?
И шорох в ответ – снеговей.
И замыслом – горькая доля
обёрнутых в саван полей.

* * *

Неровен час,

неравенство отменят,
и будет незачем
напрасно жилы рвать.
Лениво почешу
завшивленное темя.
На нары заползу,
молчанье воровать.

Всё. Отбубнил.
Чего там? Безучастно
сотру с бумаг
безвременья черты.
И буду ждать,
когда народ прекрасный
начнёт делить –
по совести? –
мечты.

* * *

Маме

Не отогнать. Не излечиться.
К твоим коленям припаду.
Ты помнишь, небеса из ситца,
и пестрядь в солнечном саду?

Ещё я – робкий неумеха,
на тонкой шее – голова,
и век мечты не переехал,
и каллиграфия права.

Всё после… гибель и побеги,
и седина в душе – насквозь,
и скрип несмазанной телеги –
судьбы, и под верёвку гвоздь.

А ты уже не остановишь,
как раньше было, на бегу…
Себя в последний путь готовишь
на дальнем – отчем берегу.

* * *

Не засветившись лишний раз,
себя не обнаружить.
Протрёшь глаза – и что взамен…
Да, вовсе невпопад.
Не уверяйте в чистоте.
Никто нигде не нужен.
Неправды ловкие ходы,
да частокол засад.

*   *   *

Не выкупайте меня!
Ну, не надо.
Мне остаётся всего ничего.
Пепел – по жилам,
да робкая жажда
тихо дождаться
конца своего.

Месяц ли, тучи
на грозное небо,
стали едины,
не вижу поврозь.
Слыхом не слыхивал,
был или не был –
разве что, юркнуть
вдоль слов довелось.

*   *   *

На утлой лодочке, на самообольщенье –
девятый вал, пожалуй, позади –
мы выплыли в иные наважденья,
с иной неправдою в груди.

*   *   *

Ну, не брани меня. Ведь вовсе не повеса.
А то что мудрость трезвых невдомёк,
то это не впервой. Я кочевал по лесу
между дерев, паривших над травой.

Там был иной размах, иные разговоры.
И если небо кланялось костру,
мы ведали его коварный норов –
снег подошлёт на табора версту.

Теперь не кочевать. Окончились кочевья.
В заокеанье собственный резон.
Жаль, некуда девать парящие деревья
и гордую траву, примятую кирзой.

*   *   *

Но предисловием унижен –
последний шанс прослыть своим –
не стану ни на йоту ближе
к той полке, где Богов храним,

где пыль посильно вытираю

с обложек вечной синевы,
и душу между строк роняю
в обмен на бредни головы.

*   *   *

Не от обиды – от коварства
насквозь простуженных небес,
от неуменья государства
прожить хотя бы сутки без

обрыдлых, скучных обвинений
в чуме, холере, ржавых снах,
от неуёмного стремленья
сыскать чужой рояль в кустах,

от лжи, от гулкости раздумий,
когда леса сквозны дотла,
и на челе судьбы безумье,
и лист резной поверх чела.

*   *   *

Нешумных радостей растратчик,
тишайших радостей радетель,
жил, как придётся, без потачек,
но – гость желанный на банкете.

Но друг незримый на просторе –
куда не кинь, он всюду рядом –
был утешителем при горе,
когда судьба по нам – прикладом.

В надрезы струн вминая душу,
пел о себе – о целом свете,
тенета подлости порушив,
но – гость желанный на банкете.

Ему б – в клинки! Ему б – в пищали!
А он – на кружевные листья,
и как душой мы обнищали,
как мало за собою числим.

Вокруг опять тоски безбрежье,
ложь заправляет на паркете…
А он всегда живой, как прежде,
но – гость желанный на банкете.

*   *   *

Ни там, ни здесь.
Ни воспарить, ни оземь.

А ведь вполне прозрачны небеса,
и ночи хлад,
его грызня и козни,
куржавят стекленелые леса.

Всё без тебя.
Всё стало шито-крыто.
Шагнёшь – и будто по пятам беда.
И ту собаку, что судьбой зарыта,
уже не обнаружить никогда.

*   *   *

Ну, погоди.
Ну, одичай назавтра.
Слова не злы.
Мы – порожденье зла.
Жизнь копит каждодневные утраты
и разоряет полночью дотла.

Когда б не так –
свернув с пути телегу,
да ночь в лицо,
да сполохи костра,
и чай гонять,
забыв что жизни бегом
души не прокормить.
Мы пеши неспроста.

*   *   *

Жене

Не Евраазий сторонясь –
своей прилежности,
не уповая на престол –
не слышит Бог,
я припадаю, я прошу,
подай мне столько нежности,
чтоб ноги,
слабые тобой,
едва волок.

*   *   *

Памяти Вильяма Озолина

Не умирать по-божески,
а сгинуть
за лагерным бараком,
вне молвы,
и знать,

шапчонку до рассвета
снимут
с прозревшей понапрасну
головы,
и пайка распатронится
на части
умельцами,
которым повезёт,
чтобы добравшись к ночи
до санчасти
хрипеть, ещё не их черёд.

*   *   *

Не прихотью своей –
какие тут замашки,
не росчерком пера –
скрипит из ночи в ночь,
в надежде на беспечность,
на поблажки
того, что не по силам
превозмочь.
Покажется – врасплох,
приблизишься – не видно,
и вот уже попытки ни к чему…
Скрипит перо,
как будто не обидно
испытывать судьбы величину.
Когда бы по злобе,
а то и вовсе – ради
пугливого дитя по имени «успех»…
Так озоруют лисы в винограде,
а куры целы, как на смех.

*   *   *

Сыну

Не будет ничего другого:
ни мельтушни, ни стылых дней,
когда от хрупа ледяного
до безразличия огней,
от одичания сугробов
и одичанья темноты
ни сбечь, ни напитать утробу
у недоступной теплоты.
Но латка валенка, и кромка
воротника – спасенье рта,
ещё не повод для ребёнка
понять, что жизнь совсем не та.

*   *   *

Неизреченно хорошо,
когда молва бесплодна,
и снега белый порошок
бредёт куда угодно.

Болезнь прихватит воротник –
припухлости и скрежет.
Но различим средь верных книг
обрез метели снежной.

И вслед за ней, на перехват,
спокойствию здоровья –
стремглав, как будто виноват. –
фонарь у изголовья.

Свет изжелта, зато проник
в сплетенья ломких строчек,
и рядом сокровенный миг,
стихов – искомый – почерк.

*   *   *

Не так безумен, чтобы добрым стать,
ещё подумают – небесен,
и на полях небрежных песен
начнут восторженно свистать.

Не так небесен чтобы суть постичь.
Она – дитя пренебреженья.
И на её расположенье
не действует призывный клич.

И все безумства средь небес,
и даже те что бились оземь,
давно уже почили в бозе…
Я был, да сплыл – меж слов исчез.

*   *   *

На избранность для сырости, а прошва,
коленопреклонённая трава,
и холод, наседавший на подошвы,
пока светило прячется у рва.

И ров, прочерченный отсюда и досюда,
от небыли до скорбного жилья.
Каким я буду? Долго ли пребуду
у этой кромки луга и жнивья?

Зачем шуршит крахмалом поднебесье,
и где-то ждут нас первые грибы?

Жизнь, хоть на край земли забейся,
найдёт и выдаст ржавчину судьбы.

* * *
О, как благополучны мы, как мерзки,
как пакостью начинены,
и даже совести в отместку,
стремимся выхватить чины,

и достигая поднебесья,
ещё бы – ярмарок герой,
мы начинаем гнить от спеси
под самой модной кожурой.

* * *
От пустоты до пустоты,
от пропасти до пропасти –
поднимут, если повезёт,
а то и навсегда –
лежат навалом, вкривь и вкось,
листки печальной повести,
потраченные ни на что
бесценные года.

* * *
От бескорыстия усталость, от добра.
Пронизан мир заботою о ближнем.
Пекутся так, что отдохнуть пора
в каком-нибудь заброшенном Париже.

И всё бы ничего. И мог перетерпеть.
Но так усердствуют, что уцелеть дороже –
не надобно, но песнь свою допеть,
и ничего не ждать, и не итожить.

* * *
Отпустите его, отдайте.
Хрестоматии переживут.
И по буковкам не сличайте.
Буква к буковке – разве труд?

Он – внезапен! Он шире, уже –
сам собою не различим.
Запевает – ни капли не служит.
Радость в жизни одна – зачин.

При Неве ли, а то и дале,
в деревенской своей глуши,

миру жадное сердце дарит,
потому и судьбы вершит.

* * *

То розовое платье из гипюра,
и туфли, непривычные к ходьбе,
да портупея нового Амура
в Даурский мелкосопочной судьбе.

Дощатый тротуар. Песчаный натиск.
Прижатая к заборам лебеда.
Как любознательность некстати,
когда отрочества года!

Заплотом старенькие ставни.
За ними розовеет мгла.
И в горнице, вернее спальне,
ни одного неслышного угла.

* * *

Я стар.
И сразу беспросветно.
И бес в ребро
нисколько не грозит.
Лишь отрезвленья
дождь несметный
меня без устали разит.

* * *

Я принимаю хлеб стыда,
вполне достойный ломоть.
Щербатый рот следит за ним
обильною слюной.
Не думать, не осознавать,
неровен час – затронуть
всё то, что сердцу вопреки,
произошло со мной.

1999

* * *

А выплатить долги не то чтобы царя,
холопа не отыщешь,
ведь долг немерянные тыщи –
вся жизнь, растраченная зря.

И, собственно, плати иль не плати –
такая вышла закавыка –

с другим наладилась по землянику…
Недолго с ней случилось по пути.

*   *   *

А если надоест?
А если кости в банку,
а банку на запор,
неровен час?
Ведь неспроста
заладила шарманка –
за море-океан беги…
А кто подаст?

А подадут. Ну, сыт.
А кости? А запоры?
Танцору вечно
музыка плоха.
И та что с матерком
под выпившим забором.
И та что «без»,
да на чужих губах.

*   *   *

А на зубцах,
на солнца городьбе
пестрядные расцветки ситца.
Им запросто с природой
слиться,
и память вызвать при ходьбе,
когда вдали
как будто лес,
когда вовне
все позабыли,
а ты бредёшь средь
новых мест –
не жаждали, да заманили.

*   *   *

А для тебя всё слишком поздно –
кричи иль вовсе промолчи,
коль дум характер одиозный
с упором в скромные харчи.

В разгаре миропотребленья,
высоких спросов живота,
поставил карту на сомненье –
и сам не тот, и жизнь не та.

* * *

Памяти О.М.

А если выше рост и выхватить неловко?
А если изорвать, чью жизнь убережёшь?
Смертельная игра. Негаданные сроки.
Кто знает новоявленный правёж?

Но вот рассудок вон, и сцапана бумажка.
И ватность ног. И некуда утечь…
Кто смог оговорить нежданную поблажку –
бессмертную воронежскую речь?

В дремоте осетин? Ещё черёд не выпал?
Ещё не знает как щеглов окоротить?..
На публике непринуждённо выкал,
но планы мести продолжал чертить.

* * *

А выгода одна –
с собою не носиться,
обрить, упечь в Сибирь
и тщиться перестать.
Как выгодно порой
до тла перекроиться,
под печень испытанья
подверстать!

О, Боги! О, слова!
Да, я и впрямь из выгод.
Куда не кинь –
безудержно хватал.
До каторги дорос,
из жизни прежней выгнан,
а в новую
нисколько не попал.

* * *

А в старости враньё всё желанней.
Жизнь позади, и надобен итог –
святое словоблудье назиданий
и страхов нерастраченный урок.

* * *

А если беспощадней без любви?
А если с ней, то разве уцелеешь?
Она – дитя: колотишься, лелеешь,
и ранка, даже малая, кровит.

* * *

Безнадёжности горняя крепость.
Всё сдано?! Волонтёры, ау?
Где ты прячешься, жизни отпетость,
когда Время в штыки – на валу?

Кто услышит и отклик, и отзыв,
на отстрелы души не спеша?
Было. Знаем. Ласкали за отзвук,
за малейшее право дышать.

Уводили в овраги по-вражьи,
на валах – без лишних помех,
и душа – иждивенец лебяжий –
безнадёжно парила при всех.

* * *

Памяти О.М.

Без фамильярной простоты историю не сложишь.
Не совладать с ней. Баба – хоть куда!
То подошлёт приятельски Воронеж,
то на Чердынь, на вольные хлеба.

А он, гордец, всё норовил за ручку –
челомкаться, поклоны, то да сё.
Нет, брадобреи с ходу валят сучку
и лезут под подол – и всё про всё.

Ну, где, там, угодить с его-то обхожденьем?!..
Вздохнёшь. Повременишь. И ходу на чердак.
Здесь, в пыльной тишине, ты сам – безумный гений,
и в силах оскопить истории бардак.

* * *

Блажить – не значит сыпать рифмами,
неравновесных ублажать –
следить за собственными мифами,
и вожжи накрепко держать.

Не то распустятся читатели,
который год которых нет,
и станешь тенью невнимательной
ещё не читанных планет.

* * *

Буду ждать минут двенадцать,
тротуары изомну.

Не хотела признаваться?
Я и сам тогда пойму.

На изломе тротуара,
у часов – не где-нибудь –
под присмотром санитаров
завершу бесславный путь.

* * *

Всё!
Не делить с поэтом
ни пайку,
ни закрутку,
ни зарю.
Он всё отымет,
дописав при этом,
как он велик –
под стать календарю.

* * *

В столярку стащат, в казеина запах –
стошнит, но зорче не сыскать друзей.
Ты лишь на миг в их неподкупных лапах,
а вечность завсегда для полой тьмы князей.

Примерка подтвердит, и будет крышку гроба
непросто подогнать – так много пустоты
в тебе – в твоих неосторожных пробах
запечатлеть безвременья черты.

* * *

В запасе вечность,
чёрт возьми,
всегда в запасе.
Напрасны суетные дни,
чреда напраслин.
И сам напрасен,
и тщета постичь погоду –
ходить в бессмертные стихи,
не зная броду.

* * *

Всё в гордости,
как будто выбирали
шестёрку носа,
перхоти парчу…
А выбор приключись,
то ведь едва ли

окажется нам по плечу.

Всё данности!
Перевирать нелепо.
Не многое берётся
наособь.
И только погодя,
в темнице склепа,
я замысел твой вычислю,
Господь.

*   *   *

Волшебных снадобий сосуд,
гранёные облатки,
какое множество минут
провёл, играя в прятки
то с трезвостью,
суровой как скала,
то с опьяненьем
лёгким и свободным…
Мне суета не сослепу дала
горчащей влаги
вред богоугодный.

*   *   *

В подробности входя –
иначе верхоглядство –
страница за страницей
прошуршать,
и ни к чему
всерьёз не прикасаться,
лишь мимоходом
жадно подышать
полдневным зноем,
маревом и пылью –
особенно пахуча пред дождём –
и только повторять,
мы где-то с Вами были,
а где, зачем –
никак не разберём.

*   *   *

Всё колдовство в охапках,
как будто вдруг – излишки!
И каждый лист под крапом
твердит, мы стали лишни,

вокруг цепные звери,
натасканы, зажаты

то ложью, то ливреей,
когда бы лишь закатом –

чадит невинной кровью,
грозит небесной карой,
и бесконечной болью
на ложе тротуаров…

шуршащие охапки
сухой невинной кожи –
моей души остатки
в судьбе ясновельможной.

*   *   *

Дрожанье мостовой с упругой взрослой пылью,
и скука тополей – чем дальше, тем серей.
И булка мамина, прошитая ванилью.
Ты с булкой. Десять лет. И всё-таки – еврей.

И вовремя подбитая опара.
И кухни чистота – залог труда.
И книжка под щекой – не ровня и не пара,
и заведёт неведомо куда.

*   *   *

Памяти убитых дедов

Да, обвинитель общественный,
здесь налицо недоборчик.
Мелкая сошка. Куриная кость.
Предком хотя бы какой-нибудь
мелкий заводчик
или индийский,
воспетый Корсаковым, гость.

Худе всего, вроде были,
да разом сомлели…
Трезвость двадцатых, забытых –
погромных годов.
Деды мои, если б Вы
до меня уцелели,
может не стал бы я
тенью чужих городов?!

*   *   *

Довольно шёпота –
и честность уступает.
Довольно шуточки –
и мы пьяны всерьёз.

Какая нынче ночь!
Планеты догорают
среди ещё
не подожжённых звёзд.
Ты пошепчи.
Я уступлю.
Я поздний!
Мне всё невторопях
приснилось
невпопад.
И утром удивлюсь
своей коленопреклоненной позе
и более всего,
что брал
её не напрокат.

*   *   *

Сыну

Ещё травинка, одуванчик,
ты хочешь урезонить мир?
Он устоит, мой тёплый мальчик.
Он видел множество задир.

И я – в растратах и потерях –
не лучший, скажем, образец,
растоптан – сам себе не верю,
но всё же никому не льстец.

*   *   *

Жизнь поучительна. Неужто незаметно?
И я туда же… Так легко
считать, что над строкой заветной
губ просыхает молоко.

*   *   *

Ждать случая,
ну, скажем, лет четыреста.
Опять Вильям,
и Станфорд тут как тут.
Без лицедеев что?
Мир скукой обовшивелся.
А счастья у актёра –
пять минут.

Взревёт толпа,
себя не узнающая.
Цари грязнее нас…
Паршивые цари!

И лишь трактирщица,
его веками ждущая:
– Я знаю, ты о нас…
– Не бойся. Говори!

* * *

За черепом своим вернусь. – За костью!
Да, изжелта. Да, ржава. Ну, и что?!
Я был всего лишь миг хозяином и гостем –
примерил с плеч чужих пальто.

Да, воспарял. Конечно, неумело?
Изгой! Из те, кто устоять не смог.
Ведь угождал, в конце концов, я телу…
За черепом в чужой земле – итог.

* * *

За частность свою, за частичность – лишь толика спектра.
За склонность к бесовству хотя бы одною ногой.
За жизни калёной нерасторжимое пекло –
ведь нету другого и не достучаться к другой.

За сытость свою – кабы голод, талдычил иначе.
За леность свою и напрасную суетность дел.
За то что убёг из тайги, а потом из России, тем паче –
какой-никакой, а дарованный Богом придел.

За всё что пресёк, изнурил и бесстыдно отринул –
себя-то осталось на донышке, не углядеть…
И это вся частность, частичность моя,
с ней, единственной, сгину.
И некому будет напиться и вслед – на помин – погалдеть.

* * *

И вытащить Плутарха в скорбный час.
Хотя, куда мне. Что-нибудь попроще.
И, пальцы растопырив, дать наказ,
как будто вызвал, что взаправду горше.

И, пальцы вознеся, наследникам – кровать,
но непременно качеством вторую,
чтоб охали – горазд озоровать:
у края, а легендами торгует.

* * *

Иудейска страха ради
вышагнуть за океан.
Не ограблен здесь, не краден –

новый бережный роман.

Но рассказывать упорно,
как жилось тебе вдали,
где от булки хлеба чёрной
даже крошки берегли.

И постичь – не понимают,
не пытаются понять,
ибо голода не знают…
Что об этом толковать?!

* * *

Из жизни смятенной, из жизни тревожной –
то страх непонятный, то грозный запрет –
я вынес догадку: лишь звук непреложен,
лишь в нём ничего невозможного нет.

И слово, которое ныне надменно,
надмирно, вернее само по себе,
назавтра безудержно лезет на стены,
и свищет подмогу, и рвётся к тебе.

Всего то и надо засаленный грошик
на хлеб, на бумагу, на грифель смурной,
чтоб в час нетерпенья – ни раньше, ни позже –
себя озвучить среди жизни срамной.

* * *

И грех тягчайший сочинительства –
лопатить скудные слова,
и передразнивать правительства,
и Богу данные права.

И всех-то благ – бумажки рваные,
обрывки слов, огрызки фраз,
и правды – кривда многогранная
за разом раз, за разом раз.

* * *

И если не было дано сойти с ума заранье –
до счастия сбежать, утечь –
то ныне, что ж, у окон без герани
иная в стёкла бьётся речь.

И я остатки, крохи, толику везенья –
подальше от досужего ума –
приму от брошенной, пусть даже с омерзеньем
мне станет суть своя – нелучшая – видна.

*   *   *

Памяти Л.Б.

Как он пытался убежать
от неуёмных звуков!
Ведь догоняют, чёрт возьми,
в один присест.
Откуда силы взять для мук?
Как бесконечны муки,
когда повсюду немота,
а ты один, как перст.

И даже женское тепло,
то женское начало,
которому не возразить –
влачи до тла –
не убеждало… Да, влекло.
Но бесконечно мало
его для жизни, коль она
воль музыки текла.

И отречение сынов –
при нём совсем не сладко,
им нужны тихие пути
без хищных нот…
Он не придумал ни одной.
Лишь заносил в тетрадки.
Ведь песен, если не зевать,
вокруг невпроворот.

*   *   *

К барьеру!
Сны уже не в счёт.
Свист пули вспарывает воздух.
Не пронесло?..
Не пронесёт!
Ты прежней жизни мёртвый отзвук.

Ещё пытаешься привстать.
Ответ.
Но ствол упрётся в небо.
Увы, ты был во всём под стать
позору жизни.
Был иль не был?..

*   *   *

Казалось бы, зайди за холм,
и тут же солнце – на ладонях,

и мама в чём-то голубом,
и молоко в парных бидонах.

И пьёшь его живую суть.
И мира суть ещё приятна:
за холм желанный заглянуть
и вовремя успеть обратно –
до тучных сумерек, до тьмы
скользнуть за отчую ограду…
Ещё не близко до тюрьмы –
до жизни с грозным словом «надо».

* * *

К счастью Пушкин был смешлив.
Мы, к несчастью, не смешливы.
Смотрим тускло на залив,
на прибоя нрав сварливый.

То ли ветер окрепчал?
То ли пена оборзела?
Пушкин радость примечал
даже в этой сваре белой.

Ну, а если, если вглубь?
Ой, не будем. Ой, не надо.
Отбивался – стих, мол, глуп.
Вечность – с нею лазал рядом.

* * *

Конец божественной субботы.
Назавтра лезть под облака,
где пот – до коликов, до рвоты –
родней чем отчая рука,

где снег привык – поверх безбрежья
окрестных праведных гольцов,
а вскрики – чаще или реже –
в обнимку с матерным словцом.

Куда ни глянешь всё едино:
хребты, ребристый окоём,
ползущие в ногах долины,
не знавший карты водоём…

Но мы ещё за кружкой чая –
суббота, отдых, полный день –
свои манёвры привечаем
за тыщи вёрст от деревень.

*   *   *

Куда – луне? Потёмкам – вовсе!
Прикосновения смычка,
и звук сомнения уносит
до распоследнего клочка.

Куда ликующим гастролям,
переплетеньям модных лож?!
На крышах – подлинное горе,
великодушия правёж.

И если бы не день насущный,
потуги выклянчить тепло,
парил бы над безумной сушей,
и скрипку прятал под крыло.

*   *   *

Мессии, в общем, наплевать
на зыбкий почерк снега,
на наспех струганную плоть
огромного креста.

Он даже не изволит знать
о прелести побега,
и не почувствовал, толпа
собралась неспроста.

Возврат карающих десниц?
Вновь найдены скрижали?
Преуспеванье – наш ответ
и летом и зимой.

Снег молча стелется пред ним.
Разношены сандалии.
Таким не должен быть еврей,
тем более герой.

И будут после приплетать,
и уводить, и алкать.
И снег покинет навсегда
мессии берега…
Был тёмен ликом. Верил снам.
Его и ныне жалко.
Он понял, как нам нелегко
притворствовать Богам.

*   *   *

Мы крылышки себе обрежем
и клетку выберем погуще.
Ведь главное, что в клетках смежных

случались ангельские кущи.

Нет, мы не ропщем, но бесспорно
заслуги наши безупречны,
и труд задействован упорный
под государственные речи.

И потому, сегодня ль, завтра ль,
мы верим, нам заменят двери,
и будут не напрасны траты,
и нам заслуженно поверят.

*   *   *

Наплыв на русскую поэзию.
Набег на русские стихи.
В заокеанской Полинезии
не могут быть они плохи.
То уповают на Сергеича –
в окошке свет который век,
и над цитатами радеючи,
горазды числить свой успех.
То воспаряют над Иосифом.
Неужто в выкресты посмел?
А сами не заметят просини,
и осени бессменных дел.
От них израненность и жалости
к себе, к оржавленным лесам,
и тихие в потёмках радости,
что рифмы льются по усам.
И кто бы ни был выше, ране ли,
ты в осень входишь без конца.
Она курилку одурманила
пестрядной сущностью лица.

*   *   *

На густые решета взят по-дружески.
Как иначе разглядеть, почём овёс.
Вы мне, кажется, сказали про замужество.
Я в ответ свои нелепости понёс.

На густые решета не память просится.
Сам решился – уцелеть, не уцелеть.
Как Ваш суженный? Неужто чресполосица,
и опять мне ожидание иметь?

*   *   *

Но как бы чаша не была полна,
не станешь пить, коль понимаешь – подло.
Что от того, ещё подлее кодла?

Твоя вина – отдельная вина.

Ни стыд седин, ни горклые глаза
тебя в ущельях жизни не минуют.
Котомки по ночам бегущие пакуют.
В них тоже места дополна слезам.

* * *

Не странность зеркала,
а стыдность отраженья…
Не алчность створок…
Сразу с трёх сторон! –
Уродец, твой черёд
высказывать прозренье,
бессильное вдогон.

Молчите, зеркала!
Я не вчера стал страшен.
Но только в зазеркалии беды
вдруг понял,
как мне дорог
день вчерашний,
и как неповторимы
юности следы.

* * *

Сыну

Ну, шагай… Ну, не бойся… Я кончен и выжжен.
Пепел сыпать излишне – лишь мне поделом.
Попытайся! Ещё ты не бился средь выжиг,
не приметил убийц за весёлым столом.

Может, выстоишь! Тропку забвения сыщешь?
Или вовсе легко – ни кола, ни двора?..
Не печалься, мой мальчик. Ничего не попишешь.
Мир стоит на своём. Жить вне дома пора.

* * *

От алчных, пугливых прохода не будет:
пальба из пистолей и горных орудий,
готовность сорваться по первому зову,
ползти по пустыне, бежать по подзолу.

Куда, окаянные? Что Вам пистоли?
Я их не копил в самодельном подполье.
Я их просвистал в незабвенной хрущобе.
Когда бы по глупости… если б по злобе…

*   *   *

Одинокость в поэзии,
в жизни – тем более.
Будто всё не о том,
Да и сам невпопад.
Сняли с мели.
На новую мель отфутболили.
И никто не вопит,
не колотит в набат.

*   *   *

Откуда сей курчавый вьюн?
Как гневно руки воздымает?!
Паркетам надобен шаркун.
Паркеты вкрадчивым внимают.

Ему б стеречь душевный жар.
Что обличительные речи?!
Истории густой загар
сполна его окрасит плечи.

Но то потом… А ноне час
любви невнятной и пугливой,
и чудный взгляд – не напоказ –
поверх осанки горделивой.

Но то потом… И вьётся вьюн.
И рот надкушен и надорван.
И навсегда, навеки юн –
сединами не обворован.

*   *   *

Оспаривать сверчка –
совсем не в одиночку,
с трещоткой ночи напролёт –
не стану, так и быть.
Поставлю в тексте точку.
Пусть упоительно поёт.

И я бы пел, да темнота мешает:
не вижу голоса – совсем плохой.
И там, где надо ввысь, его на пол роняю,
и шарю медленно опасливой рукой.

*   *   *

Общий наркоз и прощайте, преосвященство.
Или прикажите иначе звать-величать?
Всё позади! И волшебство. И даже блаженство.

Как удаётся другим вновь и снова начать?

Всё лишь впервой насыщает, колотит и бесит:
стёртая кожица нежной девичьей руки,
скромная поступь откуда-то взявшейся спеси,
и башмаки – представляете, всюду её башмаки.

Общий наркоз… Подбиваем итоги. В кармане
брящает мелочь. Да, ты преуспел, богатей!
Или не ведал, любовь, как и всё, – на обмане –
самообмане, как водится между людей?

* * *

Пусть каждый атом скрытен и брезглив.
Зачем ему совместные орбиты?
Но вот иной пример – безудержный разлив,
все горизонты вплавь и, даже больше, квиты,
петляют меж дерев иль ждут, не торопясь,
когда – поврозь на атомы, на части,
и очевидна вековая связь
меж полою водой и запоздалой властью.
А брезговать зачем? С орбиты где соскок?
Неужто вместе мы лишь в пору половодий,
И сердца маломальский островок
Не виден при податливой погоде?

* * *

Писать Шекспира не еретиком,
не обожателем престолов,
а лапотным, кондовым мужиком
в гусиных перьях и постолах,
с его уменьем уцелеть
меж подлым залом и актёрством,
и о земном меж строк радеть
с неподражаемым упорством.
Писать спокойно,
будто всё при нём.
Округа, окружение безгласны.
Лишь он негаданно познал,
как поддавать плечом
под зад словам подобострастным.
И, описав, присесть,
настолько не попал,
как будто слово – дело одиночек.
Да, пишешь сам,
но стольких ты вобрал,
и каждый влез в твой
безобразный почерк.

* * *

Пусть лучших стихов
молодая повадка,
как будто совсем
ни к чему удила,
уводит в луга
из постылой тетрадки –
из жизни, где сажа
давно не бела.

* * *

Русский театр в бывшей синагоге?!
Бог ты мой, как всё переплелось.
Я не даром помянул о Боге –
нет бы разделить, поставить врозь.

Что-то слишком часто он уходит
от вопросов – кто, когда, зачем.
Заглянул бы в театр – там над входом
шесть углов двенадцати колен.

* * *

Раблезианские холмы
как тучных девственниц постели!
Но ты с другим клеймом на теле –
ни пышности, ни царственной спины.

Тебя напутствуют опять
Рабле и книжные невесты?
Ты перезрел! И жизнь ни с места.
И ливры не горазд отнять.

Ну, разве что, Рабле ссудит
на монастырскую пирушку,
подставит тучную простушку,
и жар сердечный остудит?

* * *

С чужим лицом
под спелым ананасом,
с напраслиной
в прищуренных глазах?
Так и уйду,
с чуть тронутым припасом,
ни разу не поставив
на замах.

* * *

Старость глазки приоткроет,
молча выглянет в окно:
небеса с младой гурьбою
голубое пьют вино.

А в душе твоей облаци.
Их бы высушить – пронять:
гибельны мы только в двадцать
и, пожалуй, в двадцать пять.

Припозднились сны поблажек.
Брит, не брит – цена одна.
Затерялся средь бумажек
не от складного ума.

* * *

Сеть изорвать, чтоб больше не плутала
меж бурных волн и сереньких небес,
и к золоту, не в качестве металла,
а чешуи, забыла интерес.

Но сказкам невдомёк. Они и ныне споры
на радостный исход, на розовый почин.
Жил-был старик, вёл с морем разговоры,
и сеть не ради золота мочил.

И ты перо макаешь то и дело
не ради болтовни на берегу…
Жил-был старик, порядком накипело.
Ему не ради сказок помогу.

* * *

Так долго красота, так близко озирает
тебя, пришедшего из проторённых мест,
под дождём околицу стирает,
и подступивший к ней казённый лес.

Так близко, что касаешься пригорка,
и мёртвая петля недвижимой реки
облизывает сонные пригорки
и доски, превращённые в мостки.

Всё подлинное, впрямь, неторопливо!
Лишь там, где брёвен тёсанных ряды,
частит пила не то чтоб боязливо,
но словно в ожидании беды.

* * *

«Тискать ро́маны»,

настаивать на вымысле,
упиваться прямизною кривизны.
На ценителей фартовых
счастье вынесло –
зацепиться, продержаться до весны.

Пошевеливайтесь, граф!
Вокруг – барачное.
Под заточкою и праведник речист.
Всё подлунное
обманом одурачено.
Ни словечка о душе, коль «романист».

* * *

То оземь падает, то оглашает высь.
То в озимь, озимь – аж мороз по коже.
И вся, при том, куда ни прикоснись,
как сталь разящая из неподкупных ножен.

И вся при том из ниточек любви,
из тонкостей с прозрачною изнанкой.
Она близка… Зови её! Зови!
Когда б не лжи искусная приманка.

* * *

Уезды дорожат улыбкой «фараонов»,
их превосходной толщиной,
пролёток бешенным фасоном
и бакалеей овощной.

И я – уезд! И мне его дороги,
петельки между сопок и вокруг,
как путы – неподвластны ноги,
и тесен – прошлым – подлой жизни круг.

* * *

Что за беда, коль оскудела проза?
О чём грустить, коль есть прекрасный шанс
отведать рифм характер нетверёзый
и ловких строк загадочный пасьянс.

* * *

Памяти А.Зверева

Что ж ты супчик не сварила?
Гению нужна вода –
растворять – пожиже – силы
для доступности труда.

Он не маслом и не булкой
изукрасит Китеж-град.
Вечность – скареда и бука.
Супчик выше всех наград!

*   *   *

Чужих ролей?
Ни, Боже мой!
Своей довольно.
В многоголосье суеты –
какой ни есть.
Чей полушубок?
Да, Его!
Вы помните, нагольный?!
И это сходство – на века –
доселе не расчесть.

*   *   *

Чёрт догадает уродиться
в стране, где рифм невпроворот,
и даже падшая девица
за словом в твой не лезет рот.

*   *   *

Я, слава Богу, выдержки иной.
Без эмиграций бережных созвучий
не стоило бумагу вовсе мучить,
пусть даже мысль с тройной ногой.

2000

*   *   *

Маме

Комнат анфилада для кого?
И почему одна?
И где твой сын-повеса?
Ты плачешь? Ты нашла послание из леса,
из диких и непуганых «полей»?

Он – «полевик»?!
Такое неспроста.
Он, видно, беглый –
от любви, от дома?
Иль сильней походная истома,
открытая бесхитростность костра?

И потому одна средь
гулких анфилад!
Куда он? Сядь!
Тебя здесь ожидали.
Ты видишь, по углам молочные сандалии,
любимого ружья истерзанный приклад?

Неужто вновь не выучишь урок?
Из этих комнат –
никуда, ни шагу!..
Убечь легко – не лучшая отвага.
Да только нам об этом невдомёк.

*   *   *
А Боги одиноки. На то они и Боги.
Не пастыри. Не присты. Скорее – недотроги.
Бредут себе – не видны.
Грустят себе – не слышны.
И ничего такого, чтобы считать – всевышни.

А Боги – не потребу – немыслимы! Не надо
нас уверять бессчётно, мол, обойдут засады,
коль ставим на прилежность, на чистоту, на веру.
Они живы незнаньем, равненьем на химеры.

А впрочем… Ну, конечно. Они немножко люди.
Вот только не стареют. Убудет, не убудет –
не ломятся в бессмертье, не входят в рассужденье.
Им ни к чему – отведать меж строчек воскрешенье.

*   *   *
А мне об истине твердят – не скоротечна.
О самой сути – не впервой – и все правы.
Жизнь замечательна сложна, и бесконечны
на цвет и ощупь – на излом – слова молвы.

И я за истиной спешу – она повсюду.
И суть пытаясь приручить – чуток постой.
Они – ничьи, и тем правы! И так пребудет,
пока молву не приглашаешь на постой.

*   *   *
А век, того, остался позади,
как памяти блистательной поблажка.
Он истово читал доклады по бумажке,
и бил себя по пламенной груди.

И нам, отчаянным – от жира, кто куда –
болевшим до поры за правильность помола,

не позабыть бы юные года,
и счастье наблюдать за старческим престолом.

*   *   *

А «это удовольствие» – за домом…
А двор велик и надо пересечь…
Как с темнотой всё стало незнакомым –
и бряцанье, и посвисты, и речь.

А то что холод… Разве выбирают
Сибирь, Маньчжурку, доблестный разъезд?
Луна, и та от страха замирает
над судьбами исчезнувших невест.

Две армии мужских… Но разве
до жениха дорос?! Ты двор пересеки!
Мороз настырней школьного пролазы.
Луне и облакам подглядывать с руки…

Наутро всё забыть и весело ластиться.
Какие лета?! Траты нипочём.
И на комфорки вкусные коситься
над наскоро белённым кирпичом.

*   *   *

А радости чуток, пока душа кровит,
и на бумагу сердце обопрётся.
Но буковка над рифмою смеётся,
и вне ответов выжить норовит.

*   *   *

Памяти М.Ц.

А мы всё в судьи норовим –
то слева, то по центру –
и негодяев – сколько их?! –
склоняем между строк.
А муж-то, муж, давно того…
Хвала беды экспертам
и мудрости вдогон,
в который малый прок.

Она взяла его сама
и суженным, и прочим!
И в непридуманной судьбе
в веках взошла!
Но всем, кто повторить
судьбу захочет,
позволю намекнуть –

несчастлива была.

Хотя и здесь – натяг.
Иные измеренья!
И не о счастье вовсе речь,
когда знаком – и как! –
с полётом,
с безутешным озареньем –
всё прочее – вне слов –
не стоит свеч.

*   *   *
А этот беглый от одних к другим –
то об евреях с завидной любовью,
то мечется, как до сих пор раним,
с какою побратался болью.

И весь – показ. И весь – для распродаж.
При жизни биографию шлифует –
такую, что руки при встрече не подашь.
Звать в Лету ломится. Тут с правдой не рискуют.

*   *   *
Боюсь, что строчки покаянные
не изуверят, не вернут
сугробы, зимы окаянные,
их несгибаемый уют.

За окнами не больно видятся
метели страстные ходы,
но мой читатель не обидится,
что я не сторонюсь беды.

Вхожу уверенно, размашисто
в рванувшийся под ноги снег.
Всё вновь впервой! Забыто начисто –
и шаг навстречу как побег.

*   *   *
Безвестным сборщиком налогов –
и в апостолы?
Видать, на полный мах
воспламенел?!
Я тоже собираю дань,
меж печкой и порогом,
и крику дополна,
да, сроду не у дел.

И там где надо – ниц,

где припадают в плаче,
за несговорчивость
обыденен упрёк.
В апостолы? Ни-ни.
Себя переиначу –
не знаю правды
вдоль и поперёк.

*   *   *
Выдать дочку за придворность ювелира,
за богачества сверкающий прикол,
и тихонько, шаг за шагом, вдоль по миру –
за лесов перелесков частокол.

Ненавистную избёнку взять под крышу –
Зять, пожалуйте! Внимайте, бедный зять!
Но на старости, увы, не стать потише,
и Савраску для чтенья заказать.

Понукая, тыча в морды терпеливость,
в понимание вполне раскосых глаз,
обнаружить, что не только суетливость
проступает в твоей жизни напоказ.

Ювелиры, частоколы проступают,
но обиднее – при собственном дворе
мои строчки при прочтеньи засыпают,
и Савраска сладко дремлет в январе.

*   *   *
Вы слышите меня? Я счастлив!
Так много стен, внимающих вполне.
Но если ты немеряно удачлив,
то это происходит не во сне.

Ведь я о Вас, о сердца предпочтеньи,
когда глаза в глаза, и больше нету стен,
и звук кладёшь на тесные колени,
и жизни забываешь плен.

*   *   *
Вот предскажу.
Вот сбудется.
А дальше?
Как жить потом,
за шагом зная шаг?
Нет, лучше,
как безумный тральщик,
идти единственно –

ва-банк.

* * *

Вот выплеск на рояль.
Вот дудочка за садом,
свирелька с пастушком во рту.
А тут и вовсе хищная засада –
трёхтонка с номерами на борту:

сквозь-нас-со-звуком
не-пе-ре-но-си-мым,
и-да-ле-та-рах-тень-я-до-пол-на…
Я вовсе не хотел сказать красиво,
и это поправимая вина.

Годок-другой, и номера приметят,
да и повторы будут без конца…
Спасибо, мой дружок,
что лик твой снова светел,
и прошлое хранят запасники лица.

* * *

Верните бред безостановочный,
придирки, проповедь и прочее
в погоны станций сортировочных
с их лексикой чернорабочею.

Верните чёрное и белое!
Всё обнажите – без трюкачества.
Вчера кричали «Левой! Левою!»
и «Коллектив – источник качества».

Теперь «Вперёд, за одиночеством!»
или «Прославим благоденствие»…
Мне никуда уже не хочется.
Я ничему не соответствую.

* * *

В истории местечко приглядеть –
не лучшее – пожалуй, на задворках:
портки бессрочные надеть,
посильную поклажу – на закорки,
и слиться, и растаять – отдохнуть,
необщее припрятав выраженье…
А то, что тупиковым будет путь,
знать, лишь обозначилось движенье.

* * *

Всё та же кабала!
Святоши или горцы
воздвигнут на престол
железные зады.
И всё ладом.
И в нетях однодворцы,
и тот же профиль счастья
у беды.

*   *   *

Вот вал пустой. Вот ноты – принадлежность
поглядыванья в прошлого страну.
И тишина как вспыхнувшая нежность.
И ты попавший в эту тишину.

Ни говорка. Ни звяканья. Ни стука.
В безмолвии предчувствия партер.
И рук твоих щемящая излука,
как творчества мгновенного пример.

И вдруг бегом – меж кресел – всё пропало.
Беспечная мечта иным предстать…
Пусть побыстрей откроют двери зала.
Не для меня твоих желаний благодать.

*   *   *

Голубоглазая прохлада
внахлёст, на сосен желтизну,
и там, где горизонт угадан,
ныряет в сопок кривизну.

Но всё ничто, в сравненьи с духом –
прохлады, дальности, длины.
Ты – зренье весь! И мягким пухом
жизнь, хоть мгновенье, вне вины.

*   *   *

Где алогичность, нас не обнесут.
Создатели, вы круто порадели.
Я помнил правила, пожалуй, две недели
и приблизительно с пяток минут.

Всё позабыл! Возможно, так и есть?
Всё вспоминал? Возможно, так и было.
Ты, алогичная, меня сперва любила,
стремилась всюду рядышком присесть…

*   *   *

Две правды о самом себе, а то и больше.
И мрачный поединок между – кто кого.
Сегодня ты – истасканный издольщик.
Назавтра – низвержение Богов.

Сегодня ты – младенец – пой, играйся.
Назавтра призван ближних сволочить…
Какую взять? Шепнуть какой – останься?
Иль обе – бесподобные – влачить?

*   *   *

Доносчику – наперво кнут.
Доглядчику – первую таску.
Жаль, поздно, ведь ты алеут –
подброшен поближе к аляскам.

Жаль, рано, ведь ты эскимос –
от нар отрывают с рассветом.
И всюду бездонный вопрос:
ты жив или песенка спета? (или всё – тебя нету?)

*   *   *

Дорогу превозмочь – не сплющиться, не слиться
с бордюром, бронкой, нечистью канав,
и на обочине отнюдь не веселиться.
Ты устарел для молодых забав.

Оставят доживать? Да, ну их, многомудрых.
Всё вовремя, успел иль не успел.
Я знаком придорожным здесь не буду.
Свою тропинку выглядеть посмел.

*   *   *

Доколь взрослее взрослых?!
Когда бы двинуть вспять.
У ржи предельнорослой
шуршание отнять.

Раздвинув колкий колос,
настигнуть неба даль,
и с ней заплакать в голос –
себя, седого, жаль.

*   *   *

Догуттенберговское время.
Всё медленно ложится под сукно.
Стол тайнами безумными беременен,
естественно, с тобою заодно.

А ты, от перьев важный и гусиный,
строку востришь на безразличный мир,
мечтая, между тем, болтаться на осине,
как мастер непрочитанных сатир.

*   *   *

Еврейство как приманка для беды,
как непременный сход негаданной лавины.
Ну, пусть не всей… Но даже половины
довольно, чтоб унять твои следы.

*   *   *

Ещё сочится кровь. Ещё следов довольно.
Век не остыл. Прекрасный аппетит!
Он к новому с ножом: «Подвинься, сердобольный!».
А мы-то думали, срока скостит.

*   *   *

Еврею не показаны стихи.
Гешефт, Талмуд – поэзия еврея.
Нам Пастернаки всё-таки плохи.
И Мандельштамам больше нет доверья.

А с рыжим легче? Вовсе оборзел.
В католики или того подале?!
О, если б я пред словом обомлел,
и мне б за русское воздали?!

*   *   *

За слово уцеплюсь,
прижму к груди –
моё, а как же,
не иначе.
Бесценный миг!
Жизнь, лучше отойди,
пока я одурачен.

*   *   *

За верноподданичества страсть,
за мужество в струю попасть,
возвысим речи.
Я Вас люблю, мои друзья!
Я понимаю, Вам нельзя
себя калечить.

* * *
Зачем мне поздних ласк заморские чернила?
Зачем развалы слов в подвальной тишине?
Всесильная судьба ворота отворила
там где, увы, совсем не рады мне.

* * *
Знакомая оцепенелость –
обложен, красные флажки…
Где ты, утраченная смелость?
Куда Вы, робкие шажки?

* * *
За частность мою не пытайте.
За рифмами – я одинок.
И чувств никаких не питайте –
закрыта душа на замок.

* * *
За несравненность правоты – своей, не чьей-то,
за бесконечные круги её, упрежь цепей,
хватаюсь, будто поиски ответа
давно закончены, и я навек при ней.

Разлучница – она меня суровей.
Я восставал, победы не стерёг.
И буду пойман вовсе не на слове –
оно вне правоты нетоптанных дорог.

* * *
Зачем нам хвататься за ноты?
От музыки только разор:
пошире откроет ворота,
но грязи не видит в упор.

От музыки только остуда,
в полнеба дожди и снега:
и сыпят на раны, покуда
к чертям угодил на рога.

И даже в предсмертном угаре –
последних мелодий глотки –
она умолчит о пожаре,
и голубя кормит с руки.

* * *
Зла убоись!

Оно неколебимо.
Примнёт.
Трава покажется тайгой.
И прощевай,
материковый климат.
И вдосталь белый ягель
под ногой.

*   *   *

Из жизни дождевых червей
извлечь хотя бы малость,
не талий тонких,
мнимых позвонков,
а гибкость дивную,
вальяжную усталость –
лежал, дремал,
скользнул и был таков,

или желание дождя,
полёт ему навстречу,
верней – пролаз из недр,
из самой гущины…
В дождь влюблены
совсем по-человечьи,
не замечая малости
своей величины.

*   *   *

Из жанра выйти
и вернуться вновь –
в другую дверь,
в другие окна,
и знать,
всему виной любовь –
её канаты и волокна.

*   *   *

И цвет кристаллов не при чём,
хоть истины цветные.
И хищный профиль не всегда
соседствует со злом.
В нас, в нашей кривизне
упрятаны прямые,
которые давным-давно
завязаны узлом.

*   *   *

Из фанатиков, из самых оголтелых:

в жор костра – желанный оборот.
Всё о теле?.. Будто правит тело
толчеёй желез и лакомых забот.

Будто не намедни, не намётом
ускакал Такой… Куда? Зачем?
Захлебнулись страхом пулемёты
беспощадных к смерти басмачей.

И такая выпала досада.
Ты-то, ты-то снова переждал.
И не то чтоб жизнь подольше надо,
но доподлинно – над строчкою дрожал.

*   *   *

И я тебе ответил «если»,
но не попал, хоть метил, в святцы.
И на конверте отчеканил
обратный адрес, как всегда.
Мы встретимся. Мы будем вместе.
Нам только б в жизни разобраться,
пока её запал не канул,
и не растрачены года.

Увы, горазд на обещанья.
Ведь «если» пахнет пухлым снегом.
Он, помнишь, доставал до крыши,
и трубы были под рукой.
Души невидимы смещенья.
Они закончились побегом.
И звук шагов твоих не слышен.
А снег давно утёк в рекой.

*   *   *

И даже за первых читателей
не мыслю замолвить словцо.
Далече они, не сиятельны,
латают отчизны крыльцо.

А ласка её и направленность –
великая или увы –
нужней им, чем рифмы сиятельность
моей бесполезной главы.

*   *   *

Памяти О.М.

И речки второй непутёвость –
коросты бараков вокруг –

и малый, подсунувший новость,
и шалый свидетель, сам-друг,

и рифм распоследние звуки
бубнит за бараком барак –
смешная расплата за муки,
за жизни сплошной кавардак.

*   *   *
Избыток времени? Его избыть не можем?
День истончён? Но как раздвинуть ночь?
Она, клеймённая, все мысли искорёжит,
а вид, ну, словно, силилась помочь.

*   *   *
Искать удачи у других поэтов.
И только ими город городить.
И быть им благодарным. И за это
в своих потравах иногда бродить.

*   *   *
И я неотделим, хоть радуюсь отдельности –
ход мыслей, нервный шаг пока ещё мои.
Но странно сознавать, был частью некой цельности.
Сие и ныне трудно утаить.

Равнялись, мерялись, согласьем пыжились –
ещё бы, царь зверей, наимудрейший царь.
Как не верти, случайно, в общем, выжили –
мог в лагеря загнать, захлопнуть жизни ларь.

*   *   *
И вовсе не блажен.
Блаженный, это как –
всю душу на распыл,
и лязг костей в придачу?
Я Вас любил,
и что-то в жизни значил.
Мне поделом.
Продался за пятак.

*   *   *
Истории не нужно доказательств:
ни пушек, ни погостов, ни предательств –
сплошная ложь, пустая болтовня.
Лишь тот, кто принимает жизнь как чудо,
Всплакнёт, вздохнёт и – грифелем, покуда

вокруг бубнят о новой сути дня.

* * *

Кенигсберг взят.
Всемилостивейший счастлив!
От Канта ни следа.
Мой разум чист и слеп.
Ушёл в песок?
Вернётся ли? Податлив
истории виток,
и незаметен след.

Не стану уверять.
Мне до сих пор знакомо
пытливое лицо
плебейского мальца,
из жизни той
в сибирских эшелонах,
с Кенигсбергом
военного отца.

* * *

Кусочки памяти сглотнуть,
переварить, увидеть вьяви.
Нет, мир не переделать, так велик –
корёжит нам, и чем душе корявей,
тем выразительней язык.

* * *

Когда бы чувство правоты
и права на писанье…
В потёмках,
от огня таясь.
Неведом для других,
внимаю буковок
к бумаге прикасаньям,
как будто смысл жизни
в них одних.

* * *

Как тёплой мебели кусок,
пристрелянный не раз висок –
и всё задаром.
Советчиков пруды пруди.
Приткнулся к жалобной груди.
И чем не пара?!

И было ведь. И было – всем!

Уплыли – растеряли.
Я прошлое давно не ем.
Я прошлое забыл совсем.
Вы помните? Едва ли?!

*   *   *

Может и вру я?
Может недаром
глубь не даётся –
поверхность и рябь.
Осень оржавлена
охрой пожаров –
разом за раз
опалили тетрадь.

*   *   *

Мы были смешными.
Мы дрались за вату –
рулоны бумаги,
шершавой на звук,
и жили не бедно
до самой зарплаты.
Какие расчёты?!
Издержки наук!

Ах, бедность.
Ах, бренность,
и тюли дыханье –
горячее лето
балконных дверей.
И странно,
никто не подскажет
заранье,
где может быть счастлив
советский еврей.

*   *   *

Жене

Не сижу у тебя в голове –
было б и́наче.
Не торгуюсь с тобой о судьбе –
к ней прирос.
Сам не знаю, зачем,
но ведь нянчил,
и всё-таки вынянчил,
прядь за прядью,
копну поседевших волос.

Ты – гуляй!
Ты походку и нынче оттачивай.
Тугодум, я сторонкой –
взглянул и прикрикнул вдогон.
А устанешь, домой не спеша,
но – скорей заворачивай.
Нам ещё посулили
последний в судьбе перегон.

*   *   *
Но чистый разум против хаоса бессилен,
и грязных рук по жизни не отмыть.
Мы признаёмся в кривизне извилин,
а нам бы от безумия завыть.

*   *   *
И ты за ней, повеса,
пока младой, бежал,
не зная ни бельмеса
о лучшей из держав.

Она умела тайны
до срока хоронить,
и вовсе не случайно
писателей хранить.

На речках второсортных
среди бескрайних нар –
они во мгле цинготной
свой продлевали дар.

И стыд тебе вдогонку –
живой, в чужой дали –
вне гибельной воронки
родной земли.

*   *   *
Неистовы. К тому ж неукротимы.
Иначе рифмам тишь да благодать.
Ранимы? Да. Немеряно ранимы.
Ведь счастья нам и с ними не видать.

*   *   *
Но так и не ответить на вопрос,
зачем ты жил,
зачем бродил меж сосен,
и вслед за ними падал под откос
на купы ивняка

в апрельском купоросе.

* * *

Ну, дата.
Ну, число.
Ну, седина по пояс.
Ну, смрадный дух
растоптанных годов…
Я дописал
иль только начал
повесть –
безвестные слова
о жизни без следов?

* * *

Жене

Не себя и её… Абсолютно напрасно!
Не её и себя… Что заглядывать в даль?
Окруженью казалось, что пара ужасна –
безупречная радость и рядом печаль.

Ну, а нам-то зачем их догадки и замять?
Так и плыли напару вдоль жизни реки –
радость подле, печаль меж словами…
Будто кто-нибудь знает, что и впрямь не с руки.

* * *

Назавтра известят, кто свят. Назавтра!
Сегодня всё как было, всё как есть.
И, собственно, о чём хлопочет жатва,
коль дождь и град упали днесь?

И что от святости, когда пахал и сеял,
а год за годом – недород?..
Назавтра известят, кто был рассеян –
не знал чем набивать щербатый рот?

* * *

Не испугать мне сборщика налогов на мосту
ни выбором своим, ни красочным паденьем.
Его доход неколебим, а нрав – ровнее нет.
Он к месту прикипел. Его скромны владенья.
Подумаешь, сравнил – река и белый свет.

Лежу себе. Дышу. Авось чьи-то ноги
не дремлют и взойдут на этот чёртов мост?
Он вырос сам собой, возник среди дороги,

ведущей незаметно на погост?

Я шёл туда?.. Ну, нет. Теперь-то я отвечу.
Глоток!.. Ещё один!.. И опадает грудь…
Реку прозвали Стикс. Устало никнет вечер,
не в силах даже скромно помянуть.

* * *

Наградою лишь осени гоненья,
да рубленный под клинопись верстак,
и слов гусиный клин, и – удивленье,
что иногда – о, боги! – не впросак.

* * *

Не мы безумны – краски.
Не мы бессильны – звуки.
До времени – запасник.
До срока – на поруки.

Решётки да запреты –
расплата за прозренья.
Но вот минует лето –
исчерпают презренье.

Но отжирует осень,
и жадные простуды,
и я задам вопросы.
И сам ответом буду.

* * *

Но тема гибели поэтов
не бездыханный эшафот,
а текст про то, верней про это,
и плюс десяток мнимых нот.

И что с того, крылатый почерк,
и профиль посреди полей –
ничей? Ничьи попытки почек
мир спрятать в купы тополей.

Ничьи фигуры преферанса –
просчёт, и проигрыш, и крах.
Ничья волнительность романсов,
проделки музыки в словах.

За них, за мнимые изгибы –
не звуков – если б (?) – только губ (!) –
идёшь на верную погибель
и прозябанье медных труб.

* * *

Ну, что, возвысился, шлимазл?
Извлёк затейливый урок?
Ты, говорят, по сопкам лазал,
и в рюкзаках находишь толк?

Ты, слышал, по росе и хладу,
когда тепло желанней льда,
провёл подальше от парадов
неповторимые года?

И то, немое возвышенье, –
весь мир у ног, а ты один –
неужто возместит сомненья
и стыд запроданных седин?

* * *

Но вместо линии косой
для гладкого чистописанья
предложат искоса глядящую судьбу –
она фельдфебельна
и погасит восстанье,
упрятав вольнодумца на «губу»,
а то и дальше…
И прощай, европы,
в бессонных начинаниях свобод…
Как упоительно в тайгу уводят тропы!
Как вышки сторожат ничейный небосвод!
Но даже здесь, в утробе камнепадов,
в скрещениях упрятанных хребтов,
случались возражения награды,
без рассуждений плоти, что потом.

* * *

Не сидя спать, а как бы привалившись
к тупой стене, к постылым кирпичам
и, как бы, от себя отъединившись,
брести навстречу боли палачам.

И в долгой тьме, не видя в жизни смысла –
когда бы лечь, всего лишь только лечь –
с нулями повторять немыслимые числа,
и в зыбкий сон хотя бы раз убечь.

* * *

На погибель лугов
половодье совсем не помеха –

уведёт из-под ног,
раскидает осколки воды,
и течёт через край
непрерывная жажда успеха,
а на суше – державная поступь беды.

Как бы всем поделом?!
Преуспевшие выхватят «налом».
Ой, вы кони мои, обогните,
отдайте им всё!
Я сторонкой – поодаль!
Я кропаю мало по малу.
И водой не оплачен,
и лугом ещё не спасён.

*   *   *

Но доктор, дудочку достав, дудеть не станет.
Приставив к печени твоей, он всё поймёт:
Чего чуралась, чем жила, в какой тьмутаракани
Она, барахтаясь во тьме, ещё поёт.

От песен – что? Один разор, надрыв и непорядок.
Да – вот заладила своё. Её не своротить.
Давайте, доктор, помолчим, смахнув слезу украдкой.
Без песен печени нас легче уморить.

*   *   *

Не побережный.
От гостей одышка.
От крестоносцев,
от филистимлян.
Моим горам
не свойственны излишки.
Суровы и серы.
Где камень – прочь обман.
И я над ним,
шершавым и плебейским,
прикладываю руку –
море где,
и вопрошаю к предкам
иудейским,
как жизнь прожить
без замков на воде.

*   *   *

На лестнице,
протёртой до седин,
на лестнице
знаком не только

каждый блок,
а вся нелепица,
все полуночные шаги,
и вся бессонница…
За мною – Вы? Я – не один?
Никто не гонится?!
И снова вверх,
и тут не вниз –
вне равновесия.
Какую силу приложить,
изъяв из месива
обобществлённого вранья
своё бессилие,
и раз за разом нападать
на врак Бастилии?

*   *   *
Ну, вот и лабиринт,
ему подвластна правда
и нити Ариаднины – и все
беспомощны. Распутывать не надо.
Я прячусь в недокошенном овсе.

Там, подле леса
богатырство сосен –
от золота стволов
в глазах сплошная рябь,
и нет нужды в опасливом вопросе,
когда небесного суда
разверзнет хлябь.

Неужто только он?
Неужто прежних мало?
А те, что в сей момент, куда девать?..
Овсы покосят. Побреду устало,
свой лабиринт бумаге доверять.

*   *   *
Не совпадаю ни с тобой,
ни с кем-нибудь другим.
С самим собой не совпадаю.
Случайно в строчки попадаю.
Случайно называюсь дорогим.

Вот посох. Вот сума.
Пора совпасть с дорогой –
хотя бы между строк утечь.
В тряпице полотняной скарб убогий
и некая мной траченная речь.

* * *

Но там лежать, где музыка в крови,
где ночь сама превращена в бельканто?..
заброшенный погост по чину эмигранту –
увы, не достижим, зови иль не зови.

Всё можно превозмочь.
Но кто оборонит?
Тебя в чужую землю закопают,
где на помин «тройной» не распивают,
и нравы безупречны как гранит.

Но кто его на это принуждал?
Ведь даже венценосные каналы
похожи на иные, где бывало
он рифмы первые вожжами понужал.

* * *

Назавтра будет счастье –
серьёзно обещали, –
исчезнут вовсе слёзы,
печаль при всех срамна.
Мы жили – понаслышке!
Мы даже не нищали,
поскольку богатела
всегда одна страна.

А мы по ней слонялись.
То нас сгоняли с места.
Но мы не горевали.
Мы защищали мир.
Случается такое,
и время есть, и место,
а финиш – неизвестный,
загадочный ОВИР.

* * *

Он в хоре пел, Сосо. А мы-то думали,
свой голос никому не доверял.
Искусству неоплатное соседство,
он хор всю жизнь из вида не терял.

Нормально пел. И будто сроду ведал,
что миллионы станут дуть в его дуду,
и назовут сие народною победой…
А песни – искренне (!) – до сей поры в ходу.

* * *

От интонации цитаты – закавычите:
«Наперекор судьбе взращённый лес» –
я направляюсь прямиком к учителю,
неся вязанку слов наперевес.

А он, замотанный в халат известности,
переднюю свою не узнаёт:
«Вы истопник? Вы не из нашей местности.
У Вас поленья жёлтые, как мёд».

* * *

Опять бесцарствие. Ни виршей. Ни имён.
Кто вспомнит между делом Время?
Кто был его пожаром опалён,
но всё-таки попал строкою в стремя?

* * *

Оглохну, онемею –
такие, вот, дела.
Нисколько не робея,
себя ты привела.

И позже, и намедни,
когда от жданок пьян,
я ласковые бредни
отрину как обман.

Молчания довольно –
и с верхом, и сполна –
когда моим ладоням
ты вся видна.

* * *

Строжайше запрещён мне вход на полустанок,
приткнувшийся меж сосен и песка.
Там бродит среди изб стреноженный подранок –
под кожей изюбринная тоска.

Он зверь или примат? Сплошное пониманье!
В глазах ореховых – горючая слеза.
Подпилены рога. Ни гордости, ни званья –
большая несуразная коза.

Но канут сентябри. Он содрогнётся в рёве,
соперников сзывая – на гульбу.
И вековые складки тусклых брёвен
увидят не рога нам сторожат судьбу.

*   *   *

С иллюзиями полный кавардак –
покончено, и в то же время мнится,
что в некий час пустое отслоится,
и штучное нахлынет на верстак.

*   *   *

Союзки и подмётки, без права на пролётки,
невидимые тропы – пешком и напролом.
Где ныне те смешные, студентки-первогодки,
с которыми стал раем причаленный паром?

Он отдыхал, цепляясь за черноту каната,
и мы сушили ноги уставшие бродить.
Какие, там, пролётки?! Ночь гасла виновато,
пытаясь нас от жизни – колёсной – оградить.

*   *   *

Свободы жест
и жёсткость в одночасье.
Как будто от свободы
только взлёты вверх?!
Неведомо,
с какой свободою удастся
наружу вывести
свой драгоценный грех.

*   *   *

Слово от Бога или себе на потребу?
Тощее сердце? В ржавых коростах перо?
Ангел намедни бродил одиноко по небу,
будто не ведал, за ним – на запятках – УГРО.

Кто за тобою? Кто сладко прижмёт и отринет?
Кто уведёт за пахучий и ласковый стог?
Или о сытости сладкие стоны отныне,
сладкие стоны, мол, только надкушен пирог?

*   *   *

Сперва повяжет побарачно и попарно,
коль выживешь, истории отдаст.
Но, главное, пребудет лучезарной.
Кто виноват, что не был ты глазаст?!

*   *   *

Памяти А.А.

Селёдка, слава Богу, хороша –
газет прекраснодушных не читает –
и в бочке, незатейливо лежа,
лениво покупателей смущает,
а то б она успела улизнуть
от дамочки с лицом невозмутимым…
Ещё бы! На дворе указов жуть –
блудницы стали наконец гонимы.

* * *

Памяти блокадников

Три или две крупинки,
крупинки без икринки,
считаются едой
наедине с водой.

А без воды крупинки
похожи на соринки,
на сор любой…
Их надо есть с водой!

Вода и два пролёта –
промёрзлые ворота.
Повсюду царство льда.
От жизни нет следа.

И ты, воде навстречу,
пока намерен вечер
движение терпеть –
иначе смерть.

* * *

Памяти А.А.

Таинственный недуг,
быть может, глухота,
а если разобраться,
слышно боле,
как буква к буковке охоча,
как мечта
проникнет в королевские покои
и царственно –
не где-нибудь, а Царское Село –
расположить хозяйку между строчек…
Царапающий – подлое стило –
и падающий в вечность
беглый почерк.

*   *   *

Ты помнишь жадную грозу
и потные ладони,
и баба на кривом возу,
и блеск зубов в «батоне».
И ночь, верней её пролог,
небес густая синька,
и домом пахнущий порог,
и пса смурного линька.
Всё без призывов, без забот!
Рывком – под ноги – спальник,
бесстыдный земляничный рот,
и сам всему – начальник.

*   *   *

У финикийцев отнимать – себе дороже.
За греком в гору поспешать – куда с добром.
Мы вышли порознь, но продублённость кожи
не разделить в словах – мечом и топором.

И тем, кто ставят на раздел в иных легендах,
та, наша суть, – пустой рассказ, ненужный штрих.
Мол, пахнешь кровью, иудей, ты помнишь рёв победный,
когда с тебя спросили за троих?

*   *   *

Уйму своё негодованье.
Состарюсь. Буду горевать!
Всё обусловлено заранье:
и плёс, и под саранки падь,
и дальняя – в снегах – «падушка»
у горла хриплого хребта,
и ленная с утра подушка –
услада пуха и пера.
Всего-то надо – согласиться,
запечатлеть и унести
травинку, платьице из ситца
и бесполезное «Прости!»

*   *   *

Филистимляне всё ближе.
Отчайные, видно, парни.
Позорят внаглую, надо же,
не выбирая слов.
А тут мокреть под Парижем.
Стылые майские камни.
Дождь многослоен и важен.
Закрой-ка дверь на засов –
от этих которые рвутся

в душу и даже дальше,
позорят, как будто знают,
кто ты и чем живёшь.
Ползучие революции
случались, конечно, и раньше.
Чистые вечно зевают,
и всё отдают ни за грош.
И ты, ну, давай, откровенно,
отдал не дождям, а наглым
филистимлянам и прочим
всё то что в душе стерёг…
ну, бросишь в огонь полено,
камин преисполнишь отваги.
Тепло не впервой заморочит –
ушёл не спеша, не убёг.

*   *   *

Шекспир виновен, что века
пред ним разъяли двери нараспашку.
Он нагло лез к словам под нижнюю рубашку,
и брал их за бессмертные бока.

2001

*   *   *

А осень напослед –
в ужимках и охапках –
хрустит себе, летит
навстречу холодам.
Те вежливы сперва,
на послушанья лапках,
потом – о наглые –
под дых и по зубам.
Пусть даже не впервой,
но, всё равно, обидно.
Неужто вне тепла
нам снова зимовать?
Я не скажу о том,
что мне тебя не видно,
и с каждым годом всё трудней
на счастье уповать.

*   *   *

Памяти выживших и вернувшихся

А высшее – предел услады управдома –
обворожить – Вы прожили не зря –
и выгнать на мороз,
где форточки знакомой –

квадрат в оправе стужи января.

И нехотя вернуть, о власти сожалея, –
он бы таких наверняка подалее упёк…
А ты кладёшь глаза на детства батарею,
ведь бегал от неё, горячей, наутёк.

* * *

А если звёзды не хватать,
а только издали,
то душу сбережёшь,
а, впрочем, и себя.
Они висят – манящие –
над избами,
простуженное небо серебря.

И древний Газимур –
проток извивы, старицы –
пригреет пригоршню
вполне успешных звёзд –
средь плёсов, выбирай…
Иным доступность нравится –
в подол насыпал
и домой принёс.

* * *

А прошлого забеги по ночам –
всё норовят вперёд,
окрасить и ославить,
гордиев узел разрубить с плеча.
А как потом?
Как с нонешним лукавить?

* * *

А истине немного по плечу.
Мир пользует иные развлеченья.
Кто прав, кто виноват –
досужее мученье.
Я лишь догадками верчу.

* * *

Вьючной лошади по кличке «Боча».

А Боча мой, он репицей не двинет,
хоть гневом окати его. Велик! Нетороплив!
Байкальские хребты воспитывают дрыном,
так порешил бродячий коллектив.

Ну, Боча! Ну, чуток поторопи члены,
могучую лепнину ленных ног!..
Я молод был. Не знал породе цену.
Мне коллективный опыт не помог.

*   *   *

А дождь поверх снегов хоть прыток, да куда там, –
белеет, как и прежде, огород.
Я вслед дождю полазаю по хатам –
проведаю чем кормится народ.

В предчувствиях весны он поспевает прытче –
всё норовит приварок угадать.
А счастья долгий воз, нахохлен и набычен,
и ныне там, где с ним не совладать.

И в этом, видно, прок. – О том давно наслышан.
А мне с дождём мотаться по снегам,
солому ворошить на позабытых крышах,
где складывалось детство по слогам.

*   *   *

А скрепы жизни той устали разошлись
или до смерти с нами?
Как возражать им, как покой стеречь?
Мы прозевали жизнь – пролилась меж усами
или ошибочна вдогон любая речь?

Всем властвует контекст и тот, кто раньше вскочит,
кто норовит другим повелевать?..
А нам, пустынных душ чернорабочим,
лишь рот вдогонку щедро открывать?

*   *   *

Барьеры – пусть!
Я не поверх барьеров.
Поодаль.
Сам не знаю где.
Химера упирается в химеру.
Пустые зёрна в борозде.

Но жизнь длится,
так или иначе –
имеешь спрос,
иль не имеешь спрос.
Я сам себе брожу,
сам в борозде заначу
мной, только мной,
пророщенный вопрос.

* * *

Вот только душу запродам и вышагну из клетки.
Ещё бы кудри подсмолить, и парень – хоть куда.
Лютует седина. В косую сажень детки.
И где-то льётся меж тайги и сопок Ингода.

Ты с ней, душа, иль за бортом? Когда бы не продажна.
Мы о себе всегда всерьёз, но, Бог ты мой,
здесь, между полых строк, меж прихотей бумажных,
ещё б припомнить, как звучит: «Пошли домой!»

* * *

Впредь о приличиях ни слова,
не потому что утекло
зерно отборное с половой,
и мухи пачкают стекло –
мы выпали из сути скорбной…
Жизнь, как лобзающий лакей,
и счастлив верностью отборной,
и фигу прячет в кулаке.

* * *

Вся жизнь как ожидание засветки.
Еврей?! Да, ты, брат, всё равно продашь…
Так и живёшь на выходе у клетки –
вдруг осчастливят, оказался наш.

* * *

В какие веси нас влечёт,
в какие веси?
Мест на земле наперечёт,
где с песней вместе.
Вот корм с руки и ровен тон,
а ты тревожен –
не можешь с веком в унисон,
увы, не можешь.

Найти б забвения траву –
что может лучше?! –
свою повинную главу
неся по суше,
среди озёр,
среди полей,
вне отчей доли,
и вдруг понять – всего больней
чужбин раздолье.

* * *

В замедленной искусности письма,
в расположеньи крыльев строчек,
ни грана вразумительных пророчеств,
лишь прихоть искушённого ума.

И даже там, где коротко и быстро «нет»,
и недвусмысленность отказа,
моя невинная и сладкая проказа,
но только не строки решительный совет.

В нём более всего, незримая борьба.
А сам-то, сам обрящешь утешенье?
Иль ломких строк и букв перемещенья –
твоя неутолимая судьба?

* * *

Вот только докажу последнее,
вернее, доскажу вчерашнее,
и – новоявленный – в переднюю,
«Вы помните, мамаша, сына Вашего?

Как он от Вас по свету улепётывал,
не вняв советам мудрого Альцхамера?
Вы помните мальчоночку залётного –
Седого гостя, вовсе не татарина?»

Он понимает, жданки все истрачены.
От телефонов, что, одно вредительство.
А вёрсты не разлукой озадачены –
Отечества сомнительным правительством.

И мне в передней больше не отломится
простое, как дыханье, узнавание:
«Ты дома???» И душа до долу клонится.
В ней оправданий нет для расставания.

* * *

Памяти В.Ш.

Всесильны лагеря!
Власть и поныне жаждет, –
да, и грустит Колымская «краса»…
Куда ты, Валаам?
Иль кто-то – правый – скажет:
«Ты зря тягался с Солжем на весах».
Доверчив он –
то власти, то Гулагам.
На то пострел – везде поспел.

И вроде прав,
и всем желает блага.
И вроде о себе немеряно радел.
Или к талантам нету общей мерки?
Скажи мне, Валаам: «Истории важней,
ты трогал «кума» смазанную дверку,
иль ты на нарах в размышленьи вшей?»

* * *

В облатки рифм себя небрежно обернуть,
и собственной бедою насладиться.
А там, и жизнь хотя б одну перевернуть –
прочесться кем-то, в душу просочиться.

* * *

Долу четвёртый склон,
кто тебя вниз волок?
Просека цвета погон –
свежей лавины рывок.

Не для брезента судьба.
Нас не спасут кусты.
Суток двухжильных ходьба.
Траты до немоты.

Горы, они вдали
мягче любых камней…
Плыли лавины в пыли
тех – незабытых – дней.

* * *

Для блага творенья творящим – а что тут поделаешь? –
и воздух пахучий в мехах прикорнувших небес,
и жгучая ночь – среди звёзд за мечтою побегаешь –
и в зелень уплывший, ушедший по ягоды лес.

Для блага и то, что они не стесняются этого,
заметить не смогут, сквозь воздух пытаясь пешком
дойти до границы, где ночь только с левого берега,
а с правого – день с маломальским апрельским пушком.

А мы для чего, на творенье до дна неспособные?
Ещё бы, себя вставлять напоказ, на смертельный обзор?
Как нам утаить свои души, сырые, бесплодные,
в молчаньи сыскав каждодневного смысла запор?

* * *

Жизнь вычеркнуть как худшую строку,

как будто к лучшей есть пути возврата.
Не в не ли снова – брат на брата,
И смерть за ними на скаку?

А в той, без выстрелов, когда не воевал,
и пашни под ногой пушистые развалы,
не ты ли горевал – колосьев мало,
и мысленно соседа убивал?

А вдруг Чужак?! Тогда и вовсе бой.
И нет тому конца. И нет предела…
Жизнь намертво к убийствам прикипела.
Ты для неё везде изгой.

* * *

Зато пророков дополна –
на то отечество.
И кажну среду допьяна –
ни в жисть не лечатся.

И жрут её, куда с добром, –
всё мало кажется…
Нам, угнездившись за бугром,
нет, не отважиться.

Мы цедим, гладим не «граньё»,
не рёбра круглые,
и не пугаем воронъё
отборной руганью.

Но странно, грезя и скорбя,
куда-то тянемся
и, лоск газонов теребя,
себе не глянемся.

* * *

И угодить в «колючку» снова.
И знать, что ты и сам колюч,
и наперво колюче слово,
и колкой влаги полон ключ.

И если думать наизнанку,
из жизни колкость изымать,
то лучше жить на полустанке,
и жизнь любую принимать.

* * *

И с каждой дуростью считаться.
Да, и свою считать вполне.

И с нею – с нею поквитаться
строкой, распятой в тишине.

* * *

И толком не понять, как звук находит
соседний звук и тот, что опосля,
и надевает шарф при непогоде,
меж лужами испуганно труся,

и, более того, подманит ветер –
округлы губы, чем Вам не манок…
А стих лежит – подброшенный – в кювете –
до звуков ли ему, коль стынет бок.

* * *

И если повезёт,
то угодишь в ловушку,
пусть даже «чёрт рябой»,
приспело – наплевать.
Цена всему –
затёртая полушка,
но слову дать
собой повелевать.

* * *

И стыд за жизнь, за то что длишься,
а позади – чреда друзей.
Ты к ним уже не постучишься.
Они не могут без рассей.

И эти ласковые фото
не помогают ни чуток.
Лишь горше выпавшая льгота,
И суше вечности песок.

* * *

И вовсе не «гнездо Иосифа».
Там было много гнёзд.
В стихах купались,
Пи́сали стихами.
Весь город, от Невы
до маломальских звёзд,
не знал, как поступать
с подобными грехами.

* * *

И я объём рисую –

если бы умело –
и тычусь в линии его –
слепой щенок.
А жизни щедрое,
неслыханное тело
других зовёт
за лакомый порог.

*   *   *

И если нам так красота важна после ухода,
и если место красит, мы уже не в силах
и согласимся… А пощупав воду,
признаем – мягче чем у Финского залива.

И всё же, всё ж – прилипчивая фраза –
не выбирает место для рожденья,
но рядом с Анной – навека от сглаза –
неужто хуже ихних наваждений?

Бессмертна правота, или она бессильна
в нас что-то изменить, велик ты или Некто,
проживший в двух разноязычных стилях?
Всего-то два?! Семь непохожих в спектре.

Так пусть буксир, пузатый и нахальный,
без промедлений или проволочек,
средь ночи умыкнёт из тех италий,
где счастья дополна, но русский почерк,

его кривули, выверты, вростанье
в изнанку речи – в самое сплетенье…
Чужой не станет ближе, нет, не станет
нам, всё поставившим на средостенье.

*   *   *

И до сих пор не наскребу ответа.
Мне собственная фальшь дороже чем чужая?
К примеру, чем грозилось давешнее лето,
когда мы жили близко от Китая?

Ты помнишь тот рефрен, а «вдруг они достанут» –
Вот так и начинают долгие отъезды.
А фальшь? Она кочует вслед за нами,
умеет быть понятной и любезной.

*   *   *

Из любви устроить жизнь, из ласковой.
Человек-де, помирает без неё –
в одиночестве хрипит и грустно шамкает,

и отхожим пахнет нижнее бельё.

Обелю его, любимого, обрадую.
Правду он увидит лишь в кино.
Так и быть сему, любовь не схожа с правдою –
с недомолвками, с незнаньем заодно.

* * *

И на волне невоплотимости
жизнь обозреть и оборзеть.
Где Вы, девчачии ранимости
и мальчуковость – не реветь?

Какие тени Вас залапали?
Каких неправд ликует взвесь?
И почему мы жизнь прошляпили,
нежданно оказавшись здесь?

* * *

И даже Македонский свет не застит,
когда ты соразмерен бочке.
Мир усмиряют в одиночку –
мир, но не собственные страсти.

* * *

Июль. Серёдка лета
последнего годка.
Задумала планета
сказать «пока»

и веку поклониться,
и десяти другим.
Считается, страница
закрыта. Новый Рим

миллениум откроет,
но нам, увы, не знать,
какое снова горе
придётся обнимать.

* * *

Сыну

И сыну своему рассказы,
и притча, помещённая в рассказ,
мол, с истиной не встретимся ни разу,
она всё с глаз долой,
с твоих незрячих глаз.

Вдруг рядом? Вот она!
Ну, где же ты, плутовка?
И вновь погони. И долой года.
И каждый раз вблизи
ты слышишь голос звонкий.
А что потом?
Ни сле́да. Ни следа́.

*   *   *
И от меня возьмут плохое.
И не утешусь, но пойму,
что состояние покоя
известно Богу одному.

А нам, писавшим понаслышке,
пытавшимся себя расчесть,
дано терзаться… Нет, не свыше!
Мы хуже, чем могли – чем есть.

*   *   *
И даже смерть как повод для отмщенья,
для правоты, которой нет конца.
А жизнь – что? Сплошные упущенья –
вина неведомого третьего лица.

Хоть раз бы о себе, твореньи бесподобном,
всерьёз заголосить: «Куда бредёшь?»
ведь нет ничьей вины, лишь самому угодно,
что ты рукою пишущей живёшь.

*   *   *
И вровень не ахти.
И врозь не больно сладко.
Всё будто бы не так,
а этак не дано.
Ты, верно, заплутал
в сплетении распадков –
куда не попади,
везде одно.

То чехарда вождей,
то недород, то холод,
а то и вовсе –
призрачность идей.
И мы вокруг бубним.
И каждый звук нам дорог.
А истина?..
Кто гнал её коней?

*   *   *
И ни малейшего желанья
умнее стать. Готов забыть,
как сладки трели назиданий,
как радостно других корить.

Но ты ведь сам укор себе, смурному,
потатчику вселенской лжи…
День ото дня бессильней слово,
И всё бесплодней миражи.

*   *   *
И таска на талант, на сонный запах кожи,
биение чуть слышное виска,
и цвет волос, на палевый похожий,
прилёгший вместе с рифмой у леска.

И утро, вставшее неслышимо, нежданно –
такая рань, и палевому спать.
Ты рифму, что, за цвет волос держала,
к опушкам наловчилась подсылать?

Спи! Нынче сон и дорог, и неслышим.
У рифмы выходной, и некуда спешить.
Мы все опушки в полдень перепишем,
научим их о прошлом не тужить.

И давних слов издёвки и издержки
забудем и не станем вспоминать…
А палевое где? Луч солнечный, без спешки,
на коже примостился, выглядев кровать.

*   *   *
Как лист,
упавший оземь,
стал горчить,
так правда,
приостыв,
твой двор покинув,
уже не та –
не стоит ей учить,
как надобно,
с всезнающею миной.

И лист предвидел,
и горел упрёк
негодованьем,
собственным прозреньем.

А впрочем, ты права.
Ты с правдой,
я – промеж
тобой
и собственным презреньем.

*   *   *

Когда продлюсь травой или ползучим гадом,
и подползу к ногам твоим, боясь,
что ты ни капельки не рада –
сердечная забыта связь, –

ты отступи, ты погоди с ответом –
меня ведь не воротишь, не вернёшь –
ты просто вспомни полдень, бабье лето,
рюкзак, который ты беззвучно рвёшь,

как будто он виной, а не хозяин,
не горизонтов грозные ходы –
вот-вот запорошит, зимою зазияют,
и ты меня упрячешь снова от беды.

*   *   *

Коль вся тщета в щепотке праха,
мы лишь безумные временщики:
почти бегом – на каторгу, на плаху,
по прихоти карающей руки.

Нет чтобы разъять, разуплотнить мгновенья,
и литься, как вода, в согласии своём…
За колкую строку, за всплеск стихотворенья,
готовы в лагерей смертельный окоём.

*   *   *

Когда-нибудь пойму, что с нами происходит,
и печку протоплю, и выйму пироги.
И буду ожидать под вечер на пороге,
когда почудятся знакомые шаги.

Соседей тишина легла повдоль заборов.
И ранняя звезда повисла над прудом.
Я всё-таки дождусь – за жарким разговором
мы не заметим как исчезнет сон.

Всё исчезает. Всё! И мы исчезнем тоже.
Ни губ влекущих. Ни завистливых дверей.
Нам только кажется, что мы сполна итожим.
И прок есть от заморских лотерей.

Нам только кажется, что кончились напасти,
и мы с тобой по жизни поскользнём…
Когда-нибудь пойму, что называлось счастьем –
когда не нужен бегства окоём.

*   *   *

Как моментальна ты
и как небезупречна.
Тебя б продлить,
да невелик карман.
А рядом,
в обиходном красноречьи,
не мудрствуя,
приветливый обман
Тебя б упечь.
Да, ты и так кандальна.
Чуть что, тебя в оковы.
Поделом!
Век и меня
на этом бреге дальнем
готов в любой момент
отдать на слом.
И всё же пред тобой
колени преклоняю.
Какая есть!
Ты только не беги.
Я правду про тебя,
правдивая, не знаю.
Об этом ведают
дотошные враги.

*   *   *

Как правильно заметил Осоргин,
писать стихи губительно, нелепо.
Но как, позвольте, выбраться из склепа
усталых и распатланных седин?

Одно лишь ведомо – себя пытать,
и вырывать признания, и скифам
подкинуть след с затасканною рифмой,
и кровью отворённой напитать.

*   *   *

Как зарекаются горнисты
будить не вовремя зарю,
так и поэт морочит листик
не только в пику январю.

Да и бумага тоже ропщет,

откуда что, всегда права –
вали, юродивый на площадь
в топу, под взглядов жернова.

И повалю. Да, я… Да, рази,
не вижу жизни окорот –
по уши в каждодневной грязи,
обыденным пресытив рот?

* * *

Сыну

Мой мальчик, готово хлёбово.
Не три понапрасну виски!
Ты нынче покинешь логово –
домашних традиций тиски.

Ты волен. Ты жаден к отдельности.
И хлёбово вымучишь сам.
И собственной горечи прелести
по крохам придут, по слогам.

* * *

Мы вовсе не умны и даже,
на знанье уповав, забыли вдруг,
не главное открылось нам однажды –
разомкнут только бесконечный круг.

И я в бреду твои смыкая руки,
себе твержу: «Не поздно. Отойди!
Здесь тоже бесконечно будет муки,
и никакой надежды впереди».

* * *

Натруженный шпагат. Пяток хвалённых книг.
Переживут! Им не такое снилось.
Я припасу их в сокровенный миг.
Не ты ль, почтенная, с косою появилась?

Ты то и дело кликала гонцов
и подсылала в полночь то и дело.
Ты видишь, я смиренен и готов:
пяток хвалённых книг и – до свиданья, тело.

* * *

Не старше я тебя – печальней.
Среди обглоданных дерев
октябрь бродит инфернальный.

Уже, не изжелта. Увы, не лев.

А если б лев, да издалёка?
Глядишь, усмешка на лице –
как нищ, хвост жалкий проволокой,
зрачки усталые в свинце.

Мы с ним бездомны! Гривы оземь,
я старше – позабыл про страх…
Октябрь провожает осень,
на собственный ступая прах.

* * *

Ну, отзовутся хорошо,
ну, высмеют по чину,
а то и пропечатают
всё то, что прикопил.
Как будто с этим
кончатся кручины
и хриплого пера
напрасный пыл?

* * *

Ну, сбудутся все домыслы твои.
Что делать после?
Как величать тебя?
Как прочих умалить?
Всё тлен!
И тленом станут
буквы на погосте,
с которыми
ты вызвался шалить.

* * *

Не бриза натиск,
не песка спасенье,
а просто обожание водой
полоски суши,
сила воскресенья –
припал, приник,
а утром снова в бой.

А ты, лентяй,
ловкач и лежебока,
лишь ловишь взглядом,
нет, чтобы помочь
или понять,
каким незримым боком
ныряет бриз

в божественную ночь.

* * *

Не взятая в металл – ведь с небом помесь,
и можно надкусить, своя иль не своя –
поверх листвы досказывает повесть,
как беспечальны россов сыновья,
как от истории они бегут подале.
Учиться? Ни за что. Всё набело и вновь…
Не взятая в металл, но бредит о металле –
вождя ей подавай заржавленную бровь.

* * *

Но каждая косточка в кладке предплечья
и смеха анфас – от скулы до скулы –
тебя не забудут, и жизнь обеспечат –
на слёзы бессчётные из-под полы.

* * *

Но для того и горлом ересь,
что ты к продажным не ходок,
и холод, прямо в сердце целясь,
тебя сибирями волок.

И то, что после, за кордоном,
нет, не исправило тебя…
Еретику иные стоны
побудки ранние трубят.

* * *

Нелепая парсуна,
кафтан до пят.
А прадед был того –
в шагу неловок,
не умствовал,
и девкам не шептал
«я свят»,
а норовил валить
без лишних недомолвок.

А прадед был того –
совсем не московит.
На пришлых не печать,
а вековая тайна!
Он выбирал Россию
или делал вид,
что для него парсуна
не случайна?

*   *   *

Но мне, прирождённому Абелю,
не спрятать свой хищный окрас.
Мы славно Вас, братцы, пограбили,
язык прихватив про запас –

наждачный, ядрёный, нахрапистый!
Подсластишься – благоволит!
И надо Вам, братцы, попятиться
в бесплодность привычных обид.

*   *   *

Но было велено заранье
себя пресечь, окоротить,
и окна призрачною ранью
в чужие дали отворить.

И после, душу искалеча –
иная жизнь, иной пошиб –
ты запоздало стал перечить –
опять был власти перегиб.

*   *   *

Но только в странном притяженьи
невнятных звуков, тайных слов,
случается подспудное сближенье
свободы и недрёманных оков.
Ты ими бряцая иль подмечая,
что стал впервые мягче звук,
чуть погодя уже серчаешь –
в свободе тоже вдосталь мук.
И то что одному по сердцу,
другому вовсе не с руки…
ты вновь и вновь терзаешь дверцу
свободы и оков строки.

*   *   *

Не сообща,
не зарясь на сообщника –
вина моя, она всегда моя –
в бумагу выхожу без страха,
как окопники
не слышат воя пуль
смертельного литья.

*   *   *

Памяти О.М.

Неужто и ему – на нарах нижних?
Неужто счастье привалило?
Пусть помнят и Москва, и Нижний,
как дело было,
как некто в мятой одежонке,
за горстку сахара картавил,
а вечность плакала в сторонке,
вдали от правил.

* * *

Не ожидания мессии
и справедливости вразнос,
а марш-бросок в леса России,
в тайги желтки и купорос.

Чтоб после, в трепете подвала,
в ознобе старости и сна,
поверить – жизнь тебя позвала,
туда где пряталась сосна.

Лишь это сроду не отнимут
и ни за что не отберут –
гольцы, а ты паришь над ними,
как повелел души маршрут.

* * *

Опять себе во вред. Куда уж ниже?!
Упомнили, пришли и вот,
о ранах говорят – мы их залижем,
ты только не рифмуй, закрой свой старый рот.

Я и прикрыл, покуда хлада озимь
прокралась в мой негреющий подвал,
и трудно возражать житейской прозе…
кто бедных рифм, увы, не предавал?!

* * *

От полного контроля над собой – увольте.
От вверенного разума спасает лишь строка.
Она гуляет там, где глупости в почёте,
и балом правит праздная рука.

Вот здесь – бултых, а там – рвану на берег.
Линялых волн и вёрткого песка
строке довольно. Я теперь в тисках америк.
О, как ты хороша, заморская тоска!

*   *   *

Припрячу свой наив – авось не обнаружат.
Я Вас не изменю. И Вам не изменить
мой способ прозябать, не выходить наружу,
и только между строк о счастье говорить.

*   *   *

Последняя любовь
и одинокий Брамс.
Пророческий концерт,
где скрипочки в засаде.
Их звук не устаёт,
с нас не спускает глаз,
как будто в назиданье
Брамсом даден.

Неужто он один?
Никто бы так не смог
внять звукам,
подстеречь
и усадить за ноты.
Вмешался, видно,
непоседа Бог.
Он любит струнные
до коликов, до рвоты.

*   *   *

Пусть дело безнадежно.
Галеры, так галеры.
Прикованы, пришиты
к постылым временам.
А где любви примеры?
Где были мы не биты?
История и ныне
дана говорунам.

*   *   *

Потерянно признаться,
что ничего не надо,
ни шума океана
на сотом этаже,
ни бесконечных гонок
за мнимою наградой.
Ты проиграл, мой мальчик.
Остался неглиже.

И там, в холодных окнах
былой пятиэтажки,

никто тебя не сыщет,
не пригласит с собой.
Тираж тебе не нужен.
Но всё-таки промашка,
когда не могут рифмы
зажить своей судьбой.

*   *   *

Прославлю милый Дельфт,
Остановлю мгновенье.
Ликуя, тишину
воздвигну на престол.
Моя, она, моя!
Иные станут тенью,
но вечность не посадит
их за стол.

И Катенька вослед:
«Спасибо, Иоханесс!
Ты не мельчил,
не тратился зазря.
Ты тайну подстерёг –
невидимую данность,
загадочную живопись творя».

*   *   *

По чёрной лестнице –
едва живым каракулям –
по рванности
салфеток и клочков,
не подступиться –
редок конь, караковый,
подпалины от холки до подков.

Тут надобен табун
листов веленевых –
века переживут,
их не зарыть.
А ты ленив…
По щучьему велению
и маломальской славы не избыть.

*   *   *

Предстать жидом и – выбиться в поэты.
Не десять выбивать. Противно только в цель…
Да, мало ль что случится, коль с приветом.
Ты лучше в правило Маринино поверь.

Неужто и тебя жидовство гнало

на эту каторгу – на переклички слов –
и некому захлопнуть поддувало?!
Ты не избранник любящих Богов!

Марина! Может быть?! Я кровь не отрицаю.
Хотя словам на это наплевать.
Когда бы свой язык?! Я своего не знаю.
Мне выпало чужой за лучший выдавать.

* * *

По мере отношения к себе,
по полной мере,
сужу не я – слова
и то, что между строк.
А Вы что думали?
Что сыплю всю неделю
песочек сахарный
на ступни стылых ног?

* * *

Стать стариком еврейским… Нет, без выгоды.
Известна непокладистость мужчин:
седая борода, рембрантовские выпады
и строгость непридуманных морщин,

но больше – взгляд, или почти незрячесть,
иль даль, увиденная поздно – не достать,
и тишина поверх любых житейских ткачеств –
ты здесь и там, вневременью под стать.

* * *

Сыну

Сухие дебри Чингизидов –
от сопки к сопке два шага –
влекли безногих инвалидов
в преддверье нового врага.
Ещё обиду не унявши –
в такие лета и без ног –
они хранили день вчерашний
и гордость фронтовых дорог.
Не милостыня, ради Бога,
отсохни подлая рука –
занять, с отдачей, на дорогу –
в буфете стопку за бока,
а если повезёт – чекушка –
«сучок», казённое питьё,
и «треугольничек» старушке:
«Сынок всё помнит, ё-моё».

И снова ожидать – средь ветров
Маньчжурки проклятых степей –
что там на гиблых километрах
штрафных, подставленных частей.
И на такого же беднягу:
«Земеля, сродник – западло» –
не будем разводить беднягу,
нам, как никак, а повезло.
Мы спим в тылах. Гляди, мальчонка
насупил круглые глаза.
Он память не сведёт в сторонку,
о нас сумеет рассказать…
Когда бы так?! Когда бы силы –
поднять на прошлое слова,
и окропить слезой могилы,
когда б иметь на то права.

*   *   *

Ступеньки пожирать,
но двигаться к подножью.
Какие правила?!
Не лезется наверх!
Там, помнится, безлюдье и безбожье,
мир без помарок и помех.

Там, помнится, хребты,
сплетённые в колосья,
и запах свежего нетронутого льда…
Торопятся часы.
Ты был незванным гостем.
Ты больше не ходок в те юные года.

А что ты высмотрел,
что углядел в долинах,
где человечество теснится по углам?
Ступеньки пожирать?..
Я память не задвину.
Пусть льнёт к кирзовым –
вечным сапогам.

*   *   *

Сподвижников на эшафот –
об этом позабочусь –
пусть помнят, что почём,
и кто качал права.
История всегда
сначала пощекочет,
потом всерьёз
закатит рукава.

*   *   *

Слава Богу, упредили Пушкина:
«Ты на речки эти больше не ходок.
Коль писать провиденьем отпущено,
за столом стреляешься, милок».

А Дантес, молвою обезглавленный,
с той поры, как праведник, зажил,
и в эпоху Ленина и Сталина
исправленья лагерь сторожил.

*   *   *

Стать Дизраэли! Искусить, увлечь
величьем Англию средь общего потока.
Еврейство – что? Его легко пресечь,
когда пылит вдали отставшая Европа.

Пусть после вычисляют, был тот или не тот,
но Англии вослед кусают локти,
и новоиспечённый Геродот
отточит на еврее праведные когти.

*   *   *

Ты помнишь крик навстречу августу,
и в облаках распадки света?
Ты вспоминай! Ты даже радуйся.
Ещё не потерялось лето.

Оно пожухнет. Грянет изморозь.
И все расцветы снова попусту.
Ты вспоминай кривую изгородь –
не оказалась к счастью пропуском.

А горечь белая-пребелая.
Опять один навстречу зимнему.
Ты вспоминай! Мы были смелыми
в обнимку с листопадов ливнями.

*   *   *

Так перед кем я трепетал,
сарынь на кичку,
и ошельмованный шептал,
ошиблись кличкой?

Здесь на мальвазиях чужих,
да разве трепет?
Когда бы фляжку на двоих
и в парус ветер,

и увидать вдали тебя,
в нагом окладе,
уже нисколько не любя,
так, слова ради…

*   *   *

Ты запоздала увлекать меня.
Я стар! Ты обходи меня сторонкой.
Дай лучше вдохновение вдогонку,
невиданными рифмами маня.

*   *   *

Такую биографию коту под хвост…
Байкалы, да Сибири – вон из моды!
Смекаешь, не удастся – на погост,
где три сосны бессрочным хороводом.

На здешних – ни заборов, ни оград:
чужое поле, каменные плиты,
и незнакомой трезвости обряд,
слезою трёхрублёвой не политый.

*   *   *

Хочу составить лучшую строку!
Шекспир не пьян? Он будет наготове?
Уж, больно спор. Ему ли будет внове
назавтра?.. Но ведь как-то не с руки –
всё он, да он. Другим, что невпопад?!
Не лыком шиты!.. Но строка-плутовка
не хочет с нами спать, запрячется в кладовку –
иди-гадай, чем Вильям виноват.

*   *   *

Чтоб кто-то и ясный, и юный,
насквозь твою суть обсказав,
сверх меры заполнил лакуны,
в которых, увы, не дерзал.

А ты, приседая и плача –
да, я, что есть силы служу
ниспосланной свыше задаче,
знал, где не ступал за межу.

*   *   *

Что Вам ответить? Я не перевозчик,
из пункта «А» до пункта «Р»,

и не стилист – жить средь лощённых строчек
не больно вдохновляющий пример.

По части ублажения и вовсе…
Жизнь непроста, похожа на капкан –
ни сверхзадач, ни каверзных вопросов,
зачем ты перепрыгнул океан.

* * *

Что за тюрьма без обольщенья?
Решёток чёткость – где ещё?
Охранник не лишён смущенья,
вниманием моим польщён.

Гремит ключами. Кофе греет.
А где баланда, где «кирза»?
- Позвольте, я закрою двери.
- Я сам могу напрячь глаза.

- В тюрьме и с дружеским уставом?!
- Я протестую. В карцер, марш!
…Был сон как сон – не имешь славы
вдали от истины параш.

* * *

Памяти О.М.

Я шубу запахну. Енот облезлый
был дьяком брошен видно неспроста –
он пахнет кошкой и мертвящей бездной,
как снятое с распятого креста.

Не потому ли лучшие примеры,
на лбы, на мысли, прочь от дранных шуб,
ведь чуют подлой сутью – СССРы
«пробьются» без твоих безумных губ?

Причём енот? Поэту не по чину
ни бирка на ноге, ни малого холма –
лишь строчки запретительным почином,
не внявшему практичности ума.

* * *

Я здесь имею место быть.
Зовёте это счастьем? Как хотите.
Но только мной, как пешкой, не вертите.
Вам в «дамки» лакомо? Мне «дамкой» не прожить.

* * *

Я сам из той страны коварной,
где головы не всем сносить –
кого она полюбит рано,
ввечёр положено убить.

* * *

Я скромно перечислю два подвала,
два небольших, в полроста, городка,
где обнажилась глубина провала
в познании чужого языка,

где свой вернул, и узаконив радость
строки небрежного кивка,
себе дарил невидимую храбрость –
налёт на рифм запретные бока.

2002

* * *

А если я чего и не успел,
то это выглядит иначе,
чем думает о том
ближайшее лицо –
не ставил, не томил
ни цели, ни задачи,
лишь размыкал порой
молчания кольцо.

Мы – молчуны!
Мы только о вторичном,
о пустяках –
по долгим проводам –
но если о больном,
о запредельно личном –
ни с кем, ни в коий век
я правду не отдам.

* * *

А тут не комната – поболе,
как полагалось, круг земной,
чтобы, постранствовав на воле,
знал, возвращаешься домой,
и дом не брёвна и не печка,
а перелесков плавный ток –
то лягут ласково на плечи,
то вмиг припустят наутёк.
И даже петелька на петле –
река с недвижимой водой –

нет, не поместится в конверте
с его бумагой голубой –
она опутала, обвила…
И это тоже отчий дом!
Не слов безгрешное кадило,
не оправданье пред судом!
Всё вместе, сопки да болота,
зуд комариный над душой –
твой дом. И не его забота,
что ты утёк – сам стал большой.

*   *   *

Памяти отца

А в глине только кость крепчает
да гвозди гробовой доски,
а старожилы примечают –
лень наседает на виски.

Нет, чтобы шастать к автопарку
у терриконов на виду,
и наслаждаться над приварком,
не чуя смертную беду.

Или даровано спасенье –
лечь подле матери в подзол,
и в запоздалом примиренье
понять, что мир и здесь не нов.

*   *   *

А юность где? Хотя не верится,
что высох ты как связка хвороста –
лишь осень неспроста расщедрится,
не замечает, дескать, возраста.

И станет хруст суставов аховых
привычным, как энзимов минусы,
и как обмен ночными страхами –
прелюдия несохранимости.

*   *   *

А с чувством правоты повременим. Когда бы
всяк в рифмы впавший оказался прав,
мы были б несказанно рады
весомости рифмованных потрав.

Их правота, без всяких проволочек,
для вечности, для прошлого?.. Увы,
жизнь – мимо них, ликует и клокочет.

Нет большей правоты, чем правота молвы.

*   *   *

А саван будто жёван… Обовшивел
иль ходок сделал дополна?..
Не выпало одёжи попаршивей.
Хотя, чего теперь, одна цена:

белейшие, с атласною изнанкой,
холщёвые – с ухваткой наждака…
Эй, Вы, потише! Что за перебранка?
Не скрасит матерьяльчик дурака.

*   *   *

А наледь вдоль кара –
подкова на счастье –
июльскому солнцу
не станет сдаваться –
удвоит, утроит
своё противленье,
прохладу подарит
хотя б на мгновенье.

И будешь потом
озираться по жизни,
где наледь,
в какие такие отчизны
попал ты,
что наледям нету
в них места…
Подкова на счастье,
хребет поднебесный.

*   *   *

А мне пора. Ещё не серебристо.
Жемчужности нисколько. Раннота.
И мерой зла мотора звук нечистый,
как шамканье прореженного рта.

Но лучше о словах… Авось строка свернётся
и рядом на сиденье прикорнёт.
Мне ехать дополна. Ещё страна смеётся –
сама не знает, где меня уймёт.

*   *   *

Боясь прослыть лауреатом
нескромных снов,
округлой даты,

и славе жизнь препоручить,
влачусь, тоскую, прозябаю,
себя посильно избывая –
слова пытаюсь измельчить.

* * *

Бывший наивный – ни соли, ни перца.
Сзади конвойный иль он впереди?
Алый окурок попыткой согреться,
кровь изыскать в измождённой груди.

С кем объясниться? Ни тот, и ни этот.
Слово промолвишь, да некому внять.
Тысяча рук над протёртым кисетом.
Горсточку слов не по силам понять.

* * *

Был смутен взгляд и жесты неопрятны,
клочки волос не красили лицо.
Но вовсе было непонятно,
что значит зваться «праотцом»,
и ведать прошлым, и конечным,
тем что застанет нас врасплох…
Жизнь ослепительно беспечна,
хорош ты или вовсе плох.

* * *

П.Померанцу

Блажен, кто вовремя был сослан,
кто бесполезной воли жар
оценивал на глади нар,
свободу оставляя с носом,
кто, телогрейкой обогрет,
на истину взглянул победно –
она не слаще пайки хлебной,
не горше чем махры кисет.

* * *

Белая колоколенка,
тили-бом-бом.
Ласковая горлинка
в небе голубом.
Отчего всё кончилось –
горклые мечты?
Остаёшься горлинкой
только ты.
Не шеломы дальние –

ближние грозой.
Поздно мне в скандальное –
обойдусь слезой.
Выплачу иль выкричу,
белая, зови!
Счастья, нет, не вынянчил –
на крови.

*   *   *

Всех пожалевши,
себя позабывши –
точка в уме и тире пополам.
Где твоё кровное?
В красном жилище?!
Разве был сплошь и наотмашь обман?

Всем пожелавши,
себе угораздит –
скудная пропись, досужий урок.
Не было праздников?!
Выдумать праздник
ты на бумаге
и ныне не смог.

*   *   *

В Венеции темно.
Никто не приготовил
ни выспренний рассвет,
ни дожей на вокзал.
Стерпеть? Ни Боже мой.
Я жизнь не зря буровил.
Узлы покруче ихних навязал.

Билеты невпопад. Я выброшу билеты
из памяти, из нового жилья…
В Венеции темно.
Пропахло морем лето.
Жаль, всюду говор
нашего жулья.

*   *   *

Вселенская мокреть,
а велено не кашлять,
не баловать в кашне
надменность кадыка.
Я нехотя встаю,
варю неспешно кашу.
Вокруг тоска чужого языка.

Вселенная, ты чё?
Ты шепчешь о здоровье?
А тучи, их «падёж» -
в полметра от земли?
Насытились уже,
напились вдоволь крови?
Вселенскую печаль
на миг превозмогли?

* * *

Памяти Д.Х.

Вот и пепел вновь взывает к Друскину.
Ювачев спасён! А мы?.. А Вы?..
Руки в ноги, коль дорожка узкая
и ведёт подальше от Невы?

Там Марины, голодом воспетые,
в рассужденьи горстки овощей.
Им бы ноне в комнату прогретую,
да хотя бы миску постных щей.

Но и так спасибо делу Якова –
дотащился, страхи превозмог…
тлеют гении в печурках одинаково,
помнят про отеческий порог.

* * *

В чём похоронят?
Ну, даёшь?
Да, разве я пытаюсь
себя получше приодеть
в последний путь?
Хэбэшку разыщи!
Лишь в ней покаюсь –
не удалось себя мне
обмануть.

* * *

Памяти мамы

Всего жальчее зябкий окрик:
«Здесь сыро. Ты – дитя простуд!»
А утро по кармину охрой,
и зуб не попадёт на зуб.

Но всё манит, пока мы босы,
а мир ещё не знает нот,
и жизни подлые вопросы

не раздирают криком рот.

* * *

Вселенной бежевость
иль просто побежалость?
Неужто впрямь всё бежево:
пространство, тишина,
и бешенство твоё,
и совести усталость,
испитая досыта и сполна?

И что с того? Пусть бежева.
Но серы
твоих словес
нестройные ряды –
в них градус незаметный
для сугрева,
и тусклость,
будто окна из слюды.

* * *

Вы по весну? А я о чистом поле,
о ветре меж поникших колосков –
то там, то сям ошмётки прежней доли,
и ветер будто тоже из кусков.
Рванёт – остынет… Выйдет на пригорок
и – вдаль, но тут же повернёт.
И я за ним. Вы про весну в котором?
Какой годок к Вам жарче льнёт?

Бывало. Милость шла! Полны пригоршни!
А ты, хорош, щедрот не распознал.
Вот ветру в поле всё же много проще.
Опять рванул, и всё узлом связал.
Никто не упредит его перемещенья.
Скольжу и я – и, нет, не по прямой.
И милости не жду. И не молю прощенья.
Мне б только иногда заглядывать домой.

* * *

В месиве или на полках –
строчка за строчкой – хвала –
выложить всё без толку:
сани, снега, слова?

Или пешочком, полем,
вслед за сугробом сугроб,
молча тянуть неволю,
тайной строки озноб?

* * *

Вот евреи идут,
а Земля-то на месте –
смотрит вслед и не знает,
заплакать иль петь…
Что их ждёт?
Где их словят,
как кур на насесте?
Выбирайте!
Какая по вкусу Вам смерть?!

* * *

Вне истины слова.
Она – беззвучна!
То взглядом изумит,
то дрогнувшей рукой.
Жаль только тишину.
Ей будет скучно –
созвучья забывать
над вечности рекой.

* * *

Вновь ожидание дороги –
знакомо как привычка спать –
рюкзак почти что на пороге,
и рядом плачущая мать.

И я, как тщетности воспитанья,
чертя опасные круги,
не ведаю, что всё заранье,
все в даль ведущие шаги,

известны, но не мне, а ветру,
да ошалелым парусам –
до капельки, до сантиметра –
и жизнь прольётся по усам,
и сам прольёшься, не успевши
ни защитить, не возвратить
всё то, что познавалось пеше
и невозможно извратить.

* * *

Все нападки от шалфея.
Приснопамятный рецепт.
Я тобой переболею.
От него спасенья нет.

В горле сушь. Озяблость. Звоны.
Мнится дальний твой звонок.
Ты не прячься на перронах –
расставаться сбился с ног.

Ну, хотя бы на отписку –
три вопроса, две строки –
выкради минутку с риском
для безжалостной руки.

*   *   *

Ведь главное, не понимая,
к чему обыденная речь,
когда босой ногой ступая,
ты не пытаешься утечь –
напротив, шаг перерывая,
вдруг припадёшь – и вся моя.
И в горле ком. И двери рая
бесшумно открываю я.

*   *   *

Всем существом в сценарии уйдя,
оценивать лощённые граниты.
Не подойдут! Не больно духовиты.
И сохнут быстро опосля дождя.

Вот этот деревянный посошок
и сырость сохранит, и улестит дорогу.
С ним и пойду. Осталось так немного.
Дождь, снег и – вечности лужок.

*   *   *

До сана маркиза искусство каменотёса?!
Не в мраморе дело, хорош иль заведомо плох.
Лишь тело, в округлостях плотских от пяток до носа,
ответит рукам, понимающим в вечности толк.

До сана маркиза?.. А после дрожащие руки
на плоти, и вправду волшебной для тысячи глаз,
и муки, ведь мрамор – предтеча разлуки,
поскольку ты выставил страстность свою напоказ.

*   *   *

Ещё застал на белом свете
слепой платочек поверх слёз
и руки на чужом конверте,
который мой привет принёс,
и голос тихий, как отчаянье,

как понимания глоток:
«Мы свиделись!.. Поставь-ка чайник.
Я хлебца припасла, сынок».

* * *

Памяти В.Ш. и Б.Г.

Ему ничто не светило. Ликом уж больно чёрен.
Пурга лишь дохнёт, он оземь – лежал бы себе и лежал.
В горстке у жизни немного – кучка плевел и зёрен.
Не всякий тому поверит, если с бедой не живал.

А тот, упавший, пожалуй, не сладкие корки цапал –
знал, как плевелы зыбки, как хрупко зерно на зубок.
Он даже гордился, что трудно своё понимание алкал,
другим, несмышлённым, давая отведать правды чуток.

И пусть все метели Севера сошлись над лагерем в раже,
ему помогли подняться – отважились поддержать.
Плевелы, они пригодны для каждодневной продажи.
А зёрна? Неужто вечно над ними от страха дрожать?

И если меня угораздит, причинно иль беспричинно, –
в колымской земли метели, в «райскую кутерьму»,
поднимет ли кто, согреет – невесть откуда? – овчиной,
а после, ломая грифель, мою распахнёт тюрьму!

* * *

Желаете латку на латке –
маршрутов невиданный фрак?
Иль рванную блеклую майку?
Вполне пригодится на флаг.

Забытые вкусы. Но с неба,
как пчёлы на лакомый мёд,
слетались к нам письма – проведать,
как бал на маршрутах идёт.

* * *

Жаль, горя не унять. Слова давно бессильны.
И ветренность твоих пугливых губ
который год твердит: «Меня вы не любили».
И мой ответ: «Я сам себе не люб».

* * *

Дмитрию Страхорскому

Запрыгнуть в камеру и дверь захлопнуть.

От тесноты устойчивее сны.
Мы живы. Нас нет смысла кокнуть,
так редко мы рискованно честны.

Но что без нас все камеры и нары?
Шепчи, противоречь – копи тоску?!
Ну, поневестится с тобой напару
и юркнет на подмогу к новичку.

Ведь мы горды, почти неистребимы
в своём стремлении понять…
Ах, Дима, Дима! С кем мы нынче, Дима,
несломленную суть пытаемся унять?

* * *

За всю обыденность,
за поглощённость ею,
за недолюбленность –
а кто сказал, что сверх? –
за то что каждый прав,
но всё же оробеет
признаться,
счастья маловато,
как на грех.

* * *

За удовольствие расплачиваться лестью.
Как хорошо! На зависть для подруг!
Подальше отойду и буду ждать известий,
не передумала бы вдруг.
Таков запев. Для юности забава.
Ну, что с того, коса иль нету кос?
А тут – в постриг, в его наряд лукавый,
как в стену лбом. Вне времени вопрос!

Мне помолчать? Вот-вот, чуток помедлю.
Не медь ценна, не игры «свят – не свят»,
а протяжённость, будто ты намедни
впервые погрузился в водопад.
Да, мелочи… Всё так… Но ведь бывало ране,
друг дружку стерегли, не то чтоб врозь…
И жизни даль пытались заарканить,
и верилось – хоть это удалось.

Ну, хватит. Не горюй! Не вырастут – добавим,
притерпимся, себя укоротим.
Внесём в анналы новомодных правил.
Надеждою заморской объясним.
Возьму, и отойду от давешних запретов.
Как будто всё подвластно волосам?!

Глянь! Лето за окном. Или пропало лето,
направилось к осенним небесам?

Растёрханы они. Да, кто осудит осень?
И скоро медь падёт к подножиям лесов.
Постриг ведь тоже, да никто не спросит.
И молча. И всерьёз. И нет бездарных слов.

* * *

За други своя – порыжелых словес позолоту,
за ропот листков, уцелевших неведомо как,
за тягу и таску ходить среди сна на охоту –
и вовсе не чёрен и тягостен мрак.

Слова подкрадутся. Им свистни, и мрак не помеха.
И выставят сон, и откроют пошире глаза…
За други своя – нестреноженной жизни потеху,
и сладкую тягость её между строк обсказать.

* * *

Зима как самоотреченье.
Безлюдье. Наледь на мосту.
Снегов мертвящее свеченье.
Пожалуй, ты и впрямь ничейный –
заморскую держа версту.

Когда бы мысли из железа?!
Дымят поленья. Ночь пуста.
Жизнь так грустна и бесполезна.
Она – бессмысленная бездна,
хоть каждый день меняй места.
Наутро смотришь виновато.
Снег будто бы слегка просел.
И ты страшился серой ваты?!
Весна вернёт свои палаты.
Ещё поцарствуешь, пострел!
Напрасный форс. Опять морозы.
Опять раздумья о конце,
о том в чём смысл метаморфозы,
когда тебя настигнет проза,
с улыбкой постной на лице.

* * *

За миролюбие весны, за дело правое –
как зелена – не наобум – листвой и травами,
как голодна – не абы как – на сини варево!
И мне легко – и неспроста – с тобой говаривать.

Ты отодвинь с лица печаль, подумай весело –

не для того возникла даль в разлуки месиве.
Ты лучше памяти держись, её прочтения,
коль жизнь нежданно удалась с любви влечением.

*   *   *

Светлой памяти моих первых горняков

Запрягу Калигулу. Март ещё взаправдашний.
До села вечернего быстро «досткрипим».
- Хлебца нам печёного! Чай, найдётся, барышня?
И по звёздам весело возвернёмся в Крым.
Нынче полуостровом властвуют охальники.
Наш был незаметен – пади сиверок.
Здесь впервой окликнули не фуфлом – начальником,
Выдохнув серьёзно «возраст не порок».
Выпал нам с Калигулой выбор необсмеянный –
пустимся, как римляне, в гульки и разврат.
- Барышня, а, барышня! Где весной навеянный
розового мрамора девичий барак?..
Римская история. Сельские приличия.
Нам не подфартило выйти на «плотик».
Сникла в недотрогах розовость девичья.
Только март тот давешний в памяти не сник.

«Плотик» – коренные породы под золотоносными песками

*   *   *

За суть кумиров и любимцев
и ныне не берусь – пресна:
на грим рассчитанные лица,
на срам пригодные чресла.

Сухая поступь нелюдима,
неследность, боль не напоказ…
Ведь счастья смысл –
промчаться мимо,
не ошиваясь подле глаз.

*   *   *

Памяти О.М.

Зачем Армения?
Зачем гора к горе,
Севан, а в нём
ликующие рыбки?
Зачем развалы
камня во дворе,
и солнца лучик
как струна на скрипке?

Зачем он сам,
нелепый, как мечта,
вне счастья –
обойтись
одним мычаньем –
коль звук,
покинувший пещеру рта,
души отчаянье?

* * *

Памяти О.И.

Задохлик в подворотне,
птенец вне рук гнезда,
темна вода
на скользких тротуарах,
и в облацах ни зги,
ни капельки стыда –
таким как ты
и небеса не пара.
Всё лучшее – вне буковок,
вне слов,
вне тротуаров, облаков,
вне жути.
Темна вода
и тёмен Божий слог,
как чернозём воронежский,
по сути.

* * *

Зачем ты – первый ученик?
Какого чёрта – рука зовёт
держать фасон?
Зачем все выкрики «давай»?
К стене, судьбой припёртый,
ты оседлаешь – победил?! –
а в горле ком.

Всей правоты не унести –
она большая.
А жизнь и вовсе стороной –
бредёт одна.
Я никого держать фасон
теперь не приглашаю.
Мне истины продажный нрав
знаком сполна.

* * *

И два охранника при мне.
И два охранника?!.
Храните Бога, не меня!
Вдали от страж,
я стороной,
я предпочёл
дорогу странника.
Давно ничей –
ни свой, ни Ваш.

* * *

И мудрости стена, и скалолазы,
и плакальщики у подножья – но
не поманит меня надмирным глазом,
ведь в низкой жизни всё одно:
и вознестись – постичь,
и подползти хотя бы,
и есть ли прок,
коль знает, что потом
я выгляжу твой след,
не возвращенья дабы –
мне счастье по нему водить перстом.

* * *

Памяти мамы

И во сне не заплачу.
А что Вы хотели услышать?
И во сне закричу.
Но совсем не для Ваших ушей.
Ну, не пишет она,
почему-то упорно не пишет,
как там сладко,
средь райских домов-шалашей,
как теперь хорошо –
ни тоски, ни души одиночеств,
позабыв навсегда,
где твой беглый сынок…
Всё развенчано!
Больше ни клятв, ни пророчеств –
лишь на холмике стылом
подсушенной глины комок.

* * *

И только искромсав, отринув тугодумство,
уняв его последние глотки,
войдёшь в бумажное безумство,
в извивы лакомой строки.

И все утраты, вся невозвратимость,
вся безнадёга новых троп,
теперь слова, их гиблая ранимость
вдали от азий и европ.

* * *

И я, пожалуй, не вернусь к своим истокам –
к гонимым предкам с Торой на губах.
Не то чтоб припоздал – иную жизнь прохлопал,
иные откровенья загребал.

* * *

И мне когда-нибудь прилечь –
всё в этой жизни сделано.
А кто, скажите, дочерпал
до горсточки, до дна?

У буковок смешны носы –
суются в мир разгневанный,
как будто им – а разве нет?
Иная суть видна.

* * *

И я сочтусь, вернее сочетаюсь
с любой, но кончиком пера,
и дивных прелестей касаясь –
воображения игра.

Но чтобы так, до дна гордыни,
до припадания к стопам?!..
И ныне там! Ты слышишь? Ныне!
Зачем? Увы, не знаю сам.

* * *

И я народу не нужен.
Какое народу дело,
шастаю я или плачу,
ломая соломку строки?
Народ обладает правом
вершить на века погоду,
а мне все погоды мира
стали теперь не с руки.
Сижу, образцово-стерильный,
в отдельно взятом подвале.
Привет, народу! И баста.
Я сам для себя народ.
Удастся ли жизнь? Не важно.
Мы всё давно проиграли,

ломая души в надежде
на благосклонность погод.
Где они, звуки чекана,
медь и фанфары сердца?
Где удивления шёпот,
счастья новый виток?
Благо, подвал имеет
в тусклых стекляшках дверцу,
выход из заблужденья –
влево, наискосок.

*   *   *

Как обморок души, нежданный и бездонный,
как смена полюсов на ближней из планет,
ты среди стен, но ты уже бездомный,
не знаешь чем живёт сосед.

И сам не знаешь, как… Не жизнь, а тени,
слияние теней, пришествие разлук.
Как слиты мы с негаданным везеньем!
Как весел квадратуры круг!

*   *   *

Кого ни спроси, ты чужой.
Кому не ответь, ты везунчик,
спеленутый счастья вожжой,
взнесённый на светлые кручи.

Куда ни пойди, поделом:
отмеряно, вызнано – норма.
Не надо стоять за углом
на дальней платформе перрона!

Да, что, там?! Не надо дышать –
где видано, не надышался –
чужим пониманьям мешать,
в которые сдуру прокрался.

Так вот он откуда, перрон,
и дальней платформы безлюдье,
и всхлипы напрасным пером
и заполночь, и пополудни.

*   *   *

Кровельщик, выбери слово фасадом наружу,
вкус одолжи, и глазам незаметно подбрось.
Были здесь неба осеннего рванная лужа,
три таракана усатых и ржавая трость.

Кровельщик, надо ль прикрыть, подукрасить и даже
лужи от неба хотя бы на часик отсечь?
Были здесь летом и нынче гудят распродажи.
Что остаётся взамен? Неприкрытая речь.

Кровельщик, кровельщик, видно, и ты из железа.
Мягкий Господь на таких полагался, а мы
так и не сможем нигде ускользнуть от ликбеза
в меру железной или не в меру страны.

Три таракана усатых, балкончик с качелей,
ржавая трость неизвестно какой новизны.
Где вы, апрели? Мы осень смешаем с апрелем
и затоскуем до свежей голубизны.

Вот и фасады снаружи, внутри и повсюду
в рваное небо никак не желают уплыть.
Кровельщик, слышишь, я скоро из жизни убуду,
лишь потому проявляю словесную прыть.

Вкус одолжить, и глазам незаметно подбросить,
нет, не сумел. Даже, кровельщик, ты не помог.
Где ты апрельская, небо сомкнувшая просинь,
и опустелый заброшенный отчий порог?

Милые люди, я вижу, у Вас недоверье.
Кровельщик, кровля – опять говорят про жильё.
Это не я – потому как поломаны перья,
да и доволен – настолько удачно быльё.

* * *

Когда бы кротость, славную судьбу,
поля чудес, да перелески,
да ранние – наотмашь – всплески
русалки, звавшей на гульбу.

И ты готов за неё плыть,
а солнце разнимает губы –
спросонья мир ещё не грубый,
и паутинок тонка нить.

Но твой разоблачён побег –
кричат, зовут, напоминают –
как будто за тебя всё знают,
все десять тысяч «да» и «нет».

Но ты уже в росе травы
и синеве купели неба…
Неужто состоялась небыль –
вне назиданий, вне молвы?

*   *   *

Лишь нынче, если добреду,
проверю холм за поворотом –
вот он вознёсся над болотом,
всё видя, и не раз в году.

Ему знакомо, что и как,
и почему, расправив крылья,
летят во мрак автомобили.
По мне, им просто страшен мрак.

Чтобы погони избежать,
и столкновения с душою,
шуршат, не ведая покоя –
нас не желая вопрошать.

*   *   *

Лишь тёмный еретик, неравноудалённый
от соблазнов и жизни под стеклом,
игольное ушко минует не гулёной –
аскетом за словесным верстаком.

И что взамен? Созвучий параллели
из мира выдумки, из мира не сего?..
О, еретик! В конце любой недели
я о тебе не знаю ничего.

*   *   *

Лишь полночью,
тоскливо озираясь,
вдруг темнота ему
не лучший друг,
брал ноты,
в полдыханья
прикасаясь –
сходило с рук.

И ноты оставались.
Ноты знали
паденья вскрик
и челяди устав,
и, надо же,
над пажитью взлетали,
законы притяжения
поправ.

*   *   *

Можно сесть,

развести турусы –
поговорок, былин
полный рот.
Можно молча
и вовсе не трусом
бороздить
судьбы огород.

Можно всё.
Только разное розно,
и ответы не вне,
не внутри –
в этой ночи,
в ознобе морозном,
в ожидании вечном
зари.

*   *   *

Мерилом судьб недолговечных,
не объясненья, не вражда,
а натиск звуков бесконечных,
их розыски и ворожба.

То воспаряя, то ликуя,
то наседая, где пришлось,
они неслыханно балуют,
ибо приходят «на авось».

Как будто только им знакомы
шагов прощальные кивки,
и наши вечные поклоны,
и запоздалые звонки.

*   *   *

Ты хочешь по грибы? Но я сегодня мерзок –
ни охру ворошить, ни ржавость воспринять.
Незримой горечи нечитанные бездны
владеют мной, спешат повелевать.

Как будто синь не синь, а жёлтое постыло.
Развёрстая судьба. Разъятые мечты.
Ни самого малейшего посыла,
за город, по грибы – на кончике версты.

*   *   *

Но там, где у тебя слова, у гения отточия.
Он не преминет уступить простору тишины.
И вовсе нет. Вы не правы! Не дева непорочная.
Погуливал… А кто спешит на тёщины блины?

Все воры всуе! Только он, не ловленный, не тушинский,
свою судьбу предугадал, настолько вездесущ.
Молчу… Мне давеча, того, казалась осень пушкинской,
да, где там, с неба оземь пал смертельных льдинок душ.

*   *   *

Но по прочтению, не дожидаясь утра,
пожалуй, о пяти часах,
придут слова, и ты поверишь, будто
сумел преодолеть молчанья страх.

Ни позже, ни потом, в любой расхожий вечер
ты не войдёшь с такою прямотой,
и слов доверчивые речи
не станут откровенничать с тобой.

*   *   *

Ну, что ж, покупаемся в славе –
не тёплая, впрочем, вода –
в петите плакатных заглавий,
в застенчивых красках стыда.

Неужто и пишем, и копим,
а всё до конца невдомёк –
у славы убийственный опий,
иль стрижка гулагов – «нулёк»?

*   *   *

На этой галере ни сирым, ни босым…
Шершавые вёсла. Чужая ладонь.
По первости ладил, по гордости бросил –
ушёл ненароком от зова погонь.

И после на суше, вне звёздного звона –
ночь никнет на вёсла, её не унять –
пытался расставить по рангу резоны,
и рабское слово на звуки разъять.

Какого Вы чёрта, галёры и вёсла?
Прожил бы, не зная паршивых свобод,
и тайную фронду оттачивал остро,
и сладко плевал за незыблемый борт.

*   *   *

Не в размышлении публичности,
ведь раза одного довольно,
чтобы без всяких околичностей

признаться, беспредельно больно,

когда ни отзыва, иль отзыв
совсем пустяшный, инфернальный.
Ужель для собственных неврозов
твой звук из повести реальной?

И ни деревни, ни селения,
где, под огарком в пору зимнюю,
твоей души поползновения
сольются с чьей-то жизни клиньями?

*   *   *

Невиданный пейзаж, как некая свобода.
Так корабельщики смогли Колумба подманить.
А ты, ни Боже мой, ни глубины, ни бродов –
ногой, и той, не велено на материк ступить.

Всё новые права, свобод окаменелость –
они вокруг, отселе и досель.
Не виноват Колумб! Ему Земли хотелось,
где можно оправдать возвышенную цель.

Ведь что потом? От серебра и злата –
привычки прежние, и нет от них свобод…
И я на этот материк ступил когда-то,
чтоб жизнь вспять пошла – наоборот.

*   *   *

Памяти мамы

Не тронулся с места, а надо бы сдвинуться.
Погост за погостом. Меж холмиков сны.
Не лечь мне с тобой, в твои кущи не вклиниться.
Дай Бог, дотянуть до соседней весны.

Февраль не февраль, распростился с позёмкою,
но серое небо – согрей и спаси.
Ты слышишь, я здесь, за кордонами ломкими,
пытаюсь дойти до могил, доползти до Руси.

*   *   *

Не ввысь любил глядеть – поодаль
равнин, навьюченных холмов.
Вот зубчиками горизонт изглодан,
как изворотливость умов.

Вот гладкотел и чревоносен –
так кругл, будто позабыл,

как раньше был судьбой искромсан,
как усмирял свой нрав и пыл.

И стоя так часами, днями,
не мог ни вспомнить, ни приять,
что сделалось не с ним, а с нами,
и как поодаль умным стать.

*   *   *

Не всё так идиллично, видит Бог.
Или не видит? Или насмотрелся?
Устал латать головки у сапог –
вздохнул, взлетел и в облачке расселся?

Я тоже износился. Посох сух.
Глядишь, подломится, и на земле осядешь,
как Он, оденешься в белесый пух,
на жизнь сквозь бельма утомлённо глянешь?

Не всё в ней идиллично! Так и сяк,
помаракуешь… Видно, Он не даром
и сир, и наг, как форменный босяк.
Тоскует, что ли, по тюремным нарам?

*   *   *

Накануне приближения войны
пропадает даже чувство тишины.
Непонятно, где уместится она,
недоступной – мирной жизни тишина?

Гром победы, град орудий, фейерверк…
Неужели тишина одержит верх?
Неужели мы сумели столько ждать
и позжее ни за понюх всё отдать?!

*   *   *

Но Боги учатся и ныне
у нас. Им некому помочь!
И до сих пор полны унынья –
не получается точь-в-точь
ни глупость, падкая до крика,
ни верность, жадная на ложь…
Не потому ль строка двулика,
что им учиться невтерпёж?

*   *   *

Не хочу зимы в полном здравии.
Доплетусь. На растопку – слова.

Вот заладили, звания, звания,
будто с ними красна голова.

Чёрный пёс – на крыльцо. Цепь порушена.
Хоть бы гавкнул – разъял пустоту.
Пробирались морями и сушами.
А зачем? Ложь, как прежде, во рту.

Не желаю зимы. Утомительно
помнить то, что пристало забыть.
Пса впущу. Пусть ощерится мстительно,
когда рядом сподоблюсь завыть.

*   *   *

Ну, просто только что…
А ведь уже промчалась,
и пеплом посыпать не грядки,
а главу –
седая, как цветок,
на стебельке качалась,
расталкивая неба синеву.

Ну, просто только что…
Взамен не обещает
ни страха, ни слезы –
всё было, всё прошло.
Свернул за поворот,
и тут же обнищает.
Куда ты гнал?
И вовсе не смешно.

Ну, просто только что…
И поздно откреститься
от грязи, от сует,
и выгод полон рот.
А та, что до сих пор
не жалует присниться,
подучивает бред
который год.

*   *   *

Нет выше звания писца
и шорохов пера по шкуре
противно собственной натуре
и выгод подлого лица.

Не зеркалу скажу – словам,
им повинюсь и поквитаюсь.
С кем? Допишу и враз дознаюсь.
Предчувствую, им буду сам.

* * *

На царство позовут, на барство… Надо ли
выпрыгивать на кровожадный трон,
коль царством с запахом вчерашней падали
гордится стая траченных ворон?

* * *

Ну, осади меня!
Ну, выпаду в осадок.
Ну, стану горевать,
куда не кинешь – ну…
Как воздух
в предвкушенье хлада
сладок,
как истово
ласкает тишину.

А та всё голубей,
и ни словца о лете –
ни в чём
ни капельки вины…
Ну, осади меня!
Осядем в Старом Свете
и будем в осень
снова влюблены.

* * *

Один мечтал о воле – не спасла.
Другой – о корке, и в тюрьме как дома.
А неприкаянным и ныне нет числа,
не коркою, не волею влекомых.

Пожёстче вкус, решётки на глазах –
так незаметней, есть они иль нету –
и никому ни слова не сказать,
ведь нет иной – для счастия – планеты.

* * *

Первоначально накоплены и до сих пор не растрачены –
майки для фирменных флагов, ветры под вертолёт.
Помните? Табор как табор, двумя хребтами заначенный,
ну, а по верху неба – скользкий июльский лёд.

Помните? Жменьки супа из непонятного крошева,
корки горклого хлеба, не как-нибудь, на вертеле.
И ничего поблизости не прикупить задёшево.
Облачность вровень романтикам – стелется по земле.

Первоначально накоплены и никому не отданы.
Кто я, хранящий в памяти траченный солнцем брезент?
Так и помру, заначенный строками беспородными,
а ведь за ними – молодость, равной которой нет.

* * *

Памяти Ф.Г.

Подкожный запах кочегарки,
торчащие вразброд усы,
в привычной копоти огарки,
и тряпкой ставшие трусы.

Лишь поверху стекло озноба,
разбитое наискосок,
и наискось судьба сугроба
видна, и как он в небо врос.

Но это вне, в иных селеньях.
А здесь – вприщур кирпичный взор
вождя в газете с разъясненьем,
кто ты, и в чём «графы» позор.

А песнопения «Псалома»
уже бегут из-под пера,
и копоть может пахнуть домом,
и всех вождей пройдёт пора.

* * *

Пребудь печален волк – его как всех погнали.
А за флажки ушёл – стал гон иной.
Четыре всадника всерьёз, под цвет подпалин,
и день и ночь, и день и ночь, хоть волком вой.

И шкура нынче на полу. Нещадно топчут.
Никто не вспомнит, как гулял, призывно выл…
Я сам, пожалуй, подзабыл, чем пахнут рощи,
когда луна одна права среди светил.

* * *

Повезёт, ловко миг подстеречь,
всласть курнуть и на нары залечь,
до утра дотянув, до утра –
до промёрзшего насмерть нутра.

И наутро уже не вставать,
потому как, куда остывать,
отлетело навечно тепло –

истончилось, как дым, утекло.

*   *   *

Памяти О.М.

Пролаз и ныне выше меры,
а этот, наплевав на вред,
впускал воздушные химеры
в утробный чернозёмный бред,

и вроде бы не жил – чудачил,
хватая Время на лету,
и даже смерть переиначил –
зэка с Петраркою во рту.

*   *   *

Памяти мамы

Платьице довоенное –
креп или даже жоржет.
Мама обыкновенная –
ближняя из планет.

Ноне всё близятся дальние.
Платьица – хоть куда!
Мама ещё не печальная.
Ранние, значит, года.

Сыном ещё не брошена.
Ей бы дождаться весны.
Жизнью своей огорошенный,
мерзкие вижу сны.

Если бы разик платьице
тронуть, проверить жоржет…
Поздно схватился ластиться.
Нет больше мамы. Нет.

*   *   *

Поздняя свадьба.
Разные мамы.
Нет, не актёр,
не потворщик молвы.
Самая?!
Мы помешались на самых…
Сами-то ниже
обычной травы.

Позднее всё.

Даже сны запоздалы –
поодаль
старые раны влачат.
Обе вздыхали,
потом и сначала.
Знали,
как дальние страны горчат?..

* * *

Пальцем словцо притисну,
трону пугливой губой.
Что ему, грех не виснет.
Грех потому как твой?

Будто ребёнок малый –
тазик, и тот велик –
всё ему небывало,
а не угодно – в крик.

Слово, словечко – тяга
вымолвить, удлинить –
будто без донца фляга,
просится пригубить.

Вот и сейчас усталый,
слову горазд пенять
«Смотришь куда попало –
нет, чтоб меня обаять».

* * *

Пора б и тебе, ушедшему
в дальнюю из сторон,
с сеном строку замешивать,
ситничек на прокорм.

Яства щедры на прошлое!
Сибирью забытый сын,
неужто не вровень с прошвою,
где норовил босым?

Разве тебе не глянется
сирый, забытый погост –
тропка, как ниточка, тянется
между сквозных берёз?

Вот оно – чёрное в белом,
вечности береста.
О, как скорбится умело,
и как наша скорбь непроста?!

*   *   *

Себе весёлым не позволить быть.
И даже ту, что выпала случайно,
не помнить, не томиться, не любить –
лишь замирать над памятью печальной.

Лишь протирая полое окно,
выглядывать отчизны повороты.
Ты где? Иль в землю всё одно,
и всё одно, любил иль нет кого-то?

*   *   *

Памяти родителей

Связки ключей, для которых
нынче не сыщешь дверей.
Жизнь не желает повторов –
жалок остаток дней.

Рытвины в тверди асфальта –
в каждой с бедою беда.
Был здесь… Ни с басом, ни с альтом –
молча приходят сюда.

Дырки глазниц опустевших.
Мрамор. Гранит. Террикон.
Жалок ты или успешен,
кинешься скоро вдогон.

*   *   *

Стесню, когда проеду мимо,
когда, в угоду поездам,
останусь у развалин Рима,
и Риму должное воздам.

Но то когда?.. А ныне полдень,
сосною схваченный в полон,
и мох, который не пригоден,
поскольку возраста икон.
И в петлях, частых и нелепых,
река, как зеркало небес,
и сопки лысина, как репа
иль свежей выпечки привес.

Ужо без хлебушка до Рима?!
Хотя отселе не видать.
Но, слава Богу, жизнь – не мимо,
знать словом сладко совладать.

А вечность, если надо, медлит,
и если Рим, то не спешит…
Я обязательно заеду,
как только совесть разрешит.

*   *   *

Слова беспочвенной посадки.
Слова конвойных и пейзан.
И разум, сладенький и гадкий,
гораздый к праведным слезам.

Всё уместилось. Все при деле.
Но только клок бумаги вхож
к тому, кто посреди недели
ещё надеется на ложь.

И ныне там!.. А проволока
обвила прошлое – ни зги.
И жизнь выходит только боком.
И только набекрень мозги.

*   *   *

Сухо и недоверчиво,
снегу подстать,
станет к ночи подсвечивать –
днём бы ему перестать.

Ну, её, сухость летучую.
Колкость свою сторожа,
всех разогнала по случаю
снежного мятежа.

Чьи они, белые флаги?
Стихла планета вся.
Вровень теперь овраги,
вечность в обмен не прося.

Сухо и недоверчиво
вдруг приоткрылся простор,
лунные видно свечи
вплоть до незримых гор.

*   *   *

Сумерки расползаются.
Надо бы возвращаться.
Мало отпущено света –
нехотя, не сполна.

Вот и пора отъезда.

Свидеться – распрощаться!
Скоро ль ещё отпустит
дальняя сторона?

Первой звезды томление.
Ранняя, не по чину.
Слышны едва, вполуха,
вкрадчивые шаги.

Сами тому помехой,
выдумали причину –
бродят по закоулкам
бережные враги.

Вот и вторая в небе…
Кто бы сказал заранее,
ты, не просящий у Бога,
пустишься вдруг в бега?

Стерпится – слюбится? Вряд ли.
Поле бесславной брани,
лакомые кому-то,
дальние берега.

* * *

С Дона выдачи нет!
Так и беглым останусь.
Собиранием слов
стародавних займусь.
Сколько надо их помнить,
чтобы радовать старость?
Или я оставаться
безмолвным боюсь?

На предгорьях, где ровность,
взошли вертикали.
Здесь свободу знавали,
и смерть неспроста…
С Дона выдачи нет!
Вы меня не читали?
Не горюйте,
случатся получше уста.

* * *

Памяти Ф.Г.

Спасибо за то, что был труден,
за «койку и место»,
за то, что не гладил,
не в «кущах» бродил,

за то, что меж рёбер вошёл –
там больно и тесно.
Иные в удаче – снаружи –
да пусто в груди.
Но ты не отстанешь,
и после не выйдешь наружу,
и койка в общаге, кто вызнал,
не только для слабаков,
и место – заслуженный ты,
или славе не нужен –
решится не хором
досужих середняков.

Молчи! Ну, не надо.
Ты высказал крупно и кровно
не капельки боли –
одну бесконечную боль.
МЕЖ РЁБЕР!!!
Не слишком, признаться, удобно.
Но только такая годится
таланту юдоль.

*   *   *

Своим медалям угождая –
Единственный! А как ещё?! –
я славу, нет, не приближаю –
лишь круг прочтения сужаю,
для одиночества взращён.

А может вспять и медью оземь?!
Зачем словесные дары,
когда пустынные дворы,
прознав как погибает осень,
не верят правилам игры?

*   *   *

Сарай обогретый ослом неизвестного пола.
Допустим, ослицей, допустим – и что ж?
В нём сено с соломой, соломой крутого помола,
и луч золотой, без которого суть не поймёшь.

В нём юная дева… Ах, Вы сомневаетесь – дева?
Но как распознать, говорите яснее тогда.
Пытался один малохольный то справа, то слева –
но всюду у девы похвальное чувство стыда.

Солома и сено, и ржанье, и молодость мира,
и луч золотой, истончавший до нитки, до тла,
и дева как дева – не стройте из девы кумира,
коль с Вами она неприступной и вправду была.

*   *   *

Самый Главный Секретарь,
открепите от парада.
Нет достойного наряда,
как говаривали встарь.
Я бы издали, вполне,
приседая и волнуясь,
обомлел, лишь Вы, красуясь,
проплывёте на коне.
Вы и нынче – хоть куда:
Главный, Славный, Ненаглядный!
Как бы мне на клич парадный
не являться никогда?
Как говаривали встарь,
рад бы, да грехи помяли,
и портки годны едва ли,
Самый Скромный Секретарь.
Вы плывите на коне
вдаль, вперёд – куда хотите,
только нынче открепите
и забудьте обо мне.
Время вышло отойти
к лакомым фигурам речи,
водрузить перо на плечи –
счёт с самим собой свести.

*   *   *

Смерть вечером всерьёз
иль поутру забавой?
А как права, когда тоски полно!
И вовсе не страшна,
подкатится лукаво,
зашторив навсегда суетное окно.

Был, не был – всё одно.
Не нам чета отжили,
пытаясь между строк себя загнать,
и наши головы
возвышенно кружили,
и Время повернули вспять.
Отдали б всё
за зыбкий призрак
румяного светила поутру,
за знобкость ног босых,
за сладостности каприза
потворствовать бесстыдному перу.

*   *   *

Памяти И.Б.

То ли звал, то ли знал, что останемся – не докричаться,
а потом уверяем – единственный, голос от Бога, извне…
Вы о чём? Приходилось при жизни встречаться,
и не только – спасали на гиблой войне?

От боёв никуда? От боренья с собой и с нами?
Хороши мы! Куда, там?! Тщеславий густые овсы.
Вот и он, пошептавшись с наивными снами,
положил свою душу на слова земные весы.

*   *   *

Ты болен бирюзой. Её как кот наплакал.
То облаков охват, то серость под полой.
И всё ей невтерпёж – незваный дождь закрапал,
как ближние с напрасною хулой.

Ну, что с того, седой, а рифму приголубил?
Не бирюзой, так чем себя растормашить?
Ты помнишь, голубику на безлюдье?
Синё вкруг ног. Сентябрь готов лишить

не небо, так тебя привычного расклада –
синё превыше нас, а тут – не выше ног…
Мне бы туда на час, на сиверов преграды –
на спелый – бирюзовый – слог.

*   *   *

Тучи, как в бездну, сам паду
на поселение, на выхлоп,
весь плоть от плоти чудаков,
облапивших мечту,
но это будет чёрный ход,
совсем не главный выход, –
постичь хотя бы по складам
свою неправоту.

*   *   *

От миллионов проку нет. Статистика, не более.
А вы попробуйте словить в силки страну.
Он совладал! Он превозмог! Был власти трудоголик.
А кровь истории всегда была «по кочану».

Тиранчик! Милый дуралей! Ну, выскачи из нетей.
Шинелку вычистим. Усы приклеим хоть куда…
Промозглость, ветры – беспредел гуляет по планете.
А жизнь, с тиранчиком иль без, всего одна.

* * *

Памяти А.Беленкова

Ты закапывай, закапывай!
Время норки разгребёт.
Вспомним, квакши рядом квакали,
ряска, берег дуги гнёт…

ты записывай, записывай
губы складывай в щепоть!
Удивительная миссия –
словом править как Господь…

Ты загадывай, загадывай,
совесть, подлость – кто кого?
А вину не перекладывай –
все мы, видимо, того…

Ты зализывай, зализывай
раны тайные души,
звуки на строку нанизывай
или попросту – пиши.

* * *

Тот, кто по ангелам был абсолютно несносен,
вырядил их чёрт-те как, и поставил друг с другом, –
крылья не крылья, но будто земное возносит…
Музыка, что ли, играла, летали по кругу?

Смотрим. Несносный! А мы для чего воспарили?
Шорох в глазах восполняет любые потери?!.
Долго стояли, своею судьбою сорили,
так и не вняв, для чего они танец вертели.

* * *

Уже полшага до мольбы
и полуметр до остуды.
Я постою пока – покуда
твои нетронуты следы,

пока перемещений снег
не зачастит, не огорошит,
и белизною запорошит
ставший невидимым побег.

* * *

Умение любить не сложишь песен.
Здесь каждый звук из новых нот.

А прежний опыт сух и пресен,
повтором оглупляет рот.

Лишь внове – да! лишь незнакомой
она скользнёт за воротник –
и сердце вон, и цепи с кона,
и нерасчётлив сердца вскрик.

* * *

Уже не в смысле обрусения –
тому и сроков нет давно –
а просто в воздухе осеннем
повсюду жёлтое рядно,

повыше – тучи без разбору,
подсветка тоже изжелта.
Всё жёлто впрямь. И даже норов
шмыгнувшего в кусты кота.

Лишь ты седой, скорей пестрядный,
остаток в горсть – зима сквозит,
шалишь над словом заурядным,
вдруг вдосталь жизни надерзит.

* * *

Что недоступно разуму – перу подвластно.
Оно не сыпет буквами – скрипит.
Но даже власть над строчками напрасна.
А жизнь и вовсе – даже глазом не косит.

* * *

Что там, за поворотом,
радость или печаль?
Встретишься с окоротом
и навсегда замолчал?!.

Или, ничуть не пятясь,
вымолвить, как отсечь, –
волею обстоятельств
оберегаю речь?
Так что, к чему расстройство?
Слово теперь важней…
Глупостное геройство
поздних – последних дней.

* * *

Этой комнаты нищая утварь,
и сугробы повыше окон

в переулке под самое утро,
когда зыбок замедленный сон.

Супчик-завтрак без всякого вкуса,
только жадная радость – обжечь…
Я прямком в жизни давние кущи –
где война и голодная речь.

* * *

Я мог неторопливым быть… Не выпало.
Недавний снег, он будто не спешил.
Мы не напрасно в прошлом веке выкали –
нас снег оберегал, вдали кружил.

Я мог неторопливым стать… Не дадено.
Куда мы? Кто мы? Разве в беге суть?
Иль всё почёркано давно, вдругрядь украдено,
и нечего кропить напрасно грудь?

Я мог… Да, полно! Разве что изменится,
успеешь ты иль мимо угодишь?..
Бессчётный снег всё сеется и сеется,
и ты за ним бессмысленно следишь.

* * *

Я из другого леса – много гуще.
А сивера и вовсе невпролаз.
На райские не покушался кущи.
Жаль, некролог обманывает Вас.

Ведь как бы не судить о государе,
всяк государь – в урочищах души.
И всякой твари там по паре.
Когда бы обе хороши?!

2003

* * *

А стропила всё выше,
и плотники реже
понимают, зачем
разрушать небеса,
и всё меньше и меньше
у века надежда
нам природы забытой
вернуть голоса.

* * *

А если имя проскользнёт, всего лишь имя,
ты подскажи предательской слезе,
что он не здесь лежит, в шахтёрской глине,
а где-то за «бугром», а может быть – везде.

Не потому ли дождь умоет руки,
и будет горек одинокий чай,
чтоб в памяти твоей всходили звуки,
которые я выбрал невзначай?

* * *

В тебя был голос вложен,
а ты не внял.
Строку ласкал безбожно
средь душных одеял,
не гнал её взашей
от средоточья тел
в канавы и траншеи
бесстыдных тем.

На взлобках, на задворках
гуляет суть,
не прячем в сытых норках
парную грудь.
Не внял! Ушёл в бумагу,
в красот листы,
а суть – в свои овраги,
в колючие кусты.

* * *

Памяти мамы

Всё о долгах. Всё ломким почерком.
И где они теперь, долги?
Тетрадку прячу – с глаз долой.
Не быть уже «сыночечком»,
с какой ни встань ноги.

Я суну обе. Пола хлад. Нетоплено. Пустынно.
Ну, та же тюль, обои «беж», и занавески в тон?
Всё о долгах – не о своих, о долге сына,
отложенном на после, на потом.

* * *

Всё подлинное грубо, нелепо – чёрт-те как.
Расчёта ни-ни-ни. Лишь гнева вскрики.
Не люб тебе? Ты жаждешь в стариках
сплошные нежности и глаженье туники?

Что делать? Не гожусь. Таков иль не таков,
случались паиньки тебе навстречу?
Не верю!... Рвёмся в гладкость слов,
всё подлинное походя калеча.

*   *   *

Вот здесь под формулой на аспидной доске,
вон там под дождиком на аховском песке,
одно и то же – мимолётный звук
ты завлекаешь в сети как паук,
ткёшь паутину из пустяшных слов,
обрывков строк, перевиранья снов.
Твоей погоды формула проста –
излить дожди на аспиды листа.

*   *   *

Встречаясь с лошадьми, моля пощады –
верхом – ни шага, ни словца,
внимаешь прошлого парадам,
как иноходи молодца.

И в то же время снится ласка,
развалы вывернутых губ,
и бесконечная опаска –
ты даже лошадям не люб.

Ты, милый, спутан и стреножен,
да так, что в радость ни ногой,
как тот каурый с тонкой кожей,
как тот буланый – с голубой.

*   *   *

Ведь невозможно проглотить, так плотен,
так несъедобен Божий мир:
среди раскрашенных полотен –
неравнобедренный сатир.

То пьян, то стоном перепонок
на звонкие разливы лжи,
а телом, повторюсь, не тонок,
не хлипким воспитаньем жив.

Но и его от лести мутит.
А мир во все глаза глядит,
как бесталанное по сути
неравнобедренно галдит.

*   *   *

Вот пустошь, вот бурьян в полосочках, в квадратах –
лежалый мусор бывшего жилья.
Мы не вернёмся. Мы ушли на Запад.
Зачем? Ответа не придумал я.

Здесь вроде хорошо. Послушные газоны.
Квадриги белок там и сям.
Но только снится время оно.
Иль я его придумал сам?!

*   *   *

Всё беглое у нас. Всё розное.
То тифом трачены, то еты вшой.
И всюду таинство тифозное
коротких влас над рифм паршой.

Всё враз разъято, но не отнято.
Не в память – лоб, да вновь не люб.
Кровь пьём свою – она ведь с отсветом
когда-то свежих, ясных губ.

И трат позор, и бег от царствия
одних Богов к другим Богам –
не цадиков веропричастие,
возврат к местечек берегам.

Иные – где? Повсюду выкресты.
А в правоте неужто весь?!
Наладились – ушли от выстрелов.
Дано ль понять – и это месть!

*   *   *

В прибыли или потерях,
в хлеве иль теремах,
скрип обезглавленных перьев,
бешенство на губах –
с них отлетают, в бессильи
что-нибудь переменить
слов неподъёмные крылья,
звуков нетленная нить.

*   *   *

Вот и обидчик приник
к Плача стене, а напрасно.
Мне не отмщения жаль –
жизни потраченной зря.
Падают все. Но куда?
Разве паденье прекрасно?
Меру постигнешь и – мёртв

В праведных лагерях.
Крались они стороной:
лесом, рекой, косогором –
всё обветшало давно,
жалок запущенный вид…
К Плача стене не снесу
Свой нерастраченный норов –
нары неструганых слов,
корки бессрочных обид.

*   *   *

Гармония невозбранима,
когда не проплывает мимо
пестрядной осени пола,
и нет ни века, ни числа,
а только ток листвы опавшей
на рёбрах утомлённой пашни,
на наших рёбрах – на душе,
на дум обманутом клише.
Час от часу, ты весь в потерях,
глухой затравленный тетеря,
а всё в гармонии ходок…
Глянь, хрустнул осени ледок!

*   *   *

Да если всё мольба, стихи увянут.
Во сне лишь прошепчу, «желанная, приди».
А наяву – пружинный бок в диване,
и трепетная ткань на памяти груди.

Да, правда хороша и в платьях, и без оных.
Диван здесь не при чём, так безобразно стар.
Я ласково прошу от алгебры учёных
не посягать на влюбчивый мой дар.

Вдруг распалю седины, зов бесстыжий,
представлю рядом сон из розовых кругов,
ведь я ещё горазд придвинуться поближе,
и выхватить болтливость у Богов.

*   *   *

Для этого и текст –
для сублимации
всего того, что мимо,
не дано…
От правды
лишь желтушечность
акации
да горклых одуванчиков

вино.

*   *   *

Ещё переполох не назван был апрелем[*] –
то летний жар, то запоздалый снег –
начало приснопамятной недели,
застолье средь младых ещё коллег.
Зачем-то ворону, кому-то доверяю,
ведь было всё, да былью поросло,
но связь с апрелем, нет, не потеряю,
как будто в нём таится ремесло.
Оно и тяжко, и светло – что может проще
тянуть поклажу сквозь кусты, мозгов балласт
и замечать, что Божий мир непостижимо тоньше,
чем даже искушённый слог печатно передаст.
И находить, что Божий мир назло разлукам дорог.
Он подарил не только жизнь – друзей черты,
гитарный незлобивый дух, сухой – до смерти – порох,
и счастье сознавать, средь них случился ты.

* первое воскресенье апреля – День Геологов.

*   *   *

Ещё на них я повлияю
и чем-то пригожусь.
Строка привычно ковыляет,
за нею грусть.
Строка отпросится в сторонку.
Тоска за ней.
Я понимаю, нужно громко –
потребе дней.
Но, нет, вопить, рубахи комкать,
кричать «я свой» -
не в силах. Лучше строчкой ломкой
звать грусть домой.
Ещё при ней. Ещё сгодится
мой скверный нрав.
И ты позволишь возгордиться –
всегда не прав!

*   *   *

Жизнью зря называется.
Разве достаточен отблеск?
Смысл утрачен, похерен.
Он в душах, увы, не пророс.

Мы пытались кострами
удерживать истины облик.
То ли жгли невпопад?

То ли Время водило за нос?

Был в заплатах рюкзак,
драный тент – не палатка.
Лапник пах обалденно.
Он сдабривал каторжный сон.
Счастье? Что Вы? Зачем?
На престоле иные ухватки.
Хруст бездонных расчётов,
пустых разговоров фасон.

*   *   *

Здесь ходит между строк
бетховенский сурок,
и лапки растопырены и цепки.
И я пытался вслед,
но след простыл. И свет
спугнул его – он растворился в клетке:
ни прутьев, ни замков –
шмыгнул, и был таков,
сурок непозволительной расцветки.
Меж нами много стран
и даже океан.
Бетховен, не бери сурка с собою!
Пусть сторожит беду
в отеческом саду,
где ноты ходят тесною гурьбою.

*   *   *

И только слов шершавая изнанка
спасительна от пагубы небес,
от похоти лесов, от смердов перебранки,
от жизни врозь с тобой – себе вразрез.

Но как порой их беспросветно мало –
без звука обними, без звука дай понять,
что жизнь прошла, что ждать меня устала,
но всё равно, назло всему, готова ждать.

*   *   *

И четверо военных, и порог,
понявший что к чему,
и скользкий, надо же, шнурок –
ему ль «по кочану»,
и двери тысячи петель –
откуда сразу ржа…
Ты где, сынок? Пойму теперь,
как мальчиков рожать.

И четверо военных… Вы-то чьи?
О Вас ещё навзрыд заголосят!
И крови доморощенной ручьи
в чужой земле незримо заскользят.

Так, чьи Вы? Не ответили. Секрет!
И я был чьим-то до сих пор,
пока не достучались… Смерти нет.
Есть только жизни полой приговор.

* * *

И мне неприбранное мило –
на пень насевшая крапива,
не валкий, но больной забор,
вполсилы обнимавший двор.
За ним, вне очереди, косо –
ель в ярких пятнах купороса,
в который раз, но молода –
когда бы мне её года.
Потом прогал и дальний ельник,
как незадачливый подельник,
молчит, темнеет – не понять,
как боль его в себя приять.
Но главное не здесь, а сбоку:
река мерцает проволокой,
скрутила враз избу и лес,
чтоб вдаль утечь, судьбе вразрез.

* * *

Из чрева,
из средостения –
неласковы, сиры.
И что ж?..
А может и в них
умение
загадывать ложь?

* * *

И я парашу выносил.
И ты выносишь.
Жизнь вынести –
не поле перейти.
Бредёт себе безмолвная,
не спросишь,
ещё доколе
с нею по пути.

* * *

И я набросаю на диск
не восемь – пожалуй, поболе,
не песенок про войну,
а долгий плач по себе –
так голосом, слитым с тоской,
вбираешь народную долю,
не думая, тот иль не тот,
не подольщаясь к судьбе.

И я потому бормочу –
ни голоса ведь, ни слуха –
то «тесных печурок огонь»,
то «пыльных дорог туман» –
они помогают войти
в души разлад и разруху,
в её бесконечный урок –
выдать за правду обман.

*   *   *

Ибо продажна, а ты полагал – недотрога:
ласковый лепет, да шорохи колких ресниц.
Бойся не Бога, а милой подробности слога –
записи плотной вполне заурядных страниц.

Что нам успех? Мы коснёмся матёрой планеты,
гулким проулком – вперёд, в безоглядный простор.
Были поэты согласно эпохи одеты?
Будем ли счастье им ставить в укор?

Где-то когда-то и я обустроюсь на ласку.
Милая, как ты её для меня сберегла?
Ибо продажна… А я полагался на сказку –
складно сложилась и безоглядно текла.

*   *   *

И безнадёжна, и базарна,
но, видимо, иной не быть.
Не потому ли так бездарно
нам суждено её избыть?

*   *   *

Как принц в стране,
где с власти взятки гладки,
как нищий у тропы –
в карманах ни копья:
сквозь пальцы утекли
отрочество в палатках
и взрослость средь хэбэшного тряпья.

Был принц средь облаков.
Завидный трон вершина.
Был нищий – на размерности зарплат.
Желанный ориентир?
Корявая сушина,
но лучше – останец, впечатанный в закат.
Всё былью порастёт.
Почти невероятно,
но память угораздило иметь,
как принц и нищий могут многократно
в тебе различия преодолеть.

*   *   *

Как жизни неудавшейся места.
То возвратишься, выдохнешь и следом –
нет, не приеду больше, не приеду,
чего бродить вдоль старого листа.

Чего?.. И телу будто поперёк.
И душу вон. Гляди, какой я правый?!
Пусть дурно всё. Сомнительные нравы?
Но, Боже, это ведь себе упрёк.

*   *   *

Когда предрешено, и прахом
в чужих приделах вышло лечь,
то слов не трать –
сильны замахом,
да смерть словами не отвлечь.

*   *   *

Как маленький твердишь,
и всё о том же:
зачем, докуда, отчего?..
От взрослости
лишь пятнышки на коже,
и те не взрослые –
им сотня лет всего.

*   *   *

Как тяготение планет
обречено на тайну –
поодаль как, не разберёшь,
но рядышком круги –
так подлинное всё
непознано, случайно –
коль в жизнь встал
не с той ноги.

*   *   *

Кудрявый щёголь, слепок лицедея,
не слышно ли о чём стрекочет дождь?
Ты перед ней, от страха цепенея,
сейчас к ноге желанной припадёшь…

Но роль не по тебе. Пустые траты.
А жаль, так хорошо с дождём и без дождя
выглядывать тебя, и, прячась воровато,
молить окно, седины не щадя.

*   *   *

Когда я узнаю, что узнанным стать непосильно,
что голос размером с монетку – меж плах половицы,
я тут же подумаю, вовремя, будешь как ссыльный,
которому выпало небо в квадрате страницы.

Её не отнимут, проверив – и впрямь безголосый.
Достанешь монетку и снова по полю покатишь…
Почётная ссылка, искать не ответы – вопросы,
стать вровень себе у невольной судьбы на закате.

*   *   *

Как славно воспарять –
как больно биться –
над строчками,
по собственной вине.
Пристало, значит, уродиться
в приставленной
к словесности стране.
И потому не важно,
повторяюсь,
в каких чинах,
в сословиях каких..
По мере сил созвучьям поклоняюсь,
по мере сил растраченных моих.

*   *   *

Кусок от эллина, кусок от иудея,
а супротив – куски сибирского мужлана:
меж ними ты, судьбою не владея,
лишь судорожно шаря по карманам.

Какой ты ныне? Где кусок погорше?
Иль все – на полную катушку?
Я подставляю голые пригоршни –
жизнь – подаянье или жизнь – пирушка?

Всё мило. Всё не так. Где мудрая Эллада?
Где гордые библейские пророки?..
Я не хочу кусков. Мне по сибирям – надо.
Мужлана мне милей пороки.

* * *

Конечно, славно вдруг узнать,
ты прав настолько,
насколько слово может превозмочь
и белые бинты полдневной койки,
и чёрные бинты, обмокнутые в ночь.

Но к разу раз бинты срывает утро,
и будто ты неправ, и надо б осознать,
что, обмакнув перо в рассвета перламутры,
ни белое любить, ни чёрноту спасать.

* * *

Сыну

Когда ко мне приникнешь словом,
когда услышу вздрог душевный,
мне больше ничего не надо,
ты только дольше говори…

Когда уходит жизнь напрасно
за поворот, за угол школы,
мы помолчим,
там лжи засады –
плотнее двери притворим.

Какой ни есть, но я к Гомерам
не дотяну. Они сильнее.
Какой ни есть, но осторожно
и я играюсь с языком.
Ты будешь глубже и смелее.
Мне было мало что возможно –
тебе откроется не сразу –
но обязательно потом.

* * *

К земле, и той не припадёшь – где слаще
принять распад от доблестных червей,
будь даже негр пушкинский кровей
вдали от родины покой обрящет.

* * *

Лишь декорации виной, лишь декорации.
А в чём тогда смертельный грех?
Нет скромности?! Вы помните, овации,
и славою заласканный генсек?

Отечество моё, утёк и хватишься:
и обло, и озорно – жизнь пятак.
И в новых декорациях наплачешься,
поскольку там и тут – везде дурак.

*   *   *

Лишь нетающий лёд
под заброшенным склоном –
непомерные мхи, бурелом и чаща –
полагают, что проще
стабильность резонов,
потому и пытаются жить сообща.

Да и я в этих мхах,
буреломе и хладе,
полагаю, что только на табор спешу,
и не ведаю даже,
зачем, чего ради,
эту общность примером себе уношу.

*   *   *

Любя ли истину, рождённую в безлюдье –
так потаённа, так страшна –
мы знаем, правды не убудет –
на всех не может быть одна.

И суеты пахучее убранство,
томление на людях, на толпе
нужны. Но для тебя – безлюдное пространство,
иначе ты б своё сказать не смел.

*   *   *

Лишь в пик листопада,
лишь в пику смешенью
просёлков, околиц,
небес голубых,
забудешь о горечи
мест нахожденья
и пылкой поспешности
строк лобовых.

*   *   *

Памяти родителей

Лизоньку вспомним!
Лизоньку вспомним!
А Вы вспоминаете Лизочку?
Время хороним. Души хороним.
Телу меняем прописочку.
Иоськеле вспомним!
Иоськеле вспомним!
А Вы вспоминаете Иоськеле?
Память хороним. Сердце хороним,
прекрасное сердце жидовское.
Вспомним, не вспомним. Живым отбегать
подальше от страшной памяти.
Негде забыться? Нечем дышать?
Вы вспомнили? Ах, не знаете?!
Так знайте, запомните. Были они
обычными… Мы ведь сами
не отнимали у неба огня,
своими бубним голосами.

* * *

Мой ненаглядный стрелец,
прячем свои алебарды,
прячем секиры… Молчи!
Пусть говорит тишина.
Что от того, мы правы,
если планета не рада.
Ей не понять никогда,
как нам свобода нужна.

Мой ненаглядный стрелец!
Враки о счастье бессонней.
Где оно? Как объяснить –
мир опустел без тебя.
Странное дело судьба –
цепь бесконечных агоний
и безупречных потерь –
жалкая поступь раба.

Мой ненаглядный стрелец,
нам не найти утешенья,
будь благодетель внизу
или на небе – над всем.
Падаем в месиво дней,
слов бесполезных смешенье,
чтобы захлопывать дверь
и уходить навсегда.

* * *

Может, помянут?..

Их было немало,
с кем зоревал
или пайку делил.
Жаль, опустели
кострища привалов,
старый бродяга
«кирзу» доносил.
Жаль, сухари
не хрустят по карманам,
да и не манит
в сплетения гор…
Может, помянут
в глуши Удокана:
жёстким жаканом
по Сеньке – в упор?!

* * *

Некошено. Неезжено. Ищи-свищи.
Концы с концами – тыщи вёрст в охвате.
И незачем считать. И на обед клещи,
и нечто благовонное в томате.

Разумно или нет, но набивать рюкзак,
и после гнуть натруженную спину –
не велика печаль, но, коль случилось так,
хоть вспомнить, как несложно быть мужчиной.

Вот угораздило!.. Допит мохнатый чай.
Вперёд и до конца! На таборе доспорим…
Прозрения приходят невзначай.
Жаль, после остаются на запоре.

* * *

На гребне высоколобой, не зная,
что катер не катер – покат, неуклюж,
врасти, углядев, как, победно икая,
выходит на берег не мальчик, но муж.
Оттуда, из леса, простите, из моря
вернуться, вломиться – не в этом вопрос –
нащупать основу для счастья и горя,
ведь жажда надолго, и горе всерьёз.

Не практика пользы, не стоны соседей
и прочих, тебя не готовых приять,
а звук, промелькнувший в потёмках намедни,
у леса, у моря – у счастья отнять.
Пусть катер не катер – комок сухожилий,
пусть нынче бессвязна упорная речь…
Ты вышел на берег. Тебе «удружили».
И поздно от небыли предостеречь.

* * *

Насколько плох кабак, настолько мы румяны.
За кружку – ни ногой, давно пуста.
Плесните, сударь, мне! Сегодня Время пьяно,
а совесть по-младенчески чиста.
Взволнован? Лей сполна! Мы воины без власти,
бродяги без клюки, писаки без мошны.
Сегодня, видит Бог, на донце кружки счастье.
О, как мы, полупьяные, умны?!
Ты помнишь титул свой, сиделец из кружала?
Кружим то там, то сям, не пьём – чудим.
Нас жизнь за шиворот достаточно держала.
Но мы ещё не дней вчерашних дым.
Долил? Теперь хорош! Теперь сумеем дальше
устало кочевать. Вперёд, года!
У них одна болезнь – привлечь побольше фальши,
чтоб мимо рук сошла судьбы вода.

* * *

Ничто не выбираю… Но кладбище,
где вечность кости приобщит,
и ты на время станешь пищей,
а дальше – глаз не различит…

Мне б только выразить желанье:
так ласков под сосной песок,
что только он мне утешеньем станет,
взамен не утолявших строк.

* * *

На встрече опасных пропорций, на спевке,
был голос услышан – немеряно гол –
так горцам поют полонённые девки,
и вторят им гулко пропорции гор.

На встрече одна, не опасна – прекрасна,
сплетала не волос, не голос – тоску,
и были в пропорции тело и ласка,
которые прячут от горцев в лесу.

Когда-то один, тоже горец, так жаден
до власти, любил «Сулико», пели целой страной –
не спрячешься… Видно, был сверху нагадан,
но снизу моей оказалось виной.

* * *

Надо целую жизнь

быть на привязи речи,
чтоб вдруг оглянуться,
пора убежать –
так мало желания
слово калечить
и рифму
за вёрткую полу держать.

* * *

Не свёкор и не деверь –
промозглый ветерок
облизывает двери,
взобравшись на порог.
Позвякивают стёкла.
Позёмка. Бог ты мой,
я на бумаге блёклой
пишу «хочу домой».
Не жизненную хватку
я вычислил рукой –
хочу души остатки
отправить на покой.
И там, где мамин холмик
и где отцовский след,
в плену сердечных колик
оставить свет.

* * *

Неужто она? А казалась неловкой –
краснела, пыталась назад улизнуть.
И что же теперь, с расстановкой и толком
нагнуться – холодные боты разуть?

Неужто права, и меня не жалеет, лишь спросит,
давно ли простил, и зачем зажигается свет.
А тут полумрак, от окон голубые полозья,
и будто впервой перед нею разут и раздет.

Неужто опять? Ну а ты, ненормален неужто?
Как выживешь после, когда отшатнётся она?
И серое утро придёт, ненавистное утро.
И белым сугробом покатится оземь стена.

* * *

Не от отсутствия таланта –
от детства, снятого с горшка,
от мрачности комедиантов,
которые судьбу вершат,
от прошлого – к нему прикован –
ни отойти, ни предварить,

от запоздалой жажды слова –
пришла, да некому дарить.

*   *   *

Никогда не случалось запомнить,
где на родинки зов, где запрет,
и какие места узаконить,
несмотря на парады планет.

Ходят вроссыпь, себе на забаву,
а потом – неразгаданно – в строй…
Ты меж родинок ходишь лукаво,
и планеты следят за тобой.

Свысока?.. Мне бы точку пониже –
разглядеть и упомнить навек,
не следить – всё равно не увижу,
с кем продолжишь свой сладкий забег.

*   *   *

Но ты ни в чём не угодник –
ни ложкой, ни вилкой, ни текстом.
А хочешь, малину на полдник –
она расцвела повсеместно?

А то, «молодой» да горячей, –
укропчик с чесночным подбоем?..
Я в каждую рифму иначу,
вложив всё, что сталось со мною.

И всё, что со мною случилось –
покинул, отринул, отбросил…
Какая малина свалилась
на лето в чужом купоросе?!

*   *   *

На третий псалом, на юродивый
поставил и глотку, и честь –
кричу при народе угодливо:
«Меж нас прямокостные есть!
Ну, те, кто не гнутся, не ломятся,
к словам не влезают в долги…»
На третьем псаломе, как водится,
играют спиною враги.
Мне с ними не ново, не горестно.
Спина для того чтоб юлить!
Давайте с врагами притворствовать,
по собственной боли палить.
Не шут, и колпак не гороховый,

но вот не сумел напрямки…
На третьем псаломе – с эпохою,
с душою, увы, не с руки.

* * *
Не царское это дело –
лазать по словарям,
среди людской очумелой
сказывать песни славян.

Пущай они самотёком,
без инородцев, пущай,
прозреют любви истоки
пришельцев к суточным щам.

А ежели вдруг обуздают
Великоросскую спесь,
Я много чего распознаю,
Хотя не царствую здесь.

Ну, что там, какое слово
приписано к словарю?
Потворствую снова и снова,
не языку – царю.

* * *
Не гневи меня, ангел белый!
Не гони меня, ангел чёрный!
Я увлёк Вас в ночь не по делу –
думал, Вы по иному учёны.
Небо крупно и кругло – влекомей.
Вы и птицы, и первопроходцы.
Я хотел Вас с Землёй познакомить –
с знобкой влагой словесных колодцев.
Я бескрыл… Потому, только звуки –
слышу шелест небес, Ваши пашни.
Ангел белый – безгрешные муки.
Ангел чёрный – к грехам уводящий.
С кем мне? Как мне? Наверное, поздно?
Чёрно-бело всё иль много хуже –
серы будни, и звуки серозны,
потому и людям не нужны?
Плоть от плоти их, – сер – а как же,
звал Вас, влёк Вас душою пристрастной…
Ангел белый, я в гневе бумажном.
Ангел чёрный, я в буквах напрасных.

* * *
Не нас ли хозяйская сила

поднимет и гонит туда,
где станем не то, чтобы милы,
а просто припомним года,
пока не прильнём,
не доскажем,
кто здесь правоверный и как
должно быть –
пока не покажут
нам новый хозяйский кулак.

*   *   *

Не дань притворству –
вывиху скорее,
венозной крови,
тёмной от позора.
Неужто сумасшедший от хорея,
от дактиля и ямба уговоров?

Неужто горечи невдосталь,
и надо буковок крупицы,
как соль на мясо и на кости,
привычно сыпать на страницы?

*   *   *

Не мне шептал заводчик,
ты будешь первым классом,
и выводил на цепке
на жизни ринг.
Что оставалось?
Только неистовым Клаасом
разгуливать по клетке,
да чтить свободу книг.

*   *   *

Не истины верна,
мне друг дороже.
О истин пухнет день.
Друзей по пальцам счесть.
Когда случился Мир,
был расположен Боже
вне истин пить и есть?

Но, где там? Я не прав!
Я истину в кармане
таскаю между дел туда-сюда.
Хороший друг лишь тот,
кто хорошо обманет
и не оставит малого следа.

*   *   *

Но только под запись, под рёв многоточия,
сомкнёшь и раздвинешь на время себя,
и нехристем станешь, и Буддой, и прочими,
движение буковок гневно любя.

А как же иначе?.. Единственной платою –
листок пополам, за строкою строка –
и жизнь отодвинется, станет податливой,
пока бесконечно нахальна рука.

*   *   *

Памяти Ю.К.

Не памяти твоей, не слога ради,
ведь был он у тебя, Мишунин слог,
и были таски в жизни маскараде:
«Ты чё, еврей? Неужто Бог помог?!»

Лишь потому, что всюду помогает ЭТИМ –
то лапсердаком, то смятеньем букв –
чужие, как свои, как лучшие на свете,
средь русскости писательских наук.

*   *   *

Не историю – так изолгана.
Не предчувствия – так неправ.
Нам не спрятаться больше за волгами,
биографии передрав.

*   *   *

Но она не в себе.
Но она безнадежна.
Ведь такой не бывало
доселе страны,
где стихи загоняют
обратно – под кожу,
а поэты врагам
безупречным равны.

*   *   *

Не вышагнуть, пожалуй что, вшагнуть –
в преджаберье души, в её подбрюшье,
и до предела обогнуть
строки позор и малодушие.

Всё рядом, близко – вот они, бока!

Но странно, снова ты не в ней, а около…
Какой, там, вектор?! Жизни суть узка –
скользнуть ужом, а показаться соколом.

*   *   *

Не повторяться, не продлиться,
лишь Вам потерянно кивнуть,
и в стылых строчках раствориться,
не распознав в чём жизни суть.

*   *   *

Не хочу перемен. Ни внутри. Ни снаружи.
Мы повсюду – по горло – в тисках новостей.
Будто правду нашли, будто главные нужды –
подпевать начинателям светлых затей.

Власть палит и пьянит. В ней урок назиданья.
Как они догадались, что надобно мне?!
Вот и ты подпеваешь, что знала заранье –
никогда не проедусь на белом коне.

Маршал или босяк породнятся уходом.
Разве мягче земля у кремлёвской стены?
Мне бы зорче следить за душевной погодой.
Может выпадет скоро глоток тишины?

*   *   *

Памяти И.Б.

Не нужно января. Не нужно.
Не умирают в январе. Напрасно
стучится в двери ветер вьюжный,
и наст скользит подобострастно.

А за дверьми – строки издольщик –
не идеальный, не торопкий.
Казалось бы, живи подольше,
коль нравом награждён неробким.

Зачем он здесь? Уже отчислен?!
Январь, ты выбился из ряда!
Ты вьюгами зачем расчислен,
и льда зачем извлёк наряды?

Оставь его! Пусть месит тесто
пространных медленных созвучий –
ему средь них пока не тесно,
и норов рифмам не наскучил.

Пусть смерть бесстыдную отринет
своей престранною работой
и возвратится, и обнимет
столицы северной болота.

* * *

Он был как тот, в поклаже вьючной,
и чёрен, и предельно чёрств,
но не случалось снедать лучше
на росстанях бродячьих троп.

И те, кто рядом, знали – пайка
тебе спасенье в злые дни,
ведь были мы не подлой шайкой –
тайгой сплочёнными людьми.

* * *

От ранних птиц до поздних полустанков
ни семафоров, ни движенья рельс –
то беглые шаги, то школьница-беглянка.
Куда ты? Здесь охальничает лес.

А реки? Чуть чего, сомнут и изукрасят –
вода безжизненна, настолько холодна.
И Стеньки не гуляют на баркасах.
Быть может ты персидская княжна?

Шучу, шучу… Я ловок где не надо,
а сам давно отвергнут лесом и рекой.
Бегут туда-сюда, всегда как будто рядом,
но им не приласкать мой непокой.

* * *

Сыну

Общество книголюбов.
Давняя маята.
Пагуба и голуба –
строгих томов теснота.

Полки бесценные встали
в сомкнутые ряды.
Разве они истают,
плачущих душ меды?

Разве не дёгтю строчек
бьём безоглядно челом?..
бейся! Не бойся, сыночек!
Будет нам всем поделом.

*   *   *

От бела лица до сырой земли
не много, но и не мало.
От бойких строк до чёрной души,
пожалуй, не просчитать.

О чём славяне тогда гомонят?
Тебя им не доставало?
Почто пытаешься за них
пред Летой отвечать?

*   *   *

Построю дом в Тоскане.
Ни доски и не камень,
лишь воздух, лишь причуда.
Построю, ведь покуда
и дерево, и кремень
усиливают темень.

А так желанно небо
повесе на потребу,
писаке на потраву –
в Тоскане, Боже правый.

*   *   *

Предельно бежать от успеха подальше.
При деле остаться, но вновь повторяю – бежать.
Ну, кто ты? Всего лишь слогов погоняльщик,
сумевший вожжу в непотребное время держать.

Предельно отвыкнуть от малого звука участья.
Себя испроси! Себе предоверься! Смолчи!
Ведь даже намёк – неужели и вправду удастся?
И тут же теряешь от горького слова ключи.

*   *   *

Памяти мамы

Пред тобой потерянно стою.
Ну, болезнь… Ну, сказки о прощении…
Одиночество у жизни на краю,
и детей заморское смешение.

Одиночество от койки до стола,
до трельяжа, до остатков мебели…
Всё болезнь! Такие, брат, дела.
Было-сплыло, стало горькой небылью.

А теперь и вовсе не избыть.
Пустота. Вокруг одни обои.
Ты пыталась лучшие «добыть».
Где они теперь? Ушли с тобою?

Но и так всё криком о тебе,
даже ветка вишни у балкона…
Я не вспоминаю о судьбе.
Где судьба, увы, не всё законно.

*   *   *

Пока мы ждём под кумачом свобод,
лениво приоткроются ворота
и тут же – странно стриженный народ,
и будто в лицах горестное что-то.

все просят курева, да почернее чай,
и рук-то, рук – корявых и немытых…
И ты, «начальничек», посильно различай,
от глаз ведь многое сокрыто.

Почто ты там, за изгородью рук,
какая-никакая, а свобода,
а здесь беды чужой бездонный круг –
судьба себя сгноившего народа.

*   *   *

Сыну

Профессию для лагеря?!
Но я не виноватый!..
Ты знаешь по рассказам,
мой мальчик дорогой,
насущные проблемы
«свободных да богатых»,
нелепые повадки
заигрывать с судьбой.

Загривок ли, подмышки –
сгребут без разговоров.
Не станешь хлеборезом!
Об этом не мечтай.
Случится уцелеть –
один на тыщу спорых –
стань молчуном – и дальше
на воле «срок мотай».

*   *   *

Пока не стащат в столярку –
гробы не строгают по мерке,
пока не прознают в оскале –
годен для внуков портрет,
плеснём немного солярки
в костра отсырелые ветки –
в моём задушевном подвале
ни капельки я не согрет.

Привет столярам неумелым!
Их руки всегда в зените.
Не красное дерево нужно –
сучкастая сущность сосны.
Но всё-таки много лучше
среди сучков, Вы поймите,
чем в мёрзлой бесформенной куче
ждать-поджидать весны.

*   *   *

По ревнителям пера надо б залпами.
Звуки больно хороши – громче стрел.
Заповедное быльё – Время лапали.
Он ведь тоже… Но в поэты не посмел.

От «хотюнчиков» беда – шкура пёстрая.
Через них и сухорукий стал рябым.
Не спешил за славой, ведал – дама вострая,
повторяя вместо с нами «не рабы».

Кто же мы? Кто превозмог своё величие,
засветив ему, – доколе, волкодав?!..
Нет, расстрельщики правы, трусость ввинчена
в складки душ и в выжигания устав.

*   *   *

По-прежнему невредим или иначе?
По новому суетлив
или пространств вне?
Неужто век уберёг,
слово вынянчил –
не единое,
но внятное вполне?

*   *   *

Полагаю, отношение хорошее.
Предлагаю, позабудем про бесславие.
Спать не раздеваясь очень дёшево.
Только не хвалите мягкость гравия.

Угловато, жёстко, но единственно –
ты не в развлекающей словесности –
падаешь на землю вместе с листьями,
к гравию поближе – к неизвестности.

* * *

Разгадок нет – одна неутолённость.
Рассудок – вон. Он верит – вопреки.
Лишь провода пугает оголённость,
когда он прорицает огоньки.

А ты хоть гол, но искрами не страшен.
Да, и замах велик – не по тебе.
Ну, разгадал бы, как Создатель кашлял,
слова перебирая при ходьбе…

и что потом?.. Молчания заторы?!
Не лучше ли бумагами шуршать,
и ждать не отрезвленья приговора,
а просто бесконечно вопрошать?

* * *

Скрылись дальние околицы,
обветшалые плетни.
Воздух знобкий будто колется.
В целом мире мы одни.

Да и наша суть погибельна:
в поднебесье, чёрт-те где,
костерок почти невидимый
подпевает темноте.

Ни околиц, ни пропеллеров –
где-то понизу хвоя.
Разве нам судьбой повелено
тратить дикие края?

Или эта ночь запомнится:
подле горла – кромки туч,
и в объятиях бессонницы
очертанья лунных круч?

* * *

Толпы внутренних турок.
Стаи внешних врагов.
Ты нечаянно выпал –
остался промежду,
но зато, заглянув за края облаков,
ты увидел, земля

не такая как прежде.

Много проще судить,
ведь не вне, не внутри –
не обязан ни тем,
не пытаешься к этим…
Может лучше молчать
от зари до зари,
если в слове твоём
нет достойных отметин?

* * *

Ты не должна уходить!
Вот она и осталась.
Ты не должна горевать!
Я ведь не каждому свой.

Капля по капле тоска.
Думалось, самая малость.
Где там?! Не выбрать до дна –
стала ко мне на постой.

Правый неправ? Ну, а я?
Что мне – с моей правотою?
Ты остаёшься и впредь,
как полагал, за двоих?

Ты не должна уходить!
Может, когда-то откроют,
как горевать одному
не о себе – за двоих?

* * *

Ты, уставая, лез в палатку,
и ветер, будто верный пёс,
то полу поднимал украдкой,
то под брезент совал свой нос.

Пытался свой приход пометить.
Ты дружбу с ним не зря водил.
Он пахнет волей, странствий ветер,
с которым ты в «полях» бродил.

С ним, прикасаясь к вечной тайне
лесов, тоскующей воды,
оставил ты в стране скитаний
свои незримые следы.

* * *

Уступчива? Так уступи, не медля!
Дни без тебя бесследно утекли.
Я даже пригрозил себе намедни,
доколе отрываться от земли,
и надо бы по ней, пока охота,
за всеми волочиться, почём зря,
и стрелы бессловесного Эрота
разбрыкивать, стихами не соря.

*   *   *

Хорошо, когда в запасе
два глотка и три улыбки,
когда ветер нагоняет
с бескорыстной стороны.
Я и нынче допускаю
старомодные ошибки
и, как принято, пытаюсь
быть удобным для жены.

Только, где там?
Только, что там?
Снова жизнь сбивает с толку,
снова вечные ошибки
в одиночку и гурьбой.
Хорошо, когда послушность
отправляется на полку,
и тебе ещё не поздно
вольно странствовать тайгой.

*   *   *

Хозяин, чего приуныл?
Не слышно хозяйки ворчанье?
Ну, не было свадьбы-венчанья
и шелеста ангельских крыл…

Хозяин, слова неспроста.
Ты помнишь, хозяйка велела,
когда соберёшься на дело,
чтоб рядом с ней вечность листал.

Хозяин, тебя понесли.
Трясутся прощальные дроги.
Мы следом… Мы в этой дороге
местечко себе припасли.

*   *   *

Чем радостней рукам на горле,
тем гуще сыпятся слога.
В твоём опять читаю взоре,

что лучше к чёрту на рога,
но не в чужой тьмутаракани,
а там, где тундра льнёт к тайге,
в избёнке с людом тараканьим
пожить на дружеской ноге,
ходить в кильдим, где мылом мажут
тела изогнутых свечей,
а хлеб в четверг ещё закажут.
Кладовка вовсе без ключей –
так пусто. Но и так просторно –
по силам жизнь приворожить…
Здесь так примерно, так притворно,
что жаждешь руки наложить.

* * *

Что-нибудь вслух поимённо, поротно –
звук, порицанье… Усталая плоть
двери прикроет публично и плотно.
Зря постучит благонравный Господь.

Что-нибудь сверх? Прилагаю усилья.
Выстрелы? Настежь открою окно.
Вот и поломаны венчик и крылья.
Образ распался. Теперь всё одно.

Не для потомков. Хотя бы помедлить.
Шаг-то последний. Пытаюсь посметь.
Что-нибудь выглядел? Было намедни.
Только поверить уже не успеть.

* * *

Что брать в дорогу? Только не себя.
Дорога вывернет всю душу наизнанку,
бездумно поднося то скатерть-самобранку,
то горсточку подачки возлюбя.

Откуда ты? Забудешь всё про всё.
Мать истончает, у окошка сидя.
Устанет сын, щедрот души не видя,
и нежностью твоею не спасён.

То вверх ползёт тоска, то вниз,
тоску сменяя новою тоскою.
Манило счастье? Что это такое?
Неужто звуков иноземных визг?!

Ты кто? Ты – разудалый колобок!
Катись себе, пока скрежещет вечер,
пока вконец тебя не искалечат
восток и запад, запад и восток.

*   *   *

Шагистика –
высокое уменье
усталых ног
в предчувствии костра,
когда до табора –
шажок,
но, тем не менее,
не доползти,
хоть лопни,
до утра.

*   *   *

Щеголеваты когда-то –
кепочки при молотках –
много, много на карту
ставили просто так.

Деньги? Нетрудно представить.
Семьи? Попробуй понять.
Вовсе не хочется славить.
Просто пытаюсь понять.

*   *   *

Целительная юность,
далёкие угодья,
петляющие реки
среди плешивых гор,
и полуночный чай
при всём честном народе,
когда костром пропахнет
бессонный спор.

Я не могу смириться.
Я много что утратил.
Мне не хватает неба
в палатке и вокруг.
Оно совсем неброско,
брезентовое платье,
но сколько я оставил
на этом платье рук?!

*   *   *

Южная экспозиция,
Богом обласканный склон,
мог бы собою гордиться,
кабы не брали в полон

нас сиверов передряги –
гиблые вправду места
где заповедные скряги
прячут руду неспроста.

*   *   *

Я властвую над посохом моим.
Иная власть мне просто не по силам.
Ты, кажется, вчера меня спросила,
о чём мы с ним часами говорим.

Да, обо всём. Когда дороги шёлк
пространствами раскручен и расцвечен,
так незаметно налетает вечер,
как будто ты и шагу не прошёл.

Потом костёр и трескотня огня,
и блики, и метанья, и надежды.
Ночь коротка. Жаль, откровенья дня
срывают с жизни робкие одежды.

Ты не поверишь. Мы и впрямь равны.
И власть моя, конечно же, условна.
Вминаю посох в плоть моей страны –
для счастия достаточно, довольно.

*   *   *

Я им не стану.
Не пришлось.
Водиться надо!
Я полагался на авось,
на мудрость стада –
исторгнет, вытолкнет.
Чужой!
Отсюда звуки,
и боль,
и кровь под кожи ржой,
и слово муки…
Я им не стану.
Ну, и пусть.
Тоски довольно.
Её исчислил наизусть –
до сути гольной.

*   *   *

Я отложу… Вновь отложил… Вся жизнь отложена…
Когда б лишь звуков баловство, их ждать-пождать.
Без Вас не в силах проживать, ну, нет возможности.
А вслух ни-ни, ни Боже мой, не в силах обсказать.

Ну, завтра… Ну, повременим… Не до конца истерзаны.
Ведь не болезнь, не блажь седин. Ведь знаешь – не пройдёт.
Я Вас… И воздух виноват – в нём каждый звук болезненный.
А счастья не было и нет. И лет наперечёт.

*   *   *
Я тоже постою в Ельце
и откажусь от драки.
На прошлое с войной слогов?!
Хромой Тимур не зря
имел чутьё собаки
и предрасположение Богов.

От золотых дождей
равнина золотая.
Иль Осень расцвела, или Тимур иссяк?
Я постою в Ельце.
Октябрь сквозит и тает.
Пора и мне не попадать впросак.

2004

*   *   *
А я доехал, я добрался
до моря позади песка,
и лишь недавно разобрался,
что в центре вечности тоска –
ни паруса, ни берег дальний,
ни вёрткость узенькой реки,
ни осенью исповедальной
набитые материки…
Вздохнёшь, кепчонку нахлобучив,
и недокошенным лужком
пойдёшь на зов залётной тучи,
на солнце, гревшее тайком.
И то ли стог подставит ногу,
иль ночь решенье упредит,
но боль отступит понемногу,
а утро новой одарит.

*   *   *
А жалованье мне за тыщи дней скитаний,
за тонны макарон с «кирзой» пополам?
И нечего юлить. Я подниму восстанье,
коль вы не утолите мой карман.

Иль, на худой конец, я отвернусь в обиде…
Неужто опосредуют в рублях
и то, что шлялся в затрапезном виде

в лесах и на горах,

и то, что не узнал как пахнет негой
от юных дев расплавленный песок?
Ну, не был там! Зато под самым небом
иное счастье целовал в висок.

*   *   *
А там, в пространстве ювенильном
ни мысли робкой, ни словца,
и ангел в пятнышках чернильных
похож на постного скопца.

Он шевелит крылом послушно.
Да что с того? Ты отлетал.
И всё мирское ныне скучно.
А к новым сказкам не пристал.

И всё-таки в своих упорствах –
ни для кого, ни для себя –
ты что-то сделал до погоста,
посильно рифмы теребя.

*   *   *
А за чертой коллективизма – кто ты?
А в крепости «люблю себя» приют нашёл?
Ты – поздний автор или сыт до рвоты,
тем как в душе безумно хорошо?

*   *   *
А если ты вне группы,
а если ты без грима,
то отпираться глупо –
тебе не стать любимым.

О, стаи гулливеров,
как трудно лилипуту
следить за сменой веры
и праведных маршрутов,

как горько умиляться,
что удержался с краю…
И что, ещё ни разу
не порывался в стаю?

*   *   *
Ах, какая повадка была спозаранку
уходить от жены, от детей на гульбу –

на берёзок охапки по кругу полянки,
на хребтов и распадков божбу и борьбу.

То взлетаешь наверх – вон как сжали долину.
То рука козырьком – скалы небу под бок.
Ах, какая привычка – убегать на апрелей путины,
в октябри возвращаясь на отчий порог!

* * *

А может данности всего,
что скорбно длишься,
и мимо дальних берегов
к себе стремишься,
и мимо соблазнов чужих,
чужого срама,
туда где твой отец лежит,
где рядом – мама.

* * *

А что слова?
Им ничего не надо.
Лишь одиночество.
Оно,
невидимое, радо,
когда нам говорить
дано.

* * *

Памяти А.Барвинского

А этот сон – пока не поздно, уходи…
А эта явь – все перевалы перекрыты…
Снег ранний, с белой шерстью на груди.
И мы с ним среди августа повиты.

По пояс… По колено… Где тропа…
Бесследна жизнь, когда мы запоздалы.
И сна необъяснённая стопа
на молодости белых перевалах.

* * *

А ты проси, хотя совсем не Вильям,
и ляг со мной навечно – навсегда.
Колючая любовь была меж ними.
Меж нами тоже ласка иногда.

Какая есть! Иным и той не светит.
Так, решено. Ты ляжешь там, где я.

Быть может, в этом лучшее на свете,
с короткою страничкой бытия?

* * *

А дату полную?..
Поближе к смерти –
так допекла.
И в предсказания
не верьте,
мол, даль светла.
Вся – темь.
Вся – истемна
и мрачна,
прокукарекал –
будь таков.
А датам не понять
как словом злачным
смягчалась жуть
безмолвия оков.

* * *

А самолюбие осудит –
не столь хорош,
и чашу горькую пригубит
за медный грош.
И эта поздняя отрава
иных страшней –
собой гонимый и неправый
на склоне дней.

* * *

А дом-то где?
Где станешь умирать?
А улица – твоя?
Неужто эта?!
И криком сны.
И каторгой кровать.
И за окном гундит
заморская планета.

* * *

Памяти мамы

Будто миллионы судеб в тонкой строчке –
вовремя черкнул, они долой.
Мне б одну назад и вскрик: «Сыночек,
что ж ты не заглядывал домой?
Иль прельстился славным и бесценным?

Или просто руки опустил?..»
Тонкой строчки кровь. Ночная смена.
Кто б меня так бережно простил?!

*   *   *

Будут ли слышны акустике
сердца колокола?
Высунусь вдруг из-за бруствера –
была не была…
Каска давно оржавлена.
Бруствер осел.
Вот и держава ославлена,
так защищать неумел.

*   *   *

Без возвращения домой,
без клетки коридора,
откуда вширь и вдаль
пошёл, погнал,
нет сил перетерпеть
ни голубые горы,
ни даже рыжий
от костра привал.
Всё хорошо. Всё дивно,
но накатит –
и вылижешь письма
усталую строку,
как будто в каждой букве
«хватит»,
и даже точки
стыдно дураку.

*   *   *

Боже, что я наделал? Что натворил?
Столько бумаги предал, столько наговорил?
Боже, что я удумал, что обсказал?
Чуть обернёшься юным, тут же – вокзал.
Сопки ещё бесснежны. Это судьба.
Смуту маршрутов прежних вытру со лба.
Благо, что «сивер» стоек, вечна чаща.
Я никакой не воин. Что защищать?
Боже, где это было? Как я неправ?
Жизнью таёжной пропахший, норов и нрав.

*   *   *

Беру простор донельзя дикий
и заворачиваю в ткань.
Так вот она, Тьмутаракань,

неподцензурные вскрики!
Здесь не кудрявых сопок юг.
В Сибири юг? Ах, не шутите!
Юг в окружении подруг,
а здесь Вы с кем дитё приспите,
когда одни гольцы в снегах –
ни девочек, ни ушлых свах.

*   *   *

Бросит «скорая» в коридоре
не мальчишку, не старика.
В предварительном приговоре –
неталантливая рука,
чертит буковки, будто можно
их с пустою душою чертить.
В окончательном – так несложно
Бога в буковках упразднить.
Забирайте его, покамест
дышит, что бормочет во сне…
Я себе тыщу лет не нравлюсь
ни в молчании, ни в письме.

*   *   *

Памяти О.М.

Вы молвите им, только в нашенском
и сила моя, и отчаянье,
мол, я признаюсь – хлебопашество
важней чем поэта мычание.
Но мне над строкою нечаянной
живётся совсем не играючи…
Вы молвите им, поздно в Каины,
поэту не жить припеваючи.
Быть может, они унаследуют
моей правоты междустрочия,
а я напослед отобедаю
утробой своей – нерабочею?

*   *   *

Впервые о сласти свободы
услышал, когда у костра
лежали бродячие годы
и память читала с листа,
когда темнота подступала,
и не было силы прогнать…
Свобода? Неужто бывало –
чаи с нею вплоть распивать?
И с карты снимал не заданье,
а просто гулял там и сям,

и не было смысла в скитаньях
потворствовать диким лесам –
лишь воля рельефу перечить,
не вдоль, а всегда поперёк,
а после потягивать вечер,
как в кружке остывший чаёк.

* * *

Вот и цветочки на глине.
Кстати или не кстати.
Неужто и здесь запоздалы
и невпопад расцвели?

Осень. Последняя осень,
сваха моя и сватья,
мне бы тихою сапой
просто растаять вдали.

* * *

Всё закончилось плохо:
холмик стылой земли –
ни единого вздоха,
ни салютов вдали.

Для чего ты? Напрасен!
Смерть не знает помех.
Ни характер пристрастный,
ни бесстрастный успех

не помогут продлиться,
чтоб успел объяснить –
никогда не случится
нам бессмертными быть.

* * *

Вплоть до проказы…
А дальше куда ещё?!
Словно подстрочечник –
весь на виду.
Вам не угодны
такие товарищи?
Я – прокажённый –
накликал беду.

* * *

Вот и я без биографии –
без тайги и без хребтов.
Было дело, мне потрафили,

не гадая, что потом.

Да, и я совсем негаданно –
где вы, розовые сны? –
стал заглядывать в парадное
гладко стриженной весны.

Но за кадром, по черёмухам,
на другом конце земли,
бродит молодость без продыха,
да тайга стоит вдали.

*   *   *

В расчёте на эпоху целуют лошадей,
иначе не влюблён – разборчив больно.
Мне клячи траченной довольно,
поскольку не лошадник иудей.

*   *   *

В этой опасной затее
страх глазам не указ –
станешь себя святее,
только б подняться раз
скользким сырым увалом,
далее – «рёлкой» хребта
к радости небывалой –
тучам у самого рта.
Далее всё докукой:
жёлтый костёрик у ног,
кружка заварки хрупкой,
словно постылый слог.
Все опасения после –
спуска коварный спрос.
Как поживаете кости,
коль до земли дорос?

*   *   *

Вы ждали Бога из пенала,
из непрочерченной строки?
А он, ни много и ни мало,
считал вагонов огоньки,
загадывал, когда же снова,
на полку кинув рюкзаки,
прильнёт к стеклу,
взывая к слову
из непрочерченной строки.

*   *   *

В какой кровати «по качеству»
сподоблюсь почить?
Неужто и вправду чудачество –
денно и нощно строчить?

А те, ну, которые давеча
палили свечу,
неужто писали играючи,
без всяких «хочу – не хочу»?

и что в ней? То ползает бережно,
то яростна добела,
когда ты, по жизни изнеженный,
в свои посвящаешь дела.

* * *

Все в ожиданьи справедливости –
за океаны, так гуртом.
А в чём она? В высокой милости
не сдохнуть под родным кустом?

Но смерть не в сытости безмолвия,
а в безупречности тоски,
когда лежат у изголовья
чужого города тиски.

* * *

«Ваша цыганка в штанах»,
наша блондинка в халате,
надо же, вместе сошлись –
не поделили постель.

Вильяма тень на стене.
Пытка несхожих объятий.
Любишь?.. Неловок ответ,
если слова обо мне.

Ваша ли, наша ли – все
переплелись, перевились –
плод посинел, чуть живой,
но ведь не мёртворождён.

Ты погоди! Примечай,
буквы не зря веселились –
горек комедиант,
к выдумкам пригвождён.

* * *

В гостях у правды – значит на задворках.

Столешница для вечности сольцы
крупна и каменна – и твёрды подбородком,
и несгибаемы отцы.

Нам ныне недосуг. Парфюмом окруженья,
высокой модою забот,
мы пресны, будто помыслы в движеньях
набить, наполнить ненасытный рот.

*   *   *

Вдова не Манделя, не Штама –
вдова всех, согнанных на нары,
где жизнь короче чем огарок
и чуть весомей миллиграмма,
чью память вынесла в подоле,
за пазухой, в причинном месте,
и как положено невесте,
суть жениха при ней – на воле.
Вдова… Невеста… Я запутан.
Мне б на колени перед нею.
В Чите ходил одним маршрутом.
Где тот пацан, что не робеет?
Ещё свои не счислил сроки
и не сложил на память тексты,
но, глядя на её уроки,
не подыскать подстать невесту,
чтоб, выйдя из любви засады,
она напомнила о муже,
а я давно лежал, где надо,
её стараньем обнаружен.

*   *   *

Сыну

Вот обреку на слово,
узнаешь, что откуда,
когда печаль готова,
да не готово чудо,
и скоропись не лечит,
а рукопись отравит –
лишь жаждой обеспечит,
и в ложное направит.

*   *   *

В расчёте у белой вороны не выгоды краски,
не скудные фразы «от стаи случайно отстал»,
а небо, его глубина, горизонтов опаска –
никто за черту до сих пор не ступал.

И заполночь даже – всё чёрно, всё серо,
и нет ни ворон, ни небес, ничего –
спросонья: «Ну, белый?! Такая мне выпала сперма.
А всё-таки, что там, за тучей, за небом – за гранью слогов?»

* * *
Выгляни, ангел! Выгляни, ангел! Тучи приспущены.
Вплоть до земли непроглядная тьма.
Дай мне чуток, горсточку слов – всё что отпущено.
Далее знаю, выход один – посох, сума.

Мир пересечь. Суть обойти. Высказать мелкое.
Главное – где? Вот, до сих пор не пойму.
Падает ангел. Падает ангел. Люди забегали.
Мне без него только одно – жечь тишину.

Выживи, ангел! Выживи, ангел! Дай мне увериться.
Крылья уйми. Гладеньким стань. Всё же земля.
Выправи имя на «ов», всем, кто надеется,
переписать скудость строки на вензеля.

* * *
В очередь, сукины дети! В очередь!
День-то ещё не дорос – без штанов.
Что нам талдычили? Что нам пророчили?
Будет всё вдосталь для пацанов!

То ли блаженные, то ли безумные,
ждали, терпели и в очередь шли.
Сукины дети, какие мы шумные?!
Как нас везде ни на чём обвели…

* * *
Врут – эмиграция не вечна.
Мы – путники. Мы – кто куда.
И сон о станции конечной
след в след и – не было следа.
И сон о выходе и входе,
о жизни между двух дверей,
обманчив при любой погоде,
коль ты пожизненно еврей.
Врут?.. Ну, да пусть. На то и враки.
Мы – эмигранты в мир иной,
где эллин растворён во мраке,
а иудей стал тишиной.

* * *
Всё уготовано. Как выпады стекла,

снискавшего простор и отраженье.
Как жизнь, которая меж пальцев утекла
И между непонятных наваждений.

И всё при ней. Но ты уже не рад.
Стекло опять наводит на раздумья.
Ещё вчера листвой клубился сад,
А нынче веток ломкое безумье.

Всё уготовано! Конец неотвратим.
Зачем мы длимся, стыд приумножая,
и стёкла отражением томим,
и свой простор без устали ссужаем?

*   *   *

Всего-то крах… Ну, маленький… Ну, свой…
Ну, может быть, не полный?..
Ты жив. Накормлен. Не босой.
И заедаешь счастие попкорном.

*   *   *

Всё казалось, что ходит у дома,
подбирает отмычки-ключи
и, в согласии с буквой закона,
за спиною подолгу молчит.

Только спазм ночной и догадка –
подобрала, теперь не прогнать –
душит буквы, сминает тетрадки,
чтоб не дать дочертить, дослагать.

*   *   *

Взамен участию в скандалах
белесой ряски обода
вокруг согласного пруда,
которому всего достало.
Вода безмерно зелена –
кусты, деревья сыпят краску
туда, где отступила ряска,
зато рождается волна,
вернее – медленная зыбь,
ленивое телодвиженье,
как ловкий ход, как наважденье –
твой аргумент неотразим.

*   *   *

Всё мало бумаги – себя передать,
а жизни и вовсе – себя переделать.

Оглянешься – дыбится прошлого рать,
как чёрные буквы, на белом, на белом.

И вовсе не важно, как их возлюбил.
А более важно, их кто-то добудет.
И буковок чёрных неведомый пыл
отправится в люди, отправится в люди.

*   *   *

Всё не будет иначе.
Может позже, потом,
открывая задачник
на решенье простом,
обнаружим ошибку –
не сказали, когда
окружают улыбки,
обессилит беда.

И сейчас, и намедни
не о том разговор.
Просто в небе последнем
стал бессмысленным спор.
Просто в слове прощальном,
кандалами звеня, –
не дружите с печалью,
не корите меня.

*   *   *

Всего лишь шаг через порог.
Куда мне деться?
Зачем я снова приволок
больное сердце?

Зачем затравленно слежу
за каждым стуком,
и злой напраслине служу,
роняя звуки?

*   *   *

В деревне вместе с Еврипидом
бродить, беззвучье возлюбя,
как будто вечности хламиды
коснулись беглого – тебя,
как будто древнее привычно,
а современное скучней,
и нам в деревне земляничной
мир не покажется мрачней.
И славной публики примеры,
её бездонные глаза,

не более чем снов химеры,
коль ты не в силах обсказать
ни Времени дырявый бредень,
ни Еврипида приговор;
живи собой, останься беден,
толпу не признавай в упор.

* * *

Все нападки от шалфея.
Приснопамятный рецепт.
Не по правилам болею.
От тебя спасенья нет!
В горле сушь. Озяблость. Стоны.
Мнится дальний твой звонок.
Ты не прячься на перронах.
Расставаться сбился с ног.
Ну, хотя бы на отписку –
три вопроса, две строки –
выкради минуту с риском
для безжалостной руки.

* * *

Грозы ночной уведомленье.
Ты слишком стар.
Ты скудно спишь.
Не потому ли с умиленьем
пером бессовестно шалишь?

Оржавлено, вконец огрузло,
да недвусмысленно манит –
ведь тучи бархатное пузо
не только молниям магнит.

* * *

Диктатура пера или сам по себе?
Льются песни за ворот или тонны усердья?
Иль годится, когда не поклон ворожбе,
а доподлинно кровь – из тебя, из предсердья?

* * *

Давно уже вниманье обращаю,
как хмурит брови постодушный лес,
как перелески редкие нищают –
слогов в обрез,
как по утрам на склоне небосвода
чуть видится ущербная луна,
и слово недоступное СВОБОДА
нас сводит медленно с ума.

*   *   *

Дожить ли? Заглянуть –
она ли?
Что за муки?!
Мир пуст. Пусты слова.
И где-то там
осталось ожиданье
медленного стука –
входи,
я растворил
бесстыдные уста.

*   *   *

Даже имя безупречное
не оставлю – не пришлось –
только в строчках –
даль заречную,
где скитаться довелось,
гор подоблачные камешки,
неба вышние грехи –
жизни ладушки и шанюжки,
маломальские стихи.

*   *   *

Дорога меж заборов, дорога у калитки,
как предки завещали, натруженно пылит.
Мы выходить пытались за сытости ошибки,
прощупать горизонты – какой юлит.

Лишь Север отмолчался, спокоен и неробок.
И мы пошли к нему, пугаясь по ночам,
когда гольцы с палатками бок о бок,
о чём-то нам неведомом ворчат.

И мы нашли его таким как показался.
И даже больше. Он понять помог,
где Бог ещё бессильно озирался
и где постиг, что он и вправду Бог.

*   *   *

Два прикреплённых друг к другу обломка, две боли,
шастать бы врозь, а, поди ты, судьбы наворот…
Кто там виднеется, кто продирается полем,
будто прознал про объятья запасных ворот?
Честь не по чести? А время? Прекрасное время!
Выбрали, что ли? Как будто иное добрей?!..
Кто там пылит, намекает, мол, вижу Ваш терем,

топчет бездумно то клевер, то крепкий пырей?
Где-то остались другие обломки, другие ворота.
Помнят кладбища и этих, немилых, и тех…
Гость долгожданный, я вышел навстречу до срока,
только бы миг – разглядеть. Неужели мой грех?!
Две неразъёмные части, два крика, два зова.
Так или этак, но все подпалили мосты…
Всадник свернул. Видно, совесть моя не готова.
Мало хлебнулось в объятьях заморской версты.

* * *

Жил одноглазый. Верил, с луком
хотя б полмира покоришь.
Куда мне?! Я лелею звуки.
Вдруг сердце звуком отворишь.

Не фыркая, не порицая,
мне улыбнёшься мягким «л»
и скажешь: «Буквами бряцая,
не слишком ль рано поседел?
Возьмись за лук. Схватись за стрелы.
Мир жаждет дела, а слова
и в самом деле поседелы…»
Ты как всегда немыслимо права.

* * *

За верных негодяев,
за клетки на морозе,
за то что мы вздыхаем,
мол, были не тверёзы,
и слово выгоняем
в сибири и гулаги,
и слово пропиваем,
сдувая пену с браги…
За всё, что мы не знали,
не ведали – проспали,
и совесть прозевали,
и правду обобрали!

* * *

Зачем играть аскета, однодворца,
когда ты знаешь – не в последний раз
и слово по копейке раздаётся,
и душу выставляешь напоказ?

* * *

За лучшее Время? Увольте!
Лучшему не бывать.

В ином не стал бы настолько
звуками повелевать.
Сушил бы пимы да кости
на солнце в погожий день
и, лёжа потом на погосте,
хвалил бессловесную лень.

* * *

За чистоту тумана не горазд
ответствовать и покрываться потом.
Прохлада – хоть куда, ползёт себе вокруг.
Сегодня бы дожить до вертолёта,
когда он норовит – в прицельный круг.
А так, всё как у всех. Вершины вдоль долины.
Тропа виляет в виде валунов.
И ниже всех – река, не то чтоб рёв звериный,
но вслед дождю перекричит любых говорунов.
Ты напиши. На вертолёта всхлипы я наложу свои –
вот это будет рёв,
и между слов возникнут счастья лики,
как будто в первый раз покинул отчий кров.

* * *

За длительность, за снисхожденье –
порою помнит о тебе,
за слов пустяшное уменье –
иные не даны судьбе,
за небо с рванным косогором –
посмотришь вдаль, переплелись,
за ту, что не грозит с укором,
не тянет в суетную жизнь.
За всё, что было: вздохи, слёзы,
по ветру пущенные дни,
и смерти разговор тверёзый,
когда мы в полночи одни,
за то что не нужны победы,
когда столь временен приход…
Ты разве жил? Ты разве ведал,
что слово – следствием невзгод?!

* * *

За то, что плохо кончу,
за то, что поздно начал,
за то, что сдуру склочен,
на мелкое растрачен,
за всю свою непруху,
пред рифмами смущенье,
земля не станет пухом,
но – прекратит вращенье.

*   *   *

Здесь каждый круг непрочен,
но каждый угол равен.
Чему? Ещё намедни я это знал.
Но круг изодран в клочья,
а угол деревянен,
и за углом скамейка и вокзал.

Садись! Последний поезд
уходит постоянно.
Ложись! У жёсткой полки
знакомые бока.
Здесь память бесконечна,
упорна, окаянна,
и не сулит спасенье
твоя рука.

*   *   *

И ты – разменная монета,
и жизнь твоя – затёртый грош,
и слово, если не согрето
аортой, лучше не тревожь.

*   *   *

И даже кладбище твоё – изделия из букв!
Когда б стихи, хотя б назло кому-то иль себе.
Столы полны косых листков и угловатых звуков.
Кого увозишь ты, Харон? Ты веришь, по злобе?

Шутил… Играючи пером, совсем не злобой.
Разгневаться горазд. Вергилий пожалел:
когда не достаёт словес высокой пробы,
гнев понуждает, станешь криком смел.

*   *   *

И я всей правды не скажу
и всей неправды тоже,
но поведу Вас за межу –
тоску итожить.

На склоне лет не уповать,
не предаваться
мечтам – пристало уставать,
с печалью знаться.

*   *   *

И кров пойдёт, как пелось, горлом,
и вытечет вся жизнь наружу,
и ближние нестройным хором –
признаются, давно пора.

Откуда он на нас свалился
с бесплодным поиском досужим?
Как будто негасимым счастьем
слов завершается игра?!

* * *

И этот, отдельно взятый, –
Везувии всё-таки редки –
раскроет жаркое горло
с варевом из камней…
Пока он дымится, знаем,
ещё ужаснутся зенки,
хватая что попадётся
из очумелых вещей.

Улочки иль переулки,
здания или созданья –
нежное изумленье
бархатной неги глаз –
в этой, отдельно взятой,
не могут предвидеть заранье…
Пепел, лишь горклый пепел –
лестная правда о нас.

* * *

Памяти М.Поговского

Их переставив так и сяк, истратив
души благословенной смертный грех,
едва ль поймёшь, ну, разве на закате,
какой ценой подластился успех.

Все сорок-сороков уже бессильны –
благи намеренья, да почерк подводил.
Ты был среди немногих из красильни,
кто краски новые на старом находил.

* * *

Из детских обид – не кокетство,
они расчётов пошире –
осталось тайги соседство,
гуляла за стенкой квартиры.
Она рассыпала заставы
по городу то и дело,

и на закате устало
золото крон пламенело.
Сосны, мои обиды,
мои колючие сёстры,
я вас не теряю из вида
в своих скитаньях заморских:
то запах смолы бессонный,
то крон нестриженных зелень…
Из детских обид, из весомых –
все поздние, так еле-еле.

* * *

И ближнему – на горизонте – погрозить,
и дальнего – из комнаты – долой.
Доколе на себе себя возить?
Я нынче злой!

И выпрастать перо из рукава,
синицу из кармана, журавля
позвать-признать, как некие слова,
сомнений для…

* * *

И ты бесплоден.
Ни околицы,
ни околотки дивных слов
к тебе не льнут,
в окно не ломятся…
Когда б понять и –
был таков…

* * *

И всё бессмысленное ближе
по мере угасанья дней.
Всё меньше чувствую и вижу
Не пуганных бедой людей.

Всё реже плачу над тобою,
да и своих не вижу слёз.
Я б это называл судьбою,
когда б не знал –
сплошной курьёз.

* * *

И этот, который себя убивал,
ну, предал впервые,
и тот, который виновником стал,
да выжить посмел, –

два сапога двадцатого века,
в его бесподобном порыве –
брат против брата, иудин удел.
И эти, которые не хуже других,
и вовсе не ждали,
поскольку очередь не на год,
на много лет, ого-го,
носили отличья и даже ценили медали,
а чуть пониже – хром «в бутылочку» сапогов.
И мы, которые нос суём, но позже возникли,
копаемся всё, будто смеем о чём-то судить,
не зная централов страшных бессонные крики,
концы с концами пытаясь в своих преисподнях сводить.

*   *   *

И что с того, не ждут «посмертно»,
выходят «заживо» в народ –
им смотрят в рот числом несметным,
да делают наоборот.

Лишь сдуру тишины страницам
ты доверял – способны несть
и сердца тяжкую десницу,
и кровью политую честь.

*   *   *

И среди ночи меня не спросишь,
где твой сон, куда подевался,
какие такие сибири
его неотвязно влекут.
Неужто не сыт по горло,
невдосталь ещё поскитался,
и старые кости горазды
приметить покруче маршрут?

И среди ночи тебе не отвечу.
Никому мой ответ не нужен.
И среди ночи – такое бывает –
всё равно, возникнет ответ.
..Жили-были, чего-то умели,
выбирали пространства и стужи..
Нам, наверное, их не хватает
посреди превосходных планет.

*   *   *

Игры дивные творя,
ходят буковки по кругу,
то в созвучии упругом,
то в бессонных кубарях.

Или слух устроен так –
что за звуки, что за диво –
ухватив тебя за гриву,
мчатся к людям на большак.

* * *

И, надо же, свалился с рысака.
Тимур не падал.
У Темучинов ровные бока,
и равновесие наградой.

А этот, скрюченный тоской
по безошибочности власти,
разрушил веру в род людской,
в мечту о достижимом –
книжном – счастье.

* * *

И как-то не очень правильно
отвечу иль напишу:
«Вы правы. Порядком затравленный.
Бесспорно, не шибко дышу».

Но ведь и надобно только
глоток последней строки
и чуточку сверх, ну, полстолька,
согласья твоей руки.

* * *

И позабыть значенье слов
и звуков тягость.
Чего цепляются,
Суют повсюду нос?
В молчаньи власть!
В словах сплошная слабость
и нескончаемый вопрос.

Ну, день. Ну, два.
Ну, растворятся снова
оковы рта,
разверзнутся опять.
Но разве сможет
отличиться слово –
и время повернуть,
и боль мою унять?

* * *

И если не прикроют газетой или тряпкой,
то и тогда не важно – ты беспробудно мёртв.
В последний раз разгладят невидимые складки
и выдохнут украдкой – настолько был упёрт.

* * *

И потихоньку уходить,
слюнявя грифель.
И жизнь коварную любить –
смешные мифы,
её нетленные шаги,
румяный профиль –
над бездной
гордые круги
моей эпохи.

* * *

И это вечное бездомье, чуть прирастёшь – меняй посуду.
Титы, лихие Александры, турецкий вкрадчивый паша…
Мне надоело. Неохота. Я больше удирать не буду.
Душа упорствует – доколе… Я за тебя доюсь, душа.

Мне между битв осмыслить надо и гнев людской, и ложки дёгтя.
Кто знает, может перемены опять схвачу за воротник?
Бездомным быть – такая сказка! Вы без отечества живёте?!
Доколе?! Я давно не мальчик, почти старик.

* * *

И чтобы беспокойный слог
тебя пометил.
И чтобы служба вопреки
всему и всем.
Не выживем, так пропадём –
развеет ветер
тоску и вечную печаль
безумных тем.

* * *

И будто не было ни разу
богопротивного питья
или завистливого сглаза
на перекрёстках бытия,
напротив, сладость и томленье,
и благодарный сердца слух,
когда по щучьему веленью
плывёшь, бредёшь
средь белых мух.
Ещё летят вприглядку словно.

И где ты, странная страна,
с её характером неровным –
виновны все, но не она?
Но вот взвилось позёмки пламя
и – понеслась душа вразнос.
И будто вновь любовь меж нами,
без горьких дум, без тайных слёз.

*   *   *

И если угадать по скатерти стола,
куда покат, и где ночуют крошки,
то сладок чай, а булка вновь бела,
как проседь старины на камчатой дорожке.

Ты усиди! От ложек перезвон –
вечерний, ровный – день такой усталый,
и я держу сосуд со всех сторон,
как пестовали, дланью пятипалой.

Чего ещё?! Какой ещё расклад?
Нам – дочаёвничать и выждать разговором,
пока атласно пенится халат,
и не угас любви гортанный норов.

*   *   *

Из простых рыбаков. Не дослушают. Надо иначе.
Про студёное море? Про Волгу и Стенькин баркас?
Сети выбраны. Плещутся, будто судачат,
рыбы. Жаль их слова певунам не подсказ.
Но дослушать, пока оседая, подсохнут,
обрывая у жизни последнюю нить.
Дальше – плоть свежевать, напирая на вздохи –
надо жить, проще жить, не тужить.
А потом, под луной, за костром неторопким,
отрыгаясь, в кощунствах купая усы,
вдруг затянем – за жизнь, за покатые сопки,
за девицу нежданной, незлобной красы.
Из простых певунов. Но стараемся. Песни что надо.
От горящих поленьев, от дальних лесов – благодать.
И ещё не известно, что большей наградой –
пропитанье добыть или верное слово прознать?

*   *   *

И что ни лагерь, то старик,
картавящий стихи на удивленье –
вполне необъяснимое явленье,
слова лишь там, где смерти вскрик.

Иль старикам, отпетым, в клочьях дыр –

не нужно ни забвенья, ни бумаги,
коль расстараться рифмами отваги –
чинарик поднесёт всесильный бригадир?

* * *

И каждый ворон
к мудрости готов,
а я нисколько.
На корточки садись,
азартно лай?!
Мне всё одно.
Всё бесконечно горько.
Ты можешь возражать,
но – принимай.

Денницы склон покат.
Вот-вот обнимет вечер.
Не вейся, чёрный!
Я и так поник.
Мне всё одно,
потомки и предтечи –
печаль разлук
течёт за воротник.

* * *

И, слава Богу, не артельна
твоя рука.
И нет расчётов беспредельных.
Печаль легка.
Побыл, полазал, поразвлекался –
прощупал даль,
и даже почерк сохранился…
И всё же жаль.
Ведь я артельным бывал, не так ли?
Но тут слова.
И надо знать хорей и дактиль,
слогов права.
И ни к чему теперь про ноги,
худой сапог,
и те когтистые отроги,
где выжить смог.

* * *

И малой речки кривизна.
И камыши. И заводи.
И шестипалая звезда,
нагаданная загодя,
но чужеземцем у воды
подсмотрена случайно.

И неба райские сады
над пажитью печальной.
Всё изначально. Всё вовне.
Что, кроме жизни, даром
на всуе данной стороне,
где сам себе не пара?

*   *   *

Испуганным мальчишкой,
а слово безутешно.
Царапины и «цыпки»…
Да, перестань читать!
Ты слышишь? Ты попался!
Немыслимо безгрешно!
И верить в эти сказки
пора бы перестать.

Испуганным мальчишкой.
Лишь так, и не иначе,
пройдёшь, достигнешь что-то
и сгинешь на ветру,
ничем не отличившись,
и ничего не знача
для тех, кому царапал
бумажную кору.

*   *   *

И в этой ссылке, сломленный слогами,
упрятанный в подвале от молвы,
я чист перед отечеством и Вами,
которые заведомо правы.

Но вновь и вновь не радуясь ответу –
на то и слог, и ссылки на него –
и мне спасенья в оправданьях нету,
покоя нет у сердца моего.

*   *   *

Июльский дождь, ты был беспечен
и восхитительно неправ,
ты над покосом бесконечным
кропил погосты мёртвых трав.
Когда бы нам… Когда бы после…
Хотя бы на короткий миг –
дух обезглавленных колосьев
и незабвенных повилик.
Но дождь сильней. Но дождь во славу
не трав, не запахов – воды.
И нам обидно за державу.

Кто наши вспомянёт следы?

*   *   *

И жизнь прочесть как поиски Голгофы.
И заповеди рвать на части, на куски.
Зачем нам жечь бессмысленные строфы,
не испытав ни счастья, ни тоски?

*   *   *

И на исходе слова,
и на излёте жизни
поверить, всё могло быть
и горше, и страшней.
Ты намекнул на дружбу
совсем другой отчизне,
а прежняя устала,
хоть не гнала взашей.

Но надобность такая
Двусмысленна и странна.
Разменною монетой
ты в одночасье стал.
И седину позоришь
заёмным океаном.
И новых обольщений
к душе не подверстал.

*   *   *

И этот запах керосина от эпохи.
И этот голод на невинных – не иных.
Беда не потому беда, что мы так плохи,
а потому как нас считают за больных.

Беда, что ожиданье наше вечно.
Сегодня мил, а завтра будешь знать,
как можно убивать беспечно, бесконечно,
и «сродных» деток лобызать.

*   *   *

И только речь нечистой крови
не сторонится, не кричит.
Когда б не так, ты стал безмолвьем,
в иных провинциях ловчил.

А здесь, невидим и заброшен,
неведом как судьбы кивок,
бредёшь славянскою порошей
и видишь в том еврейский толк.

*   *   *

И у меня не хватит сил трясти кадилом
и, напечатав, рассылать – глядите, люб.
Какой резон в мои года назваться милым,
когда седины подле губ?

*   *   *

И безупречно подсадили:
подножка, паровоз, гудок.
И верили – переместили
души невидимый клубок.
А он, возьми, и спрыгни оземь –
никто и ойкнуть не успел –
лишь молча расступилась озимь,
замкнув невидимый придел.
И потому, страшась вагонов,
я всё же лезу в полок жуть,
чтобы на дальнем перегоне
клубок невидимый вернуть.
Иначе – бестолочь, безбожье,
пустая шебутня словес,
и звук на мёртвое положен,
и в душу никому не влез.

*   *   *

И Время выпадет…
И сам, ему подвластен,
невольно худшее вберёшь.
Оно сожмёт твоё запястье,
и вложит поначалу нож.
И, лишь отбившись, отмолчавшись,
ухватишь мирное перо,
с самим собою поквитавшись,
и кровью оплатив добро.

*   *   *

И ты с улыбкою сторонней
внимаешь миру и словам.
Иссохли, обветшали корни.
Отсчёт по кронам – головам.
Вот эта здесь. А та далече.
А эти вовсе за чертой.
И ты, по виду не увечен,
но кормишься чужой верстой.
О вёрсты, прежних дней подпруга,
неужто жизнь давно ушла,
и ты корячишься в потугах,

не достигая ни шиша?

*   *   *

Из божьих рук, а дальше как придётся.
И вняв – пересолить. И выдюжив – сбежать.
Слова с горы?.. ОН выше заберётся
и, нате Вам, СЕБЯ изображать.

А ты – молчи! Из рук ЕГО, не так ли?
Иль всё к тому, что лучше из своих?
И никаких делов, и никаких спектаклей,
мол, диктовал, вина на нас двоих…

*   *   *

И даже в казённой печи
ты можешь невольно
сработать слова-кирпичи,
как будто не больно.

Не глина уже, не песок,
ведь трачен тюрьмою.
Теперь остаётся разок
разжиться сумою.

*   *   *

И не смирив себя, залечь,
со всей серьёзностью, надолго –
туда, где надобно немного,
и вовсе исчезает речь.

И в скорбном почерке костей –
куда ни кинут, неудобства –
раскопщик выглядит юродство
постылых наших волостей.

*   *   *

И ты простишь великодушно.
И мы отправимся по свету
искать напару хлеб насущный
и бесполезные ответы.

Они из дыма, из кораллов,
из тяги бережной друг к другу,
которой нам не доставало,
пока разлук душила вьюга.

*   *   *

Крайняя скромность одежды и быта.
Старый брезент полинялых тонов.
Наша палатка камнями набита –
корочки твёрдых шершавых томов.

Есть среди них и один неприметный –
старших, совсем невозможных кровей –
выжил случайно в мороке планетной,
в переплетениях гор и морей.
Выйму. Поглажу. Как умудрился
мне, мимолётному в руки попасть?
Возраст ему миллиард приключился –
крайняя скромность и серая масть.

*   *   *

Когда бы думать о любви,
в её угодья
заглядывать хоть иногда,
и жизни опустив поводья,
забыть незыблемость стыда.
Пускай соседи хороводят,
и гонит нас от счастья прочь…
Мой ангел, кто мы при народе?
Чем он сумеет нам помочь?

*   *   *

Какое чудо, после боя
забыть, как вымерзал брезент
и снег ложился слой за слоем
туда, где нас сегодня нет,
и белую рубаху гладя,
не верить – жив, ещё живой –
и тут же записать в тетради –
неужто был последний бой?

*   *   *

Как наваждение во мне.
Как нежелание смириться.
Казалось бы, совсем не птица,
но – прилетаю по весне.

И мой прилёт, и мой надсад –
ветшают давние сомненья –
не прихоти, не принужденье,
не зов отеческих простат.

Ну, изгони меня сама.
Яви заслуженную кару.
- Ты с родиной другой напару.

- И без тебя красна весна.

*   *   *

Как ласковы были туземки
и как позёмка мела –
хватала сперва за коленки,
за крайние точки тепла,
потом забиралася выше…
Но я о туземках. А Вы?
Как ласковы были, не слыша
материковой молвы.

*   *   *

Как гость… На сцену – под конец,
когда седины властвуют повсюду.
Я на чуток. Поговорю, покуда
вы не прошепчете «наглец».
И вправду, что я позабыл
меж звуков молодых и рьяных?
На этом свете окаянном
блажен, кто звуки не любил,
кто молча утверждал себя,
не веря призрачному слогу,
добычей украшал берлогу,
простые истины любя.

*   *   *

Когда я не был знаменит,
а это было вечно,
не поддавался зову слов,
не шёл на звук.
Ах, как заманчиво
подкрадывался вечер,
как трепетал при виде губ.

Ты будто невзначай
облизывала мякоть,
и розовый овал бесстыдно звал.
Как молод был,
как приходилось алкать –
как счастие своё не сознавал.

*   *   *

Кровь закипит,
и рифмы побегут:
одни за дальний лес
на перебранку с рощей,
другие ласково прильнут

к воде, что нехотя полощет
овалы облаков, ущербную луну,
невидимое звёзд перемещенье –
всё то, что не доверено уму,
его постылым
наущеньям.
И, возвратясь, останутся с тобой,
и от бумаги будут отбиваться.
Им не с руки считать слова судьбой,
движеньям крови доверяться.

*   *   *

Как пёс кудлатый, подожду,
пока прогонишь,
и снова – вверх и вниз,
в тропу лицом,
ну, мордой,
как желаешь –
как позволишь
в хребты уйти,
в предгория отцов.

*   *   *

Как будто всадники по полю,
как будто поле подле леса,
и непонятная неволя,
потеря к жизни интереса.

А всадники всё скачут, скачут –
и нет конца им и начала,
как будто смысл движенья прячут,
а мне его недоставало.
Не всадник тыщу лет, но всё же
и мне случались иноходцы,
и ночи в звёздном бездорожье,
и млечного пути колодцы.
Но эти всадники не наши,
и стрелы с копьями ни к месту.
И жизни выпитая чаша,
увы, теперь не подле леса.

*   *   *

Когда бы оберег от красного словца,
от праздной девы, дней пустопорожних.
Когда бы стать самим собой возможно
не только опосля стаканчика винца.
То ленность дум, то глупая стезя –
подладиться, прижиться, отказаться,
и вот уже не знаешь как назваться,

переступив все прежние нельзя.
И что с того, совсем не одинок –
век тоже поскользнулся на морали,
и красные аскеты пировали,
когда росу все клали на зубок.
Ну, спрячься за строку, ничуть не виноват,
и что изменится? Как забавляться слогом,
когда вина ночует за порогом?
Он не отеческий уже сто лет подряд.

* * *

Кровосмесительство как суть стихов сложенья,
как помесь вечного и юного вполне.
Пять тысяч лет назад излитые сомненья,
и твой повтор о собственной вине.

* * *

Когда бы не стихи о снеге,
а зáбереги-заберéги,
да льда бахромчатый припой,
да вздрог метели за тобой.
А там и вовсе одичанье.
Мороз. Бессонница. Отчаянье.
Скрип хлипкой двери зимовья,
и оторопь – там был не я.

* * *

Кто его знает, за что
жизнь отличает?
Только присядешь за стол,
потчует чаем.
Будто других не с руки.
Пишут уныло?
Тиною тянет с реки,
высохшим илом.
Встань, оглядись? Для кого
слово в фаворе?
Надобны горы врагов,
щедрое горе?
Или невинный устав,
звуков изнанка,
главное, чтоб не устал
петь спозаранку?
Кто его знает? И ты
канешь в ответах
прямо к серёдке зимы,
с краюшка лета.
Стало быть, снова и вновь,
тайна сокрыта.

Лучше себе прекословь,
жизни ланитам.

*   *   *

Какое откровение?! Когда
и с кем мы откровенны?
Когда клокочет кровь из вены
в преддверии небесного суда?
Иль трогая подол, вдыхая сны –
единственна, она твоя, о Боже?!
Но брачное недолговечно ложе,
когда мы до конца честны.
Неужто только звуков плоть,
сближенье с ними и посулы?!..
Ещё чуток, и в слове снулом
тебя угомонит Господь?

*   *   *

Когда бы версию узнать при жизни –
не истолочь, не выплеснуть спьяна –
и быть при ней, но в скорбный час на тризне
прознать, что версия давалась не одна.

*   *   *

Когда меня коснётся слава,
я обойду её лукаво.
Когда меня настигнет смерть,
я дверь забуду запереть.

*   *   *

Как невлиятельна душа,
пока потворствует устало
словам, их ставя где попало,
случайной рифмою шурша.

Ведь невлиятельней чем ты,
пожалуй, днём с огнём не сыщешь.
Ты для кого бухтишь и свищешь
среди заморской суеты?

*   *   *

Как свидетель случайный –
без руля, без ветрил,
как отшельник печальный –
чуть поодаль могил,
как листвы оржавелой
безродный сосед,

погулял,
переделав
под себя белый свет.

* * *

Канун декады. Десяток вёсен,
десяток лет, десяток зим
ты был опасен и несносен,
а попросту невыносим.
Ты разбирал себя на части,
искал несхожести рубец.
Ты позабыл, чем пахнет счастье
и даже радость, наконец.
Доколе? На второй десяток
тебя не хватит. Поделом!
Жизнь подбирает дней остаток
в подвале, в кухне, за столом.
Жизнь наблюдает и дичится,
тебя не в силах изменить.
Своей особостью кичиться?
Свои сомненья волочить?!..
Канун декады. Что же значут
кануны, сроки, жизни сон?
Иль счастлив тот, кто бодро скачет
с любым контекстом в унисон?

* * *

Когда б желанная взаимность,
молочных речек кисели,
и речи лакомой невинность
не в отдаленьи, не вдали.

Когда бы сам не дней разиня,
не пустомеля, а игрок –
не позабыл бы счастья имя,
и ласку трогал на зубок.

* * *

Каким меня задумал Бог?
Толпе в угоду, на потребу?
Иль шаркая впотьмах по небу,
скорбел, не был ли слишком строг?

* * *

Кличка «Шекспир». В опьянении страшен.
Жаждет стихи через ночь напролёт.
Что ему Стратфорд, приличьем окрашен?
Или к безумию вечное льнёт?

Трезвый ни-ни. Мимо губ, мимо взгляда
жизнь, потому как сплошная игра.
Кто он, Шекспир? По какому раскладу
вырвал стихи из страданий нутра?
Кличка… Кулак… Ожерелья наколок…
Синий «Восход» и высокая речь?!
Тысячи трезвых привычных уловок
душу не в силах предостеречь.
Вот и на Стратфорд ложатся рассветы.
Милые граждане честно сопят…
Жил-был Шекспир. Обольщался сонетом.
Слышали, тоже не очень был свят.

*   *   *

Лишь ожиданье справедливости,
когда перо скрипит впотьмах,
и отлетает света страх,
и в богоявленной болтливости
восходит притчею в словах.

*   *   *

Лишь рвение моё необъяснимо:
ни аравийского вина,
когда душевная теснина
в потёмках жидкости видна,
ни веры истинной –
всё истинное скучно –
мне приблизительность милей,
ни даже девы простодушной –
случайной, праздной, не моей…

Ах, да – обида на пространства,
где был взращён вполне всерьёз –
в тисках словесного шаманства
и лубочных святых берёз?
Неужто рвение оттуда –
от безоглядности лесов,
от странности простого люда
творить добро без лишних слов?

*   *   *

Меняю гнев на милость.
Осталось гнева мало.
Мне ты давно не снилась –
размолвки да усталость.

Раскидываю руки –
совсем не для полёта.
Меняю гнев на муки –

они давно без счёта.

*   *   *

Молчи, пацан!
От седины не спрятаться.
Пилюли хороши,
да кто поймёт,
что надо к вечности
с пелёнок свататься,
иначе мимо рта
иллюзий мёд.

*   *   *

Маркировка – 37…
Маркировка – 38…
Я помешан не совсем,
но зациклен на вопросе,
для чего мы рождены,
с родинкой промеж лопаток,
если не было войны –
если брат пошёл на брата.
Всякий стал – навскид один –
вырван из гнезда, оторван…
Как добраться до седин
с этим страшным приговором?

*   *   *

Сыну

Мы ещё вернёмся к разговору,
что понятно в этой жизни и когда
проявляют неподкупный норов
странные «теплушки-поезда».

Всё открыто в них, и всё как будто
жизнь ещё даруется не раз…
Шли одним единственным маршрутом –
на войну, на смерть ненапоказ.

*   *   *

Мне некого любить. Страна ушла в кусты,
в подвалы, где не имут света.
За десять лет не дать поэта –
не пригодиться для мечты?!
За десять лет не испросить
хоть малой искры для надежды,
и плоти «белые одежды»
в кладбища без конца носить?!

Нет войн?! Когда б на них списать –
на пращуров все наши беды,
на татарву в четверг и среду,
или царя дурную знать.
Да, полно… Не искать вину,
и виноватых не лелеять.
В Россию можно слепо верить,
когда Поэты на кону.

*   *   *

Памяти отца

Мы стали фотки получать,
смотреть на них взамен обеда,
и все пытались примечать,
мол, замаячила победа.
И не было вкуснее глаз,
улыбки незнакомо-шалой –
он ободрить пытался нас,
и поменял на звёзды «шпалы».
Но много-много лет спустя
он оставался незнакомым,
войне обиду не простя,
отлучку долгую из дома.
Так отвыкают от себя,
от мирной нежности, от взгляда,
сполна от смерти пригубя,
и зная, смерть таится рядом.

*   *   *

В.Павлыку

Мне не с кем поделиться,
припомнить и доверить –
немыслимо, неужто
я в лямке был одной
с ватагой бесподобной,
вдали от всех америк,
и властвовал, годами
не чем-нибудь – тайгой.

Беру ль письмо коллеги –
иные очертанья.
Внимаю тесным строчкам –
куда мы разбрелись.
Я с Вами! Я мечтаю:
таган и дымный чайник,
и впереди – не где-то –
единственная жизнь.

*   *   *

Мне нужен не успех в игре – сама игра,
нелепая, из слов, из недомолвок.
Мой век, как не тяни, весьма недолог.
Не доглядев удачу, я умру.

Но ты не смей роптать. Игра права.
Она то слева обойдёт, то справа.
Лишь для неё важна строки оправа,
как для меня – забвения трава.

*   *   *

Но только преступив черту,
потерю чуешь.
Так угли пахнут за версту,
когда ночуешь
в стогу, погибельно примкнув
колени у горлу…
Я преступил. Я разомкнул
души опору.

*   *   *

Но только сбои, аритмия,
предсердий скрытая возня,
дознаются, кто мы такие
день ото дня,
зачем выводим в люди буквы,
и строчки под характер гнём,
и тут же умываем руки,
и слёзы льём.

*   *   *

Не снимут семь печатей с уст твоих
ни исповедь рабов, ни песнопенья вольных.
Одежды белый снег остатку дней не мил,
настолько оплошал… Тебе и лжи довольно.

*   *   *

Но в табеле о рангах – надорванной манжетой.
И мнимою заслугой лоснится воротник.
Ты прикипел к бумаге. Седьмою частью света,
назвал её в запале один слепой старик.

*   *   *

Не возвратиться побеждённым –
всего лишь пасть,

средь стен, лопатою лощённых,
в могилы пасть,
и до поры, насколько сможет
планета плыть,
в ней растворять лохмотья кожи
и строчек прыть.

*   *   *

Не убояться слова своего,
не потому что сам подсуден,
а просто в преступленьях буден
что делать будешь без него.

*   *   *

На каждого по тазику, но иногда нехватка,
и тут же вместо праздника – недетская печаль:
скорей бы этот дяденька споласкивал лопатки,
пусть даже там наколка «попробуй вдарь».

Ишь, размываться выдумал! Да, я бы за минутку…
Дегтярное – с горчинкой, но сладко для волос…
Мне вспомнились не в баню воскресные маршруты,
а то как незаметно на них сменился спрос.

*   *   *

Ну, что ж, подозревайте,
авось отвечу дерзко:
«Не русский! Так и знайте.
Мне Ваши мысли мерзки,
когда ты из пелёнок
сибирского придела –
обычный пострелёнок,
веснушчатое тело.
Ну, где моё чужое,
в каких поползновеньях?..»
Я сам не знаю, кто я,
и в чём моё везенье?

*   *   *

Никто не явится во сне, не озаботится.
Лишь скрип рассвета, в башмаках не с той ноги,
поднимет, вызовет на бой с постылой плотью –
пусть позавидуют враги.

Я этот свет не выбирал. Случайность встречи,
незванность слов – бормочут ни о чём.
Рассвет, куда ты? Погоди! Нагрянет вечер.
Я не во сне узнаю, что почём.

*   *   *

Ну, чем не пиррова победа –
пирую, в смысле, без обеда:
наспех возникший таганок,
да чай густой, да костерок.

Налево – облаков причуды,
направо – синева покуда,
да подо мной, понять пора,
от злата пухлая гора.

Иначе, что нас в даль погонит?
Кто злато в жизни проворонит?
Вот и храню златые дни:
гора и небо – мы одни.

*   *   *

Памяти М.Поповского

Не вскоре умирать, а тут же.
Не поздно умирать, а рано,
пока идеями нагружен,
как всякой всячиной карманы.

И даже там, где жить не можно –
чужое в росписи полудня –
уйти весной неосторожной
в те – незасчитанные – будни.

Так вот они к чему апрели,
пошто тепла не додавали?..
Уйти – сквозь праздники недели,
чтоб жившие негодовали.

*   *   *

Не варвары стремглав – мы им открыли двери.
У нас самих от варварства беда.
Давно, казалось бы, не звери,
да не боимся совести суда.

*   *   *

Ни времени на выбор, ни перста –
всё указует, но, по счастью, мимо.
Зато всегда как с чистого листа –
неправильно, неласково, гонимо.

*   *   *

Надень любимое платье –
не трусь.
Задумай словечко на счастье –
вернусь.
Взбей волосы выше,
чтоб лучше увидеть с земли –
я к ней припаду,
только б ты замелькала вдали.

*   *   *

Не очень честны дневники,
не очень честны.
То память выпятит себя,
то – с глаз долой
того, с кем воздухом одним
дышал в палатке тесной,
и укрывался холода полой.

Не буковки правы.
Не памяти пороги,
а помыслы –
так были мы чист.
И потому, кто вёл дневник?
Конечно, ноги,
пока им лестны были
дальние хребты.

*   *   *

Ну, ладно. Ну, и пусть.
Потешились и баста.
Ни томиков тугих,
ни глянцевых листов –
всё сунете в костёр,
коль пламени подвластен
безумный спор.

Ну, ладно. Ну, и пусть.
Не вышел, так не вышел.
Я распевал, не спрашивая Вас.
Когда б слова,
ниспосланные свыше,
а не предтеч
посильный пересказ…

*   *   *

Не столько равноудалён, скорей, в дали приближен
к познания себя на прежнем берегу.
И мнятся мне не звёзды над Парижем,

а колкости норы в приподнятом стогу.

Сентябрь. Чего робеть? Звёзд выпало до чёрта.
Ты молод. Даль не видится во сне.
Лишь сено колется. ХБ второго сорта
не греет, как пристало на войне.
Ты тоже удалён – сибири, забайкалья,
но приближён к себе – того хотел.
Не наперед умён – каменья в горы звали,
и ты им отказать от встречи не посмел.

* * *

На донце. На солнце. Уже пригревает неделю.
Куда-то умчались метели, растрескался лёд.
И ты оживаешь, но только слегка, еле-еле.
Как будто твердят – не твоё, проворонил черёд.

И ты среди донца, на крохах, на жалких остатках,
и корни пускаешь, и будто по небу летишь –
весна как весна, понимаете, есть неполадки,
но как-то живёшь, и о сущем, как прежде, молчишь.

* * *

Над этим тупиком не облако,
и гриб на ножке –
клубится, будто тянет вверх,
а понизу не люди – головёшки
в подолы ловят чаянный успех.

Над этим тупиком тугая бездна –
черна, бесстрастна, ни словца,
а понизу – амёбе, одинокой, бледной,
дарован шанс всё повторить с конца.

А нам какой расклад? Скользнуть меж тупиками.
Простейшее пригреть – цвети и пой?
Иль к слову подгребать усталыми руками,
пока не мёртв сознанья перегной?

* * *

Невиданная почесть –
запретное прочесть,
мелькнувшей жизни повесть,
души дремавшей весть.
И там, где был неправым,
опять погоревать,
не жалуясь на нравы,
на вражескую рать.
А если вдруг случится,

что иногда был прав,
не больно загордиться –
итог лукав.
И почести, и слава
случайной правоты –
бесплодная отрава
у вечности черты.

*   *   *

Намёки лжи нескладной
с налётом слов постыдных.
Ты говори: «Не надо!»
Мне будет не обидно.

Ты говори: «Пожалуй!»
Я отворю заплоты…
Намёки лжи лежалой
с налётом позолоты.

*   *   *

Не всё ль равно, как уступают пальцы,
как строчки оседают подле их?
Ты будешь в шкуре вечного скитальца
меж слов своих.
Твоя Голгофа будет неприметна,
и крест невидим – так тебе дано.
Снаружи только времени наветы.
Не всё ль равно?!

*   *   *

Но если в драку нос не сунуть,
то слабосильные слова,
как пену можно будет сдунуть,
а им по нраву жернова,
и тяжесть, и шершавость звука,
и непокорное зерно,
растёртое в муку сквозь муки –
иного слову не дано.

*   *   *

Наутро встать и ужаснуться.
Какого ляда ранний снег?
Он мог за городом опнуться,
лечь на просёлках меж телег,
на избах выказать удачу,
на шапках заспанных селян.
Он всё теперь переиначит,
и выгладит любой изъян.

И даже в улицах белённых
найдёт графическую стать…
Когда бы мне к словам казённым
его масштабность подверстать.

* * *

Не всё ль равно, каким был след,
и где походка подводила.
Да, сед! Всенепременно сед.
Иных природа упредила,
подставив юными под нож,
иль взрослыми – в Гулаги…
А ты к сединам нынче вхож,
и нет былой отваги.

* * *

Ну, что ж, мой друг,
диктуя бодро,
не упивайся, что попал
в ряды рабов,
с изнанкой гордой,
на вечности лесоповал.

* * *

Не изумят ни день печальный,
не листьев ломкая строка,
а ниц упавшая рука
и голос, давешний, печальный –
его открытость, слабина
и бесконечная надежда,
как будто может быть как прежде,
и отлетит моя вина.

* * *

Ни в удалении из леса,
ни в приближении снегов
нет многодумья ни бельмеса –
«вертушка», сели, был таков.
Но одиночество в безлюдье,
огляд на маковые гольца,
рождали, нет, не словоблудье,
а просветление лица.
И было в том душе подмога –
коль живы будем, вспомянём
пространства поднебесий Бога,
необозримый окоём,
а коль помрём, то удаленье
из жизни, из её лесов,

ничто, коль испытал томленье
вне многолюдья голосов.

* * *

Но скудность позднего тепла всего дороже.
Тебя тропинка завела на взлобок ложный.
Пригорка сладостная спесь, закраек леса,
и солнца ласковая взвесь, с тепла завесой,
тебя на миг заворожат, дадут надежду…
Не поздно ль жизни возражать, как было прежде?

* * *

Но чем утробнее подвал,
тем до тщеславья ближе.
О, как в нём воздух воровал –
вдогон парижам,
как выворачивал себя –
даёшь Воронеж…
Лишь чернозёмья полюбя,
себя обгонишь!
А я с подзолом, я на нём
взращён и брошен
за иноземный окоём,
в асфальтов прошвы.
И надо было возражать,
что было силы…
Мы от себя вольны бежать –
к своим могилам.

* * *

Неторопливы облака.
Кусты недвижимы и сонны.
И на воде, вполне зелёной,
«усы» проплывшего чирка.

Ещё непуганный сентябрь.
На солнце смотришь без вопросов,
и где-то прячется за плёсом
зимы коварной инвентарь.

Куда уплыть? В какую даль?
Земля нигде не станет пухом,
пусть даже вслед ласкает ухо
родного языка печаль.

* * *

Не смей к моей могиле подходить!
Я всё былое оставляю здесь.

Не смей к словам досужих приводить!
Я выбрал спесь.

Спесив донельзя. Где мне уступить?!
Себе назло!
Не смей за мною вслед из жизни уходить!
Мне повезло.

*   *   *

Но если вымолю, живи,
кромсая звуки,
а если выскользнут, лови
слова разлуки,
и горечь новую признав –
своя, а как же –
уйду, ни разу не сказав
о главной краже.

*   *   *

Памяти отца

Не приведи, Господь, в ней задержаться –
приникнуть, затаиться, обмануть –
и за кусочки вкусные сражаться,
и от маразма сметного хлебнуть.

Да, лучше тромб, его в потёмках поиск –
аорту милую в сужении бери,
и завершить непонятую повесть,
себя лишь бесконечно укорив.

*   *   *

Памяти мамы

Но сумерки всего дороже.
Так искренне ложится тьма
на крапчатость пожухлой кожи
и вязь невнятного письма,
что даже варвару неловко
спугнуть предчувствие конца
и непонятные обмолвки
ещё не стылого лица.

*   *   *

Наши не победят?
Наши непобедимы!
Суть неисповедима –
мёд на устах или яд.

Слова единого плоть
в горести или надежде
нас утешала прежде
больше чем хлеба ломоть.

Мёд на устах или яд
стали неразличимы.
Наши непобедимы?
Наши не победят.

*   *   *

Не до прочтенья мыслей.
Навскид даётся счастье.
Теперь и ты расчислен
по ведомству «ненастье».
Не пожалеют порох.
Не выстругают доски.
И там, где веток ворох,
закончишь век жидовский,
похожий иль отличный –
для знатоков утеха –
с графою неприличной
для зримого успеха.
По сути, может статься,
и ты бывал несносен,
пытаясь вглубь соваться
чужих по крови сосен.
Они-то оказались
лишь грозными снаружи.
За фалды не цеплялись,
не тыкали «не нужен».
И ветки разнимая,
вместят твою могилу,
нисколь не понимая,
за что, ты был немилым.

*   *   *

Не первым планом, не первым –
на первом всегда рысаки –
прорвётся на дальних – по нервам,
по линиям смертной руки.
И там, где всем планам отставка,
меж холмиков липкой земли,
приляжем на вечности травку,
от жизни рысистой вдали.
Зачем эти гонки? Откуда
на первые планы наезд?
Мы вскорости жизнь позабудем.
Нам думать о ней надоест.

И будет по жилам, по нервам
скользить облаков благодать,
а жалких надгробий фанера
скрипеть и в веках пропадать.
Чтоб позже, в последнем безлюдье,
над гладью притихшей земли
лишь гром громыхал при простуде,
а дни безотчётно текли.

*   *   *

Памяти отца

На бруствер лёг, травинку закусив.
Чем не мишень твоя пилотка?
Я вижу, ты отчаянно красив
и ценишься в санбата околотках.

Их будет много брустверов и трав,
но смерть подстережёт незряче и нелепо,
чтоб уберечь погибельный твой нрав
от эмигрантского вертепа.

*   *   *

На ближних галерах – холера,
на дальних галерах – чума.
Я думал, судьба – это мера
бесславного схода с ума.

Я думал, от правых сокроясь,
у левых подманит уют.
Холера колотит по пояс.
Чума – ниже пояса бьют.

*   *   *

Не еврейский начальник – хорошо или плохо? –
Проворонил не шутку – налёт на эпохи,
На историю в тысячу лет и поболе:
полагали – свободу, обретали – неволю.
Не еврейский начальник – мальчонка с разъезда,
у маньчжурских границ, у читинских подъездов,
где мне вспомнить о встрече во граде библейском,
если «высшею мерою» быт офицерский.
Но, ни много, ни мало, жизнь сегодня в остатке,
и, казалось бы, надо пожить без оглядки…
Не еврейский печальник, но стал тугодумом –
как своё наскрести в этом мире безумном.

*   *   *

Но, осень, осень! Страсти красок,
пространств безудержный накат,
сродни твоих раздумий сказкам,
но откровеннее сто крат.

И нет ни капли в них утехи –
одни кровавые листы.
Ты думал, что от них уехал.
Но, видно, ошибался ты.

Как ошибаемся мы скопом,
и в одиночку, и поврозь,
грозя утраченным европам,
и азиям утёрши нос.

*   *   *

Не выйти мне из этой передряги.
Добром не выйти.
Когда б из фляги
глоточек выпить,
и в ту палатку, спальник ватный –
хребтов чертоги…
Не выйти мне. Давно понятно.
Умом убогий!

*   *   *

На ложе твоём алебастровом
искушенье великое.
На глади твоей неразгаданной
счастья холмы.
Стар понимать.
Окликаю беззвучными кликами.
В белых бумагах молю
искупленья вины.

*   *   *

Ну, подползай туман.
Не слишком ли усерден?
Нас сверху даже Богу не видать.
И вертолёт, обещанный намедни,
не станет солнца дожидать.
И письма, редкие итак,
совсем прокиснут,
пилоты кинут под себя,
и кожей ласково притиснут,
твои сомненья оскорбя.

*   *   *

Не только белая пороша,
не столько чёрная тоска.
Не будем нынче о хорошем.
Пройдёмся лучше вдоль леска.
Вот у него одна забота –
свои опушки устеречь –
бегут деревья в даль… Охота
им кроны лишь для нас сберечь?
Не в помощь мы. Свои набеги
на берег дальний, на себя
мы носим в душах. Месяц пегий
возник на небе, свет цедя.
Пора назад, в мечты приделы, –
в фанерный заграничный дом…
Снег гуще. Он как прежде белый.
Ему ль не бегать за кордон?!

* * *

Но зрак раскосого монгола
нет-нет, да выплывет из снов –
из дали, где ходил я в школу,
где для меня был отчий кров.
На лаковый клинок Аргуни
он опирается пока,
и благосклонным полнолуньем
пьянит полночная река.
Безусый. Скул степных румяна
ещё улыбчивы. Бог мой,
как станет бесом окаянным
его кочевий непокой,
как выстудит покорных избы,
а возразят – испепелит…
Монгол, но ты ведь не был изгнан,
не знал, что даль не исцелит?

* * *

Памяти Ю.Д.

Один был даже с кошёлкой –
книжка на пару с кефиром.
Один был даже случайным –
роман-то он написал.
Что было потом, известно.
Он так и остался задирой,
и вместе с суетной славой
скоромного он не едал.

А бывшие, а «генералы»,
и нынче кудрявы и звонки.
Теперь и они горазды –

кроют почём и зря.
…Один был даже с кошёлкой,
стоял в отдаленьи, в сторонке,
и кто бы посмел подумать,
какие за ним лагеря.

* * *

О, этот беспричинный рокот,
за тыщи вёрст одушевлённый,
напоминание, что где-то
моторы вместо сбитых ног,
а ты, подброшенный в каменья,
бродяга – вовсе не учёный,
пытаешься вкусить от тайны,
в которой растворился Бог.

Его б сюда, в тьмутаракани.
Хребты, в распилах и распадках,
блуждают, сцеплены и слиты,
ни для чего, за просто так.
Они забрались прямо в небо,
и там с тобой играют в прятки,
то в облако ныряя с ходу,
то падая в долины мрак.

Но этот беспричинный рокот.
Всё явственнее он, всё ближе.
И никому уже не мнится –
армада века мчит в тайгу.
Куда нам? Где защита Бога?
Я до сих пор в смятеньи вижу:
к ручью бросаются палатки
и застывают на бегу…

* * *

Он был ещё не мастер.
У мастера что важно –
держать головку гордо,
и дуть в души свисток,
а если не услышат,
кораблик брать бумажный
и уплывать подальше –
на север, на восток.

А он пытался верить,
что нужны, что прекрасны
и тот, кто не услышит,
и тот, кто не поймёт,
и размышлял ночами
на стареньком матрасе,

всему приходит время –
надежд черёд.

И Время рассудило…
У Мастера что важно?
Конечно, не головка
и вовсе не свисток –
душа, её терзанья
на листике бумажном,
и высохшие слёзы
между нетленных строк.

* * *

Памяти А.Михалевича

Он палец послюнил, и ветер стал своим,
теплей ни-ни, но всё же интересно –
откуда ветер тучи наслоил
и почему нам между ними тесно.

Припали не к вершине, сразу к нам –
к трём тощим рюкзакам, к трём исхудавшим лицам.
Я вспомнил детский жест – его хозяин там,
где ничегошеньки не снится:

ни каменной реки замшелый ход –
давненько протекла, на глыбе глыба –
ни ветер среди туч, поверх любых погод,
ни даже собственная гибель.

* * *

Памяти Ю.Д.

Осип Гедальевич! Будьте покойны,
выстоял, не уронил,
даже когда в окруженьи конвойном
сущность породы хранил.

Осип Гедальевич, знали б цыгане,
кто им набился в родню.
В этом наивном и детском обмане
музу его извиню.

Нужны слова, правота «факультетов»
или обрыдли совсем?
Мы на другой половинке планеты –
вне надоедливых тем.

Нас то и дело – то в трусы, то в святцы.
Каждый – Голгофу свою!

Осип Гедальевич! Трудно скитаться
даже в заморском раю.

* * *

О мёртвых лгут иль гладко правят –
приблизить… Лучше б оттолкнуть!
И что с того, года убавят?
Как будто легче станет жуть?!

И что с того, коряв иль гадок,
когда вокруг жирует червь?
Пусты глазницы. Ты так гадок!
Ну, что исправите теперь?

* * *

Опять не вовремя труба.
Опять не вовремя.
Четыре стороны, и звук утёк.
А дверь притворена.
И всё в душе притворено.
Или опять не тот извлёк?

Опять не вовремя слова.
Опять не вовремя.
Здесь шум и гвалт. А ты куда?
К чему кричать?
Мы все безумно хороши,
но все поссорены,
как будто крики научились привечать.

* * *

Отпускала непрочитанным.
Было дело, не вернёшь.
Для себя писал – испытывал,
думал в буковках хорош.

Вся исхожена, истоптана
доморощенной кирзой.
Отпускала, ножкой топала.
Только я давно не злой.

Сам загадывал-догадывал –
знал, назад не прибежать.
Значит, всплыло чувство стадное.
Значит, «за бугром» лежать.

* * *

По немощи речей я, видно, первый.

По седине строки, опять же, впереди.
Но что с того?! Ещё влекут химеры,
и буковки клокочут средь груди.

Кто прошлому скормил себя, пусть ропщет.
Кто сходу всё забыл, живи и пой.
Мне, с вечною тоской, в вагоне общем
забиться в угол – всюду волком вой.

*   *   *

Подстерегут меня, я не послушаюсь.
Высоко небо. Им откуда знать?
Ты знаешь истину! Ты умных больно слушаешь.
А мне вне истины ответ держать.

Проходишь мимо – здравствуй – не обрадовать.
Уходишь в полночь – кто-то жадно ждёт.
Ты знаешь истину! Я спрятался в парадное.
Небось высоко небо – видно, кто идёт.

Нам выбраться куда б, оставить прошлое –
начать, продолжить и опять начать.
Ты знаешь истину! Мне помнится хорошее.
Тебя увижу – как не закричать.

Вон там! Ну, выше! Небо сине-синее,
да с жёлтым солнышком попутный ветерок.
Ты знаешь истину! Тогда спроси её,
как мне приблизиться и пасть у ног.

*   *   *

По сути, лишь один конец печальный,
все прочие – преддверие, подсказ,
будь ты семи пядей, и слог исповедальный,
но нужен ты словам один, всего один лишь раз.

*   *   *

Предлагается осведомительство.
Лист бумаги – осведомляй,
то ли ближних, то ли правительство,
где, чего в тебе через край,
по какому такому ведомству
ты намерен в безвестности жить,
не в итоге словесной бедности –
просто ближними дорожить.

*   *   *

Поезд силком забирался –

Яблоно́вый хребет –
фыркал, кряхтел, озирался –
виден кому или нет.

Нам же, бродячим и пешим,
было глядеть неспроста
на разносолы евших –
на ресторана уста.

Кашка иль, там, макароны
после давались навзрыд.
Где он, соблазн вагонный –
стол хрусталями накрыт?

Даже костёр виновато
шмыгал, ругался, сопел.
Легче маршрутить, ребята
там, где Макар не велел.

* * *

Прощай, таган, копчёное ведро,
рогульки, вбитые по пояс,
и таборщицы спелое бедро –
о юности не беспокоюсь.

Прощай закат в палатках, сквозь брезент,
и чёрточки хвои, и ловкость Хокуссаи,
и снежной Фудзи дикий континент,
на север вытесняемый Китаем.

Прощайте! Позабудьте обо мне.
Пусть новые любители рассветов
и чая в осторожной тишине
продлят махры заветные кисеты.

* * *

Памяти В.Ш.

По выдуманному жили.
А надо б…
Всё вровень пытались.
К чему?..
А он улыбался надсадно,
прожив вопреки –
неповадно (!)
и знал,
с чем едят
Колыму.

*   *   *

Простор распахнут для диктата,
как лист бумаги голубой,
и облаков далёких вата
греха не видит за собой.

Они очистили пространство
небес… Но ниже – чудеса:
горящей осени убранство
зажгло окрестные леса.

Не хватит слов, не хватит дара,
чтоб краски буйные расчесть –
там охра и кармин напару,
здесь ржаво-золотая смесь.

И ты в согласье с диктатурой –
неужто вольно средь свобод? –
внимаешь, мчишься на натуру,
от счастья раздирая рот.

*   *   *

Приюту одиннадцати

Полное сумасшествие.
Медленность рюкзаков.
Вечных снегов восшествие
к уровню облаков.

Выше луны Высочество,
мёртвая желтизна,
гордых вершин количество –
каждую должен знать.

Лишь на себя похожие,
кто их сюда вознёс?
Нам ведь дано изножие,
малый – по росту – спрос.

*   *   *

Д.Х.

Пара беспечных абзацев,
прорва забытых ролей.
Я не спешил признаваться,
Вдосталь ли мысленно с ней.

Только намедни услышав
песни из дальних времён,
плакал, как плачут убивши

главное в сердце своём.

*   *   *
Пред совестью пройтись разок, не более,
в глаза взглянуть – обычные глаза.
Чего она, безумная, позволила
нас, многомудрых, повязать?

И отойти. И крикнуть весело:
«Ну, безупречная, достань,
и жизни беспардонной месиво
с моралью смутной прикармань!»

*   *   *
Подобно всем апологетам
с повтора начинает лето –
с позеленевшего лужка
и ошалевшего Дружка.
Уже не юная дворняга
отходит дальше чем полшага
иль норовит совсем убечь,
нет, чтоб хозяина стеречь.
Приходит лето с громом вместе,
с рукоприкладством, честь по чести,
с прелестной свежестью дождя,
над домом разговор ведя.
Потом на взгорье, смеха ради,
взмахнёт уверенно, не глядя,
и чудных радуг ворота
подскажут, жизнь твоя проста.
Паси Дружка. Люби соседа.
Ходи в потёмках на беседы
к другой соседке и спьяна
пообещай, что вся Луна
немедленно, всенепременно
теперь при ней… При чём колено?
Ну, просто к слову… Ну, рука
Ещё невестится пока.

*   *   *
Прощай, престол!
Сидельца ждут дела,
иные толпы.
От совести, отмытой добела,
не будет толку.
От дней, растраченных зазря –
а где иные? –
пусты листки календаря,
года сквозные.

Ты на престоле или нет,
рассудку важно.
Но можно бросить
в цвете лет
укор бумажный,
иначе жизнь истолковать,
не слова ради,
и никому не открывать
свои тетради.

*   *   *

Памяти родителей

Расстрельный времён дитятя,
напрасных надежд судия,
я трогаю мамино платье,
а впрочем, совсем и не я,
а русый остриженный мальчик,
с доверчивой круглостью глаз.
Что с ним приключается дальше,
неведомым будет для Вас.
Лишь мама – уйдя от расстрелов,
от жадных карательных рвов –
дозналась, чем кончится дело,
как я попаду между слов.
Но сам он собой не отгадан,
лишь книжки берёт на постой.
А рядом Победы парады
с бессмертной отцовской рукой.

*   *   *

Рано или поздно надоест.
Лишь в полоску сирый переезд
поманит в степей тартарары –
в детства маломерные дворы.

Заглянём! Откуда, что бралось,
бегалось и в цепочку, и врозь?
Как мечталось?... Бог ты, дальний мой,
как молила мать: «Пошли домой!»

*   *   *

Своею смертью не желавший
почить, и в хоре позабытом
зевать и дуться на регента,
как будто музыка его.

Своею смертью не сумевший
унять, что в сердце было скрыто,

и в жизни, нет, не разобравши,
и не понявши ничего.

* * *

Сойдёт ли ягода, крыжовник ли поспел,
начало ли конца, нетвёрдый да упрямый?
Какая блажь?! Да, лучше б не посмел
ходить по ягоду в словесные урманы.

Был бессознательным! Лишь это объяснит
и скопища бумаг, и водопады строчек.
Они переписали мой нехитрый быт –
непраздничный, чернорабочий.

* * *

Суть гения не мысли, а восторги
от мирозданья – простота! –
и веткой на просёлочной дороге –
все формулы, «от носа до хвоста».

Но не бежать от счастия в аптеку,
а формулы перечеркнув,
прозреть – не нужно человеку
знать, как Создатель обманул.

* * *

Свечи изогнутой нагар,
перо иного века.
У классика не больше рук,
но вечная строка.
Предугадать ещё когда
ничтожность человека?!
И, мне нисколько не смешно –
прозренье дурака.
И я, открытием смущён,
смещён в тьмутаракани:
хребет один, хребет другой,
палатка посреди –
предутренний поклон свече,
коль снег, сентябрьский, ранний,
ложится Курскою дугой,
дорогу преградив…
Мы все нигде! Неровен миг,
вдруг станем горделивы.
Что от того, ты убежал
на дальний континент?
И там нежданные снега
придут, нетерпеливы:
«Ничтожен! Ты везде дрожал.

А страха в смерти нет».

* * *

Стряпчий иноязычный,
денежек шелкопёр,
что тебе гам языческий,
слово «под дых» – в упор?
Что тебе гения муки,
Пушкина голизна?
Время – под белые руки,
доброго не сказав.
Вот оно рядом с меркой –
здесь был задирист, зол,
стряпчей толпы проверки,
знают, почём резон.
Зла своего не заметя,
гения носом ткнут –
кровью пускай ответит,
может, вдогон воздадут…
Стряпчий иноязычный,
часом ли ты не того?
Гений в обиде не тычет –
выше Творца самого.

* * *

Стояла осень.
Дни текли льняные,
каких нам и доселе не избыть,
и от прозрачности –
несчитано сквозные,
леса парили –
так тому и быть.

Ты на престол взводил
простых людей надежды,
и дальнего хребта
белёные зубцы.
И хоть на миг сам
становился прежним.
И не были виной всему отцы.

* * *

Детям

Спасенье – сын и дочь!
Вернут строку,
в свои сердца войдя
по буковкам, по звукам.
И эта запоздалая наука

дороже всех богатств
и самого тебя.

* * *

Стихи не бросили меня куда попало,
не скрылись с глаз,
лишь дали знать, что будет их немало
в недобрый час.

* * *

Сначала вычитал, потом кавычил.
Итоги ужаснули. На нуле
достоинства проверенных привычек,
умение скитаться по Земле.

И что с того, палатка дыровата
и спальник окончательно промок?
Сам, милый, виноват! Своей души заплаты
зачем-то в край заморский поволок.

* * *

Спасибо за воздух ночного посола,
за перистый почерк пугливой зари,
за слово, которое тянется к слову,
хоть кровь отвори,
за день, обожавший румяные звуки,
и вечер, уставший от скрипа шагов.
Спасибо за почерк, за светлые муки
незримых Богов, неприметных Богов.

* * *

Свидетель, выйдите! Упруго стонет дверь.
Сомкнутся створки неба и земли.
Куда ползти? Куда скользить теперь?
Эпохи до бесстыдства довели.

Я прошлое напрасно уволок.
Сомкнутся створки тела и души.
Когда б любить хотя бы подлый слог…
Хотя б копить за пазухой шиши…

* * *

Себя почувствовать как дома
и броситься наперерез
дорожке в рытвинах знакомых,
двери в обшарпанный подъезд.
И вновь пересчитать ступени.

И сбиться будто в первый раз.
И надо же, и тем не менье,
не отводить счастливых глаз.
Здесь всё осталось неизменным.
Да в этот маленький глазок
ты видел, как отец степенно
звонил разок, ещё разок.
И, отворяя дверь навстречу,
ты знал, надёжней в жизни нет,
чем эти праведные плечи
и немудрёных слов привет.
И позже, натыкаясь всюду,
на метки милого жилья,
завыть – и не смолкать, покуда
не оборвётся жизнь твоя.

* * *

С утра спешить выгуливать овсы,
потом во ржи искать прохладу –
до вечера, до звездопада
тянуть колосья за усы.

Но в полночь, к плоти охладев,
уставиться в провалы неба.
Довольно о насущном хлебе
ты в праведном поту радел!

* * *

Свистки пронзительны.
Находчив паровоз.
Он сходит с рельс,
чтоб оставаться дома.
Здесь шпала каждая знакома,
и светофор с тобою рос…
Куда же ты? В таких годах
не в путешествия снаружи…
А здесь вокруг родные лужи,
ты с каждой до конца в ладах.

* * *

Себе подлить елея?
Мучительно и поздно.
Когда душа немеет,
встают закаты грозно,
и память обнаглеет,
и никуда не деться…
Себе подлить елея,
и с подлой жизнью
спеться.

* * *

Сейчас так поздно.
Ты давно видна
не только снам
на перьевой подушке,
но даже облакам –
повисли для просушки,
пока благоприятствует луна.

И ты благоприятна
для надежд –
всё плотское унять
в себе навечно,
и старичка,
писавшего беспечно,
не пропускать
под таинство одежд.

* * *

Сидеть под Севером российским,
оглаживать рукой Сибирь,
и стать невыразимо близким
всему тому, где даль и ширь.
Ведь не бывает и не будет
огляда больше чем тогда
средь скромного покроя люда
и в небогатые года.
Что было после, извинится
или полынью прорастёт
как газимурская станица
без жителей из года в год.
Мне бы вернуться хоть на понюх
разочек самосад курнуть,
припомнив как талдычил конюх,
разоблачая праздных суть.
И я, чуть надо мной разъяснит
богатый заграничный смог,
представлю звёзды, полночь, прясло
и свой истерзанный сапог.

* * *

Памяти Б.Рыжих

Сполна от жизни пригубил,
её подъездов, лесопарков,
где пьют с душой, не по запарке,
совсем не из последних сил.
Стаканов колокольный звон,

«агдамов» тёмных, поллитровок –
пьют из горла, здесь всякий ловок,
и всякий помнит свой резон.
Он в пьянстве! Трезвые умы
грохочут пушками повсюду,
бьют что есть мочи не посуду,
и не казнятся от вины.
А тут, ну, в рожу, ну синяк
от благосклонного удара.
Вовнутрь пурпур «Солнцедара»,
снаружи – синее. Ништяк!
Но ты-то, Борька, Борькин сын,
знавал поверх стаканов слово,
его небесную основу.
Ты Бога в помощь не просил.
А он не раз шептал: «Сынок!
Мы встретимся. Не будь поспешен.
Пиши! Пусть будешь безутешен.
Утешность не рождает строк».

*   *   *

Сады пусты до невозможности.
Всё перечёркнуто. Кранты.
Средь кривизны ясновельможности
низкопородные кусты.
Им тоже пусто. Жизнь потрачена
на лета плод, на чёрт-те что.
Увы, нам суть не обозначена –
укутана в тепла пальто.
Зима грозит. А наши корысти,
извечные, из года в год,
подать тепло в прописок волости,
да вкусность – в ненасытный рот.
А дальше? Дальше неизвестное.
Ты дерево иль только куст?
Когда б ещё слова прелестные
ронять хоть изредка из уст.

*   *   *

Памяти И.Б.

Сопротивленье при аресте
листков – в отметинах подошв,
и буковкам укажут место
в централе, где цена им грош.

А сам «убивец», метр с кепкой,
куда как сноровист на слог,
теперь хозяин строгой клетки,
под марши кирзовых сапог.

Но дело ни в кирзе, ни в небе,
сквозь прутья сунувшем кусок,
а в буковок насущном хлебе,
не видном сквозь дверной глазок.

*   *   *

С окраин звуки начались. С окраины –
вдоль шелеста, но скрипу невдомёк,
от клёкота ручья в тисках проталины
рождался рифм неутомимый лёт.

Уж как истрёпаны они, уж как исписаны,
но вновь и вновь ловцов не перечесть.
Какие истины? Вы ожидали истину?
Вам надобно в себе её расчесть.

*   *   *

Три всадника за поворотом,
и снова дорога пуста.
Три знобких звезды над заплотом,
спрятанном в зыбких кустах.

Полночь. Куда они? Где-то
ждут их из ночи в день.
Скрипнут ворота – наветом –
моя померещилась тень.

Скрипнут души запоры.
Три всадника?.. Может догнать?
Ночью податься в горы,
или равнины достать?

Что-то сегодня ли, завтра,
но без тебя проскользнёт…
Полночь. Заплот виновато
к прошлым скитаниям льнёт.

*   *   *

Текли напрасно дни Гомера,
он позабыл их скорбный счёт.
Скользила без конца тримера
в объятьях волн, промежду звёзд.

Они – вне Итаки, вне страсти!
Ему – к истоков берегам,
где главною приметой счастья
далёкой юности луга,

иль степи, иль лесов обеты,

бревно отеческой резьбы…
И что с того, по белу свету
гомеров плавают гробы?!

*   *   *

Там жил сибирский Бог, раскосый старикашка,
«приленский» сахоляр, «подкаменный» тунгус.
Богатство всё: нательная рубашка,
да ичиги с узорами из бус.

От дымного костра мошка плывёт сторонкой.
На корточках, бубнит себе под нос,
сибирский Бог пошарится в котомке,
достанет чая байхового горсть.

А так как котелок не больно мелок,
то варева плеснёт тебе сполна.
Он, хоть куда, – охоч по части девок,
молочных, сдобных – в ямочках цена.

А впрочем всё не так. Всё нынче позабыто:
сибирский Бог, тунгусы у костра…
Я чутко сторожу разбитое корыто.
Весной тоска. Весной тайга красна.

*   *   *

Ты в первый раз меня предал,
надеюсь, не в последний.
В невозвращеньях знаешь толк,
теперь – во мне.
Но, понимаешь, милый мой,
я до сих пор в передней,
а комнаты, в которых жить,
в сплошном огне.
Ты – мил, не мил – а жизнь одна,
бесстыдна и безбожна.
Как Ося высказал навскид
«её перетерпеть»…
Так, в первый раз иль просто я
жил всюду осторожно,
и мне отпущено на круг –
не быть, не сметь?

*   *   *

Так деловита, будто бы не мне
дана погоды ветренная морось –
и облаков простуженная корысть
припала к обездоленной стране.

Ты не при чём. Ведь деловит не ты.
Слова – безделица, отдушина, услада
между тобой и моросью преграда.
Страна? Ты отстранён.
Остались лишь листы.

*   *   *

Ты слышишь? Я вернулся. В сени
занёс потрёпанный рюкзак.
В томлении расхожих мнений
соседи вычислят – дурак.

Но мне-то больше их известно,
что потерял, что приобрёл,
и кто ружьё повесил в пьесе,
и на кого нацелен ствол.

Вернулся! Это непреложно.
Всё прочее для суеты.
И будет жизнь. И будет сложно.
Но рядом всюду будешь ты.

*   *   *

Сыну

Та же постройка лица – лес в отдаленье.
Тот же набросок ресниц – сходят к ручью.
Видно Создатель порой полнится ленью –
делай как хошь, если жизнь по плечу.

Нынче рожденье твоё. Стукнуло сколько?
Ты не считай. Поначалу не важен подсчёт.
Та же постройка… И может поэтому горько,
если похожесть и в прочем тебя увлечёт.

*   *   *

У Вас роман или смирена одежда ночная?
У Вас зима или снега обошли стороной?
Как правильны слова. Ни вскрика. Ни печали.
Вы подскажите, что тогда со мной.

Советы, прописи мудрёны… Бесполезны!
А я, слова согрев, замёрзну сам.
Ночь. Рядом рыщет мышь. Она пришла из бездны,
где верят в сны или не верят снам.

*   *   *

У тебя нет для меня крика.

У тебя нет для меня горя.
Что поделать, перехожий калика –
удалился, ушёл за три моря.

Удалился, упрятался? Как же!
Не кричит, от горя не свищет?
У тебя нет для меня жажды,
и рука мою тень не ищет.

* * *

Уже не двуногим зверьком,
а ящеркой, зоркой и цепкой,
вернусь на родной террикон –
вонючий, пылящий, нелепый,
и те, кто из недр земли
выносят горючую массу,
заметят, как юркну в пыли –
ни кожи, ни кости, ни мяса.
А мне не обидно нисколь.
Сапог оббегу и, моргая,
опять не сумею про боль
сказать им, слова подбирая.
Застыну на камне, свернусь –
пинайте, топчите, распните.
Доколе?! Давно не боюсь
безумного хода событий.

* * *

Чем средь домов и переулков –
в обрыдлый каждодневный гнёт,
отправься лучше на прогулку,
где осень, молоко и мёд
смешав и растворив, окрасит
окружной волости леса,
и где поймёшь, что мир прекрасен,
хоть поседелы волоса.
И вечное – вбирать без меры
в себя и краски, и простор,
поскольку где нам, инженерам,
до этих рек и этих гор.

* * *

Что главное – себе не нравиться,
и с этой скупостью дружить,
с тщеславием полдневным справиться,
и с ночью-скромницей дружить.

И строчек лучших не загадывать,
а явятся – не лобызать:

в тугие стопки молча складывать,
в снопы безмолвные вязать.

Что после? После не обидеться.
Ты сам творец своих дверей.
Невинное лишь в детстве видится,
да в клетках райских пустырей.

*   *   *

Я говорил, что буду в среду,
но, поменяв порядок дней,
я никуда теперь не еду –
мне издали не так больней.
И я старательно сличаю
прошедшее – за годом год,
но среду вновь не замечаю
среди расстроенных погод.
Дождит… Я говорил, что буду?
А надо ли? Неужто ждут?
Мне бы спросить себя, покуда
я здесь, не будет прежних смут?
Мне бы сказать себе иначе:
«Могилы не умеют ждать –
среда иль нет, четверг, тем паче,
им нечего уже терять…»
И я забуду холмик стылый,
и, оправдав себя, – не смог,
пойду искать свою могилу,
доучивать вины урок.

*   *   *

Я-то знаю, за что и как.
Это они – невинные?!
Пусть у меня в душе кавардак,
седины палимые.

Кроткая, что же ты к ним в полон?
Истины – различаемы?
Это не крик – последний поклон
жизни нечаянной.

*   *   *

Я странного хотел.
Стана не возражала.
Ходить под рюкзаком –
великий спрос?! –
и год за годом
в «поле» провожала –
пускай своё здоровье

под откос.

Хотя, чего там,
скудно понимая,
зачем башка
и мускулы зачем,
я те походы
счастьем называю,
вне семилеток,
вне любых систем.

*   *   *

Я стою дешевле, чем кажется –
пожалуй, уже нисколько.
За домом репей привяжется,
ржавеет в саду двуколка –
ни кучером нынче, ни возчиком,
навьюченный прошлым по горло.
Репей, прицепись к заводчикам,
свистящим за жизни забором!
Ни ездить мне больше, не справиться
осенние длить наволоки,
и в строчке расхожей лукавиться –
дешёвые, в общем, уроки.

2005

*   *   *

А вдруг мой отец –
где бы не был –
узнает, что я не при чём,
что я не продался, не предал –
обманут, как все, Ильичом,
и вовсе не надо стыдиться,
и сына навеки проклясть,
а просто всерьёз удивиться,
насколько бесчестная власть.

*   *   *

А зовут меня – «ветер поутру».
А кричали вслед – «поздно начавший».
Я не знаю жизнь – нету повода.
Ни в сегодняшнем, ни вчерашнем.
А зовут меня – «в горы лазивший».
А кричали вслед – «не воротишься».
Ну, и что – в ответ – я к товарищам,
с ними смерть красна, сам напросишься.
Горы вверх летят – вниз не падают.
Это мы вокруг мелкой сошкою.
Я не знаю жизнь – звалось правдою,

нет, не лучшее, не хорошее.
А зовут меня… Разве важно как?
А кричат мне вслед… Не дослушаю.
Только ты нужна. Сделай первый шаг!
«Поздно понявший» с самой лучшею?!

* * *

Памяти И.С.

А этот в долг не брал
и, нет, не напрягался,
что до столицы долгий путь –
знал, пригодится всё,
к чему душой касался,
любая мыслимая жуть.
Ведь важен не масштаб
кричания, хожденья,
а шорох слов
в доподлинной мольбе,
чтоб стали мы добрей,
и некое стесненье
открыли незлопамятно в себе.
А в долг ни-ни…
Свобода пуще хлеба!
И впроголодь,
спитой глотая чай,
опять же, помнить,
в нас – погрязших – небо,
и выползти к нему
как будто невзначай.

* * *
А мы уже опомнимся едва ли,
и лени упоенье не поймём –
не станем вояжировать полями,
не будем вояжировать жнивьём.

А нам уже достанутся едва ли
недвижность гор, медлительность воды…
Везде спешили. Редко поспевали.
Стихами заслонялись от беды.

* * *
А звукам для толпы не верьте.
Они по сути для двоих –
тебя и ненасытной смерти,
чтоб знала, не подвластен стих.
Пусть поскрежещет и осудит –
ей всё не так, и всё не в счёт.

Пусть в горький час за мной прибудет,
но звук за нею не пойдёт.

*   *   *

А снег помажет губы
и устремится дальше.
А жизнь тебя погубит
не там, где мнилось раньше,
когда снегов навалом,
порою выше крыши,
и ты не знал, как мало
мир о тебе услышит.

*   *   *

А вдруг на роду написано,
чтоб я молчаньем постился,
и не случайно потрафлено
излишеством тишины?
Тихи хребты и распадки –
от них Господь открестился.
И Слово первое молвлено
в пустыне южной страны.
А здесь, от Севера знобкого,
в какой пещере упрячешься?
И свитков кумранских не ищут,
не ждут от жизни щедрот.
А вдруг на роду написано –
лучше остаться молчащим?
Какие такие истины
может извергнуть твой рот?

*   *   *

А ты, распоряжалась ветками –
вот эта высохла, долой –
чего-то мнишь, гордишься предками
и прошлого Волшебною горой.
Ну, где-то был, куда-то лазал смолоду,
гора с горой не сходятся – сводил,
и, вспоминая их, потом по городу
сибирскому неброскому ходил.
И ныне веточки, на те похожие,
Что вкруг подножий за тебя дрались,
Да ты уже не тот – всё как положено,
В какие дали не рядись.

*   *   *

А жизнь-то прожита, и как – уже не важно
ни замолить, не переврать.

На улице Дубовой дом бумажный
с тобою вместе будет умирать.

А тем, кто после, проку иль убытка –
небрежно помянуть, не преуспел –
все на поверхности ошибки
и давних дел, и новых дел.

Ну, что ж, хотя бы в этом выкажу подмогу.
Моя, Вы слышите, моя вина,
что брал помногу и носил подолгу,
а на бумаге тяжесть не видна.

* * *
А Время разве намолено?!
Лишь с перепоя присниться,
как Родиной отфутболены –
бредём по всем заграницам.
Ну, да… Ну, конечно, прошляпили…
Там и свои не милые!
Но ведь не сладкое хапали,
скитаясь таёжными милями.
Чего там?! Уже не воротится
ни ключ – фартовый, старательский,
ни штаги Его Высочества –
дореволюционное качество,
ни ты, лопух доморощенный,
пятнадцатилетний мечтатель…
Намолено Время? Испрошено?
Обычный очковтиратель.

* * *
А приблизительность показа,
пусть вместе краски или врозь,
в нас проникают, как зараза,
сквозь роговицы старой кость,
и там сплетаются и плещут,
и вслух кричат, что этот мир
наполнен наготою женщин,
и плоть единственный кумир,
и сколько по углам не биться,
округлое передолит,
и тут последнее – влюбиться,
и стать причиной всех обид.

* * *
А поезд всё мчится на Север,
где всё невозможное есть –
и снегом обтянутый терем,

и льдинок прозрачная жесть,
где серое враз побелеет,
а плавность округлых боков
к приезду доспеет, дозреет –
как раз, к перелому веков.
А поезд всё ближе и ближе,
и надо бы в тамбур скорей.
Я жив! Я без Севера выжил
в горячности южных морей.
Я выжил без тех, для которых
не важно на праздник успеть,
и вовсе не тщиться, не спорить,
и в первые люди не лезть.

*   *   *

А мудрости всего –
в скорейшем избавленьи
от слов – от сути ремесла.
Забыть неясное томленье!
Молчанья в мире несть числа.
Молчит вода. В молчаньи ветры.
Молчит небес бездонный свод,
и даже ты, когда с рассветом
я ухожу в галдёж работ.

*   *   *

А ласковость последних дней –
я рядом с выходом, не входом –
смягчает памяти погоду –
всё напоследок нам родней.
Уходишь… Все грехи с собой,
всё многословие, тем паче.
Молчанья трудная задача
моей становится судьбой.
И что?! Вот так – и я исчез?
И холод пеленой мгновенной
окутает… Как откровенно
ко мне он под подол полез?!

*   *   *

А тебе хорошо?
И заснуть до рассвета.
А тебе хорошо?
И, подставив плечо,
слышать – бедное сердце ответит,
потому как нешуточно
ты увлечён.
А потом, а потом
будут полые годы,

и чужих голосов
заграничный озноб.
А тебе хорошо?..
И не видишь погоду.
А тебе хорошо?..
И седой от невзгод.

*   *   *

А если встретимся в Иерусалиме, если встретимся,
то что, молочных рек не миновать,
и где бархан песком лимонным светится,
начнём от счастия бузить и ликовать?
А если всё-таки? Ну, всё-таки? Не верите?!
И я не верю. Больно сказки хороши.
Что было – сплыло. Вы мне здесь постелите,
где сосны онимают камыши,
и сопки врозь и вместе, как получится,
и даже помечтать о многом довелось.
А если всё-таки?.. О, как мы любим мучиться,
но жить вдали или продлиться врозь.

*   *   *

А по весне, когда пора вытаивать
убитым, брошенным – любым,
война замрёт,
чего уж, там, утаивать –
пока живой, ты пулями любим.
Они найдут тебя.
Нигде не скроешься.
И по весне другой
найдут тебя –
оттаивший,
ты вдруг забеспокоишься,
на миг простреленной ногой
пошевеля.

*   *   *

А тут и глазу выгода –
поверх деревьев ягода,
и нет бесплодных выводов,
и только сердце пагубно.
Оно – артерий детище.
Оно – аорты прошлого.
Но ягоды – не зрелище.
Вкусны – бери задёшево!
Почто же сердце медленно,
аорты да артерии?
Не всё ещё потеряно,
коль ты на этом дереве.

*   *   *

А знаешь, всё уже было:
и мелочь бессильных обид,
и заполночь мрачность светила,
и твой будто изжелта вид.
Какая нелёгкая доля
ведёт нас сквозь ночи тиски?
А знаешь, я крикну: «Доколе?»
и тут же умру от тоски.

*   *   *

А те, кто в партию пошли,
когда всё драпали,
они-то выгоду имели
лишь одну –
их первыми – наотмашь –
пули лапали.
Но мы не потому ль
не сдались в ту войну?!
А правда – что?
Она всегда не вовремя.
Проспали… Проглядели…
Не смогли…
Но в партию тогда?!..
Судьбы ирония –
их нынче раболепными сочли.

*   *   *

Ах, вот он, клуб! Троллейбус приустал –
всё в гору, гору… Здравствуй, остановка!
Раскрыты створки. Выпрыгнем неловко –
рука в руке, почти уста.
В подъезде за углом того трудней –
бедро в бедро. Чужие этажи доколе?..
Ты не молчи! Любовь кричит от боли,
от невозвратности тех дней.
И что взамен? Меняешь ритм и слог.
Меняешь флаги, розовые страны.
Но та весна с тобой – сквозною раной.
Троллейбус. Клуб. Подламыванье ног.

*   *   *

А с этим что мне делать?
Дознание с пристрастием!
Ощерен и отточен
бесстрастный карандаш.
Он вытянет признанье

и в слове перепишет
весь мой несоединимый
бардак и ералаш.

*   *   *

А гнев на бантики пойдёт, потом на фантики.
Все в коридоры побегут глазеть – куда
ты проскользнёшь навстречу мне – ещё был франтиком
и смог легонько умалить свои года.

А гнев всё дальше, всё сильней – такие милые.
Но всё же разница в годах, почти отец.
Все в коридоры побегут – ты не простила мне.
Ну, в общем, надо же очнуться наконец.

А гнев теперь при мне, и не кончается.
Всё вспоминаю, всё бегу навстречу снам.
И в коридорах жду-пожду, но не встречаемся.
Лишь милые соседи там и сям.

*   *   *

Без анфилад! Неужто рады?!
Сосняк горазд на анфилады.
Жаль, трудно шпарить по прямой
с моей запутанной страной…
Так вот, из сосняков я вышел.
Не важно, шире или выше,
разлаписты иль как струна…
Опять рифмуется страна.
Мне от неё и здесь не скрыться.
Не то чтобы всеночно снится,
а просто странная она,
моя сосновая страна.

*   *   *

Будто под вечер пришёл, но не поздно.
Будто застигнут врасплох – дни утекли.
Утро хватает щеку – солнце морозно.
Значит живой, и не всё обо мне наплели.

То ли ещё впереди… Или напрасно
вечера ждать, замирать над косою строкой?
Выпрямишь или согнёшь подобострастно?
Слово за здравие или за упокой?

*   *   *

Всего загадок – смуглость леди,
где смуглых не было с утра,

да Гамлет тучный, да намедни
Отелло с пеной у рта –
все душат, дышат, все готовы
на чувства – на любую боль…
А Вильям делит скарб не новый,
и жизни скорбную юдоль
готов покинуть слабой плотью
и, неизвестно почему,
глядит как кошка точит когти
на круглую как сыр луну.

*   *   *

Ведь нет, не дерзновенен – руки о бок –
всё стороной, где дремлет косогор.
Он с виду тих. Неужто тоже робок?
А ты? Ты с кем нацелил жизни спор?

Стада смиренных строк. Так редки вскрики.
А жизнь вокруг нешуточно вопит
и тащит за собой… Неужто ты – двуликий,
и суть твоя – нетронутая – спит?

*   *   *

В божеский вид приведут.
В списках опальных разыщут.
Кто ты? Как пишет Радищев,
рабства соратник и друг?
Или как пишет другой –
в англиях он колоколил –
был равнодушием болен,
Время сверяя с тайгой?
Было и так, и не так.
Божеский дар не дарован.
Воздух под старость ворован.
Здесь моё рабство – в стихах.

*   *   *

Все эти знания нелепы,
не знанья вовсе – ерунда.
Средь эмигрантского вертепа
они как полая вода.
Ну, что с того, бродил иль лазал,
под самым небом ночевал,
ведь окаянных безобразий
не отменял, не изживал,
а мнимую свою свободу
не то чтобы всерьёз стерёг,
а отбегал – душе угоден
вдали от шума костерок.

Не вечен он? Легко погаснет?
Мне это знание беречь,
когда вокруг кольцо напраслин,
душой неслышимая речь.
И тем, кто вышагнул, не помня,
кто, отвернувшись, позабыл,
то прошлое – потусторонне,
как стон отеческих могил.

*   *   *

Весь в заблужденьях добросовестных.
Весь совестливый, чёрт возьми.
А воли нет, уйти от повести,
и стать вживую пред людьми.
И выпалить. И быть заглавием
своей печали и беды.
Слова лишь под пером за здравие,
а к жизни вовсе не годны.

*   *   *

В ней всё от места производства,
от дали, слитой с колеёй,
от жалобного руководства
не различившего «застой»,
от скрипа набожной телеги
и серой дымки деревень,
и всюду, всюду печенеги –
враги, а отгонять их лень.
Но лишь гармонь, уняв зевоту,
раздвинет мех, как песни стон
войдёт в тебя до слёз, до рвоты
со всех немыслимых сторон.
И песня станет оправданьем,
и смыслом станет наперёд –
совсем не пьяные рыданья,
и жалости брезгливый рот.

*   *   *

Всё просто. Выбирая сам,
погост, душевные запарки,
поэт не верит в чудеса
прекраснодушной контрамарки.
И потому соседей крик,
нападки ближних – всё не важно,
когда тебе дарован миг
строки бумажной.

*   *   *

Ведь на другой масштаб игры
не каждый ставит.
Быть искренним всегда?
С ума сойти!
А что строка?
То плачет, то лукавит,
то предлагает укатить.
Итак невесть куда забрался –
ни вдосталь матерка,
ни дружеской руки.
А про масштаб забудь.
Не лучшим он считался,
когда строке угодно обмануть.

*   *   *

В этой дурацкой жизни некогда разбираться.
Голос поднимешь выше, выведут за кусты.
Помните, был испанец? О, как мы любим испанцев –
сладкие кастаньеты в похоти темноты.
То он цыганам верил. То над Дали смеялся:
«Линии не пугают, только густой окрас».
В этой смертельной жизни, видно, не разобраться –
пули жандармов приходят в послеполуденный час.
Но по ночам цикады, лунное солнцестоянье
песни слетают, пляски, видно дают понять,
в этой бессмертной жизни главное достоянье –
голос, негромкий голос, выше себя поднять.

*   *   *

В отъезжем поле зеленя.
Вы провожаете меня.
Дорога дальняя.
На Запад улетаю я.
Налейте горького вина –
исповедального.

По кругу чаша. Скорбность лиц –
впервые значимость границ –
по обе стороны –
разводит нас. Мы будем врозь.
А сколько вместе довелось
с судьбой неторною?!

В отъезжем поле ночь – ни зги
не видно – лишь враги
ватагой радостной.
Они кричат: «Таёжный грош
сменял на здорово живёшь»,
за чувство стадности.

Я им не верю. Иль правы?
Что, кроме буйной головы,
тебе доверено?..
В отъезжем поле, в гуще дня,
никто не провожал меня,
и боль была немеряна.

* * *

В глазницах вся беда, в глазницах.
Они настолько глубоки,
что место есть, где угнездиться
несообразностям тоски,
и есть куда впитать запреты
на изумленье, на вопрос.
Неистовость слегка задета
или надолго и всерьёз?

* * *

Блокадникам

Вёз на саночках гроб
для себя и жены.
Вёз поскольку мороз
и скольженье зимы,
и ещё потому, что
из прописей знал,
никого этот мир
не пригрел, не признал.
Уходя уходи!
И полозья скрипят.
И соседи посильно
за мною следят,
потому как на санках
в разгаре зимы
нашей жизни совместной
последние дни,
и никто не уверен,
что гроб довезу,
лишь вздыхаю, роняя
не слёзы – слезу.

* * *

Вот и пишут стихи чтобы выжить,
чтоб не думать о лишнем – о вечном –
слово за слово, будто Всевышний
вновь припомнил о человечном,
и не надо ни слов для надзора,
ни равнины тоски для пространства –
просто слово становится впору

переменам и постоянству.

*   *   *

Сыну

Ведь я не сразу суть представил,
когда в переднюю войдя
увидел стол не в центре – с краю
стоит, скатёрку теребя,
увидел полок строй дощатый,
и разномастный, и любой,
и толстых книг объём брусчатый,
и мелких книжек разнобой.
И стало мне до боли горько,
что я свои не уберёг,
и, на чужие глядя полки,
шептал неслышно – видит Бог,
бросая всё, бросая небо
над краем белой бересты,
пристало знать, без буков хлеба
не смог бы прокормиться ты.
Ведь сколько не цепляться к маме,
не хныкать «повтори рассказ»,
у толстых книг иная память,
у мелких книг иной припас.
И всех столешниц зазеркалье,
и модный итальянский шик,
на книжном пропадут развале,
померкнут между вечных книг.

*   *   *

Весь в лёгкостях,
ну, словно повторимо –
годок, ещё годок,
там поглядим,
а жизнь так и сяк,
и на поверку – мимо,
как тот отечества
хвалёный дым.

*   *   *

Все бедствия в любви. Все тяготы.
Вот ты молчишь, и я слова забыл.
Они с тобой казались сочной ягодой –
вгрызаться в каждое любил.

Вот ты ушла. И вовсе обездоленный.
И бедствия не где-то за стеной.
И всё не для меня тобой намолено.

Лишь ягоды засохшие со мной.

*   *   *

Впервые покончить с собой
и стать запятой в предложенье.
Не вы ль предлагали слеженье
за собственной странной судьбой?

Впервые покончить с собой.
Остаться без дома и ласки.
О, как запятые пристрастны!
Как буквы владеют судьбой!

*   *   *

Вся в ожидании погоды,
но без оглядки на рельеф,
по сути – манифест свободы,
по слухам – каторжный успех.

И этот слух, и эта воля
в гольцах, в безудержной тайге
с тобой по жизни счастья болью
на самой дружеской ноге.

*   *   *

Вот и правда не нужна.
Вот и правда устала.
Сколько нас, неуклюжих,
тянут врозь одеяло?
Чей лоскут драгоценней?
Кто ловчей отмолчался?
Без чьих откровений
мир подлунный остался?
Или вовсе не важно,
с чем повязана повесть,
и о правде бумажной
только зря беспокоюсь?

*   *   *

Всё списано с себя, всё списано:
и «спальник» с ватою «насквозь»,
и первый табор за кулисами
не то ольхи, не то берёз,
и тесный круг усталым вечером,
в ладу с душой, вокруг костра,
когда вперёд судьба очерчена –
и поделом, и неспроста.

* * *

В безопасной отдалённости
от России, от себя,
в дом вхожу, дитя бездомности,
стены плача не любя.
Понаслышались!.. А то ещё?!
Взвоешь – всюду поперёк.
Брысь, последнее становище,
мой безрадостный порог!

* * *

Весь выбор невелик –
казённый иль казнённый,
но если рифмой обозлённый,
то ты без вариантов влип.

* * *

Все в рассуждении отдельности.
И я отделен. От чего?
От неба с даром беспредельности?
От гениальности слогов?

Ты в стаде! Рассуждай иль мучайся,
храни себя иль стороной –
но как прикажут… Не получится
тебе слоняться стороной.

* * *

В одиноком забое кандалами звеня.
В одиноком подвале от боли бледнея.
Одиночество – это борьба за себя,
когда мир без тебя почему-то беднее.

Как ты смог доиграться? Куда ты заполз?
Ведь и те, кто повыше, попали в изгои…
Одиночество – это бессрочный вопрос
в одиноком забое, в одиноком забое.

* * *

Всё география виной, не крови залежи.
Родись в «малютке», сжатой по бокам!
А тут выходишь – тыщи вёрст, а сверху варежки –
мороз нешуточный живое возалкал.

Всё география виной! Какие лозунги?!
Я вылезал хребтами чёрт-те где,
и поднебесье рядом, горним воздухом

дышал, и это наипервое в судьбе.

И никого из таборного варева
не волновал таинственный вопрос –
ты по ночам на идиш разговаривал…
Жаль, по-боксёрски был расплющен нос.

*   *   *

Где эта чудом уцелевшая стена? Не помню.
Луч фонаря… «Кто не был здесь, тот не поймёт».
А ты, рождённый вслед, не видевший агоний?
Но в гетто согнанный, поруганный народ…

И та стена жива и уцелеет снова,
чтобы раздвинуть смерти темноту.
«Кто не был здесь, тот не поймёт» ни слова,
ни вкуса смерти у жида во рту.

*   *   *

Да, здравствуют галеры
и подневольный труд
и гаеров химеры
из мимолётных трупп.
Они сзывают криком
и воплем – чёрт-те чем.
А мы с несчастным ликом
бредём в тупик поэм.
Ведь надобен сиропчик
и обещанье благ,
а тут – обрывки строчек
и праведный чудак.
И ты, забыв о чести,
галёру рвёшь в куски,
и трёшь, и мажешь лестью
у гаеров виски.

*   *   *

Единожды – отсюда слово.
К нему подходишь вроде вплоть –
то отвернётся, то не ново,
то оробеешь – не Господь.
Но раз за разом всё смелее,
как бы оправдывая ложь,
вдруг изумишься, день бледнее (!),
и где солгал, не разберёшь.
И эту грань, и эту небыль
лелея, бережно храня,
изменишь всё – земля и небо
уже не важны для тебя.

*   *   *

Ещё бы научиться беспристрастно
смотреть на простодушие страниц,
на склоки туч, готовых ежечасно
лить слёзы и бросаться ниц.
Куда с добром, припали прямо к полю –
холмов и днём с огнём не различить.
Дождям простор, надежды и раздолье –
ужо заставят нас с разливами дружить.
И надо бы, как все, следить за перепадом
небесных вод, подземных рек
и обходить бумагу ровным шагом –
ещё успеется, будь только человек.

*   *   *

Евреи, с Вами ласково!
Дороге здесь конец.
Вы маетесь напраслиной.
Мы бережём свинец.
И газ пускаем бережно –
подсчитан каждый куб.
Евреи, с Вами вежливо,
не то что ледоруб.
Ну, вот… А Вы артачились.
О чём теперь мечтать?!
Вы в списках, нет, не значились.
Здесь подпись. Здесь печать.

*   *   *

Ещё немалое напишется,
но правдой мало что окажется.
Строка не к ней, любимой, движется,
и слово не о ней куражится.

Мы все приписаны к истории,
к её советам и отважности,
но все мои фантасмагории
бледнеют от её продажности.

*   *   *

Забвение еретика –
твоя небрежная рука,
высоко поднятый подол,
когда на пьяный всходишь стол,
а после слушаешь как тот,
кто буквы в тишине крадёт,
с беспечностью еретика

строку хватает за бока,
устало шепчет – хватит красть,
ведь выше слов безумца страсть –
глазеть как вверх ползёт подол,
когда восходишь ты на стол.

* * *

Звук приручённый.
Голос одичавший.
О, если б разногласий
помене…
тут даже лес почти учёный,
а непричёсанная чаща
приравнена к измене.

* * *

Запах талого снега.
Перебранка с реки.
Может время набегам,
и надеждам с руки?
За лукою, за стрелкой,
говорят, сивера,
где не пуганы белки
да соболья пора,
где вставая с рассветом
и встречая закат,
станешь нынешним летом
не по чину богат,
не любовью, не страхом –
талым снегом весны,
льда дырявой рубахой
да смолою сосны,
и хотя бы на время
будет смыслом твоим
предков тяжкое бремя
и отечества дым.

* * *

Замрёшь – потому как осень.
Туман – потому как сыро.
И листья под ноги наносит
с небесных бездонных обрывов.
И с каждым деревом таска –
настоль безупречные краски.
Но зреет в душе опаска –
опять красота напрасна.
Случайна, невольна, мгновенна?
Закружит, затянет, завертит?
А дальше окажется тленом,

преддверием серости, смерти.
И надо бы отрешиться
от грусти – всего лишь краски –
в самом себе поселиться
без маломальской опаски.

* * *

Зачем он здесь? Зачем пустился
вне городов искать себя?
Почто гордыне обучился,
свои фантазии любя?
Как угадал, что много позже
в ячейках памяти с тоской
он к телогрейке с мокрой кожей
проситься будет на постой?
А сытость, и сухая простынь
не принесут желанных снов…
Куда брести? Лютует осень.
Промокшие страницы слов.

* * *

Здесь только ходоки здоровые
иль бегуны от жизни бед
среди гусей с гортанной «мовою»
в зелёный вписаны багет.
Тропинки в рамках, всё размечено.
Сюда, сердешные, сюда!
И озеро удачно вверчено –
«руками творная» вода.
В чешуйках рябь. Гусей влечения –
то берег тот, то самка та.
И так до умопомрачения –
настолько жизни суть проста.
Кого измены их обидят?
Все самки серы – на подбор,
и нас до той поры не видят,
пока не затрубит мотор.
И словно нехотя расступятся –
дорога в ад? Дорога в рай? –
не видя наших душ распутицу,
и жизни бесполезный край.

* * *

За то что жизнь не оборвали – кому спасибо?
За то что Время оболгали – винить врагов?
Я говорю себе – иль не себе? – огромен выбор,
да мало неворованных слогов.

*   *   *

За окном магаданским пурга.
За дверями барака метель.
Ты не пишешь… Не пишут врагам,
тем кто двери срывает с петель.
За порогом следы каторжан,
лай овчарок и женский барак.
Ты не пишешь… Я слово сдержал –
растворился. Здесь холод и мрак.
И на нарах спасенья не ждут –
ни рассветов, ни вёсен, ни снов.
Ты не пишешь… Меня не спасут
мириады бесчувственных слов.
День и ночь, ночь и день без конца.
Истончается прошлого нить.
Ты не пишешь… Не шлёшь мне гонца.
Без меня ты сумеешь прожить.
И когда наконец письмонос
будет кликать меня между нар,
кто-то скажет, он жизнь перерос,
превратился в дыхания пар.
За окном магаданским опять
в смертной схватке пурга и метель.
Им последнее нужно понять,
не дано им доселе понять,
как я двери срываю с петель.

*   *   *

И если б толком знать
во что ты веришь,
и буквы истолочь,
согласья не спросив…
Велика невидаль,
измеришь,
насколько срок неведенья
скостил.
В молчании хотя бы
стыд надежды,
недоумения вопрос.
Ведь всё останется
как прежде,
суёшь иль не суёшь
свой нос.

*   *   *

И просто посмотреть в глаза словам, которым верил,
и просто выйти вон в ничто, в тартарары.
Там воздух деревянен. Там деревья,
одни деревья и ни капельки травы.

И просто замолчать, покуда деревянен
твой взгляд на суть, твой вздох,
покуда странен мир – настолько странен,
что даже не понять, насколько плох.

*   *   *
И все последствия наружу.
И каждой строчкой ты не прав.
Зачем трезвонил неуклюже
среди кустарников и трав?
Зачем выманивал ответы?
Ответ один – на всех один –
уйдёшь, а свет продлится светом,
забыв печаль твоих седин.

*   *   *
И выпуклость верандочки,
и полукруг бровей
и видно, как под лавочкой
гуляет муравей,
как даровито трогает
травинок частый лес –
и назначенье богово
ему невперерез.
И ты бредёшь по тропочке,
сама полна собой,
как наслажденье почерком –
за сбоем новый сбой,
и буквы то торопятся,
пускаясь вскачь,
то полежать отпросятся
в тени соседских дач.
И выпуклость, и лавочка,
и мураша успех,
он в недрах старых тапочек
нарыл впервые мех –
всё было или слогово,
тропиночка-строка,
и назначенье богово
исполнила рука?..

*   *   *
И сон приснится безупречный –
лишь в нём мы прáвы и правы –
как вдоль дорожки сумеречной
восходит тень ночной травы,
как ты, луною околдован,
боишься в эту тень ступить,
а надобно два шага к дому,

чтоб мерзости свои простить.
Но травы гуще, тени строже,
и сон давно уже не сон…
Ты безупречным быть не сможешь.
Ты позабыл свой отчий дом.

* * *

И не машина времени,
но Время повернёт.
И мама мной беременна.
И маму часто рвёт.
Но больше рвётся страшное:
«Зачем?! Вокруг война».
Не возвратишь домашнее.
И не её вина.
Но вынесла – не выдала,
и жизнь её мне длить –
додумывать иль выдумать,
чтоб в те года ходить,
когда непредсказуемым
войны безумный лёт,
и наши мамы юные,
и жизнь своё берёт.

* * *

И расплеваться с ней, и разбежаться.
Но за морем доподлинно признать,
что за подол её немыслимо цепляться,
а из нутра немыслимо отнять.

* * *

И в первый раз усну как бледный праведник.
И будут сны кудрявы и чисты.
Я всё забыл – исчез слуга и скареда,
остались буквы, строчки и листы.
Осталось только поднести к глазам, и поутру
их скомкать, бросив, – вот он прок,
и ветру вняв, и, будто сладив, по ветру
развеять никому не ведомый урок.

* * *

С.-П.

И этот город созерцательный –
чертёж, проросший между рек,
и этот век неувлекательный –
настолько низок человек.
И менее всего прочерчено

его желание глазеть,
и жизни дать хотя б до вечера
не измельчать, не оборзеть.
А город, с вечным устремлением,
сбежать в понятливость воды,
всё ж выстоял – на удивление –
хотя был в метре от беды.

* * *

И отворясь, пусть ставням хлопать –
бывает ветрено порой –
бродить не садом, не в европах,
а просто – полем и горой.
И растворясь, не в смысле дома –
окрестных прошв, чуть видных троп –
приять великую истому
воды, наполнившей поток,
глухих лесов в плену опушек,
трёх сосен, выскочивших вон
и на бугре враскид растущих
без ограниченных сторон,
истому зайца вне испугов –
луны разлив и трав полно –
и можно простираться лугом,
а там рассвет, тумана дно,
а ты по дну, сдвигая складки –
то густота, то редкота –
и воздух отдохнувший сладкий,
и реже стала темнота –
вся эта общая истома
не зряшна, ты теперь иной,
и в пользу поля, в пользу склонов
твоя истома над строкой.

* * *

И мне не по чину телега,
и скрип неторопких колёс.
Как пишет далёкий коллега,
небось угождать довелось.
Как сам, отзываюсь, иначу
прогибы не юной спины,
и нервы посильные трачу
в размерах бесспорной вины.
Но я не угодник хожалый.
Коллега поймёт, неспроста
к побегу душа не лежала,
к телегам не рвались уста.

* * *

И будто странником ты не был.
И будто не терзал простор –
неровные прогалы неба,
застрявшие промежду гор,
и будто не тоска томила –
ещё подъём, ещё гора –
земля их столько наплодила,
а ты запыхался с утра.
И ту зовёшь, и эту манишь,
но всех в созвучьях не спасти.
И ближе к истине не станешь,
покой не сможешь обрести.

* * *

И где темно, возникнут кошки,
и станут углями светить,
и по дорожке понарошке
на лапах ласковых бродить.
Слабо прилечь? Они сумеют.
Им только шкурку поскреби,
и зенками зазеленеют,
и замурлычат на груди.
А я весь тёмен. Где же угли?
Как горловые звуки для,
понять, нисколько не прибудет,
когда подманите меня.

* * *

И клёны с опустевшими ветвями,
толкующие людям свысока:
«Мы осень видели. Она промчалась днями.
Нам без неё – безбрежная тоска».
А я ступить боюсь, так пропитались прахом
окрестных улочек знакомые черты.
Мне тоже мнится пёстрая рубаха
и беззаботные листы.

* * *

И этот человек опальный
на острове вдали от бурь,
от почестей пирамидальных,
а тут закаты и июль,
ведь прошлое так бесконечно,
что лучше вовсе позабыть,
и небо пить с дорогой млечной,
и жажду родины избыть.

* * *

И оставаясь старомодным,

по городу, как тень, брожу
и захожу куда угодно,
кого угодно привожу:
то рифму – пьяную бродяжку,
то перестук клюки слепца,
то плеск вина из плоской фляжки
стареющего молодца.
И оставаясь незаметным,
с днём оголтелым не дружу –
лишь безоглядно, безответно
вдоль темноты перо вожу.

*   *   *

И не простите отца своего.
И будете правы.
Он не был, увы, маломальским врагом
павшей державы.
Он просто бродяжил подальше от труб,
фанфаров и звонов,
где голос природы, и хрипл, и груб,
главным резоном.
И не простите… Он долго не смел
забыть превращенья
зелёных палаток в розовый снег,
в сердца смущенье.

*   *   *

И коль приспичит состояться,
то вытерпеть и эту роль,
и за похвалы не цепляться,
как за счастливую юдоль.
Когда бы?! Сколько слов пребудет,
пока строка накоротке,
и можно распознать, что губит
того, кто доверял руке.
Ведь непосредственность уходит,
а, может быть, ушла совсем,
и ты фальшивишь при народе
в банальностях расхожих тем.
И надобно бы честно крикнуть:
«Простите, братцы, я не знал.
Мне показалось, в слова лике
моё начало и финал».

*   *   *

И ты для них обслуга,
для этих самых слов,
и нереально – другом,
и глупо – не таков!

Но вовсе нереально
им сопли подтирать,
и думать – идеальны,
и славу подбирать.

*   *   *

И ты не выше потолка,
не выше крыши.
Блаженна шустрая рука,
покамест пишет.

Но что потом, когда она
помочь не сможет,
и ты – безмолвия стена
вдоль бездорожья?

*   *   *

И будто на парсуне
три обветшалых старца,
и дальним окоёмом – белки хребта,
и будто ты в раздумье,
куда теперь податься,
коль холода дыханье кольцом у рта.

И будто на парсуне
припрятано зимовье,
и старцы с кем-то схожи, и ты средь них,
ведь мнится, напоследок
употребить здоровье,
и выдюжить дорогу, не то что полый стих.

*   *   *

И младших слов незрелые уста.
И срединевный зной с прилипчивою влагой.
Всё так. Жизнь не по надобе проста –
пошепчется, прильнёт, и без тебя ни шагу.
Когда бы слово в крови не ласкать,
и младших нет – настолько больно,
и мчится мимо – нет, не доскакать
до истины первопрестольной.

*   *   *

И, дай-то Бог, высокой меты
не воротник, не рукава,
а слово, слитое с рассветом,
и с ночью слитые слова.

Но, дай-то Бог, о том не тщиться,
суму молчания влача,
ведь слишком просто утомиться
в неочевидностях звуча.

*   *   *

И если побудительно попасть не в ноты,
жизнь прозевать, созвучий не найдя,
слова твои – правдивые до рвоты
и лживые, как вежливость вождя.

И если не сумел им указать на двери,
то счастья от жилетки рукава,
негордых рифм бесплодное доверье
и чистый лист опять и сызнова.

*   *   *

И потом мы с мамой снова –
холмик там иль здесь – найдём
непромолвленное слово,
пережитое вдвоём.
Всё неправда, кроме этих,
в паутинках синих жил,
рук, которым ты на свете
мало счастья приносил.
Надо б знать о том до срока,
до её могильных плит –
запоздалые уроки
нерасчисленных обид.
Ну, да что теперь?! Сочтутся
те, которым жизнь принёс, –
и со мною разберутся,
до своих добравшись слёз.

*   *   *

И чтоб год Мастера обувка,
особый горестный покрой,
для обожаемой прогулки,
когда чуть дремлет часовой,
и ненасытное оконце –
для света, крика иль кивка –
не нужно, ты гуляешь с солнцем
вплоть до бездушного звонка.
И что с того, сживают, топчут?!
Души невозбраняем труд.
И буквы в лад с душой хлопочут,
и выхода на волю ждут.
Кусок бумаги. Беглый почерк.
Летите, милые, туда,

где жизнь о суетном хлопочет,
и нет тюремного стыда.
Мы все сокамерники. Даже
виднее здесь, как мало слов,
пригодных при душевной жажде
и повседневности оков.
Но лучше знать об этом меньше
и видеть сквозь оконце бег
полночных звёзд во тьме кромешной
и млечный путь небесных рек.

* * *

Детям

И то что мной не завершится
иль опоздает на перрон,
над Вами будет век кружиться,
и гнать в прокуренный вагон.
На третьей полке, «скатка» о бок,
лежит ещё не Ваш отец,
ещё своей не знает «пробы»
и медный – за бугром – венец.
На третьей полке пол-России –
виднее горизонтов стать…
Когда бы Вы меня спросили,
как мог я беззаботно спать,
то вряд ли бы сумел ответить –
не знал, что буду Вам хранить
всё то что на перронах встретил,
всё то что не хотел забыть.

* * *

И где положен был валежник,
природа делала изгиб
и вбок росла в размерах прежних,
и неба подпирая нимб,
была святей любого шага
нас, посягнувших на неё,
и склон зазубренный оврага
зверью был сладок как жильё,
и лес был сладок, и поляны,
валежник тоже сладок был –
всё без чарующих обманов,
без наших смерть несущих сил.

* * *

И в каждой доле правды
тщета твоих усилий,
ведь даже эту долю

не унести с собой.
Когда б не строчек ломких
оборванные крылья,
не робкие попытки
нырнуть домой…

*   *   *

И дали дальней безнадёга –
куда не ткнись, везде одно.
И в час отчаянья – коллегу
и в пясти – горькое вино.

И голых строчек одичанье –
цепляешь слово, звуки льёшь,
а мироздания молчанье
как неминуемый правёж.

*   *   *

И если звук не призрак,
и если слог не промах
моей руки капризу
в пахучести черёмух,
и той руке, что ветку
клонит с закатом вровень,
и вовсе не кокетка,
а рядом горстки брёвен,
и от смолы дурманом,
и от черёмух вовсе,
но, где там, если рано
тебе казаться взрослой…
И станет звук как призрак,
и будет слог как промах,
и станет всё капризом
коль ты болван и олух,
и только позже – светом
черёмух белых груда,
и ты почти раздета,
и жизнь сплошное чудо.

*   *   *

И то немыслимо,
и это недоступно,
но уговора нет,
и кормишь прямо с рук
то скрип небесных сфер,
то скрип пера маршрутов,
как будто всё в тебе
посредством мук.

*   *   *
И Блока целые куски, и блоками
скопления бессмертных слов
с неповторимыми эпохами
прекрасных снов, бессильных снов.
И каждый вечер звуки схвачены
твоей душой, твоей тоской,
и сам ты, крученный и траченный,
в своей эпохе непростой.
Пусть не было иных, но Блоками
не каждая из них горда,
и нам, с привычными пороками,
немые выпали года.
И нам, негаданно причалившим
в чужого языка края,
лишь снится город, опечаливший
его безумьем бытия.

*   *   *
И только там, вдали от берегов,
от чертовщины суеты,
укроет лес, и станешь с лесом
хранить нетленного черты,
и тихим станет мирозданье,
внимая треску костерка,
и та звезда, что вечно крайней,
поймёт, куда влечёт рука –
и высветит, и удалится,
когда туман плеснёт рассвет
на отсырелые страницы,
на хвоёно-лиственный сонет…
А позже – город и сплетенья
ежесекундной суеты,
и те забытые виденья,
и те ненужные стихи.

*   *   *
И все, кому не лень,
предпосланы успеху.
И все, кому не внять,
не стонут о судьбе.
А ты куда спешишь,
какие мнишь помехи?
Как правду подгоняешь
по себе?
Она ли не жива?
Она ли не избита?
Неужто мимо всюду,
чёрт возьми?!

Иль ждёт-пождёт,
вся в оспинах изрыта –
вне строк, вне слов –
вне суетной возни?

* * *

И мне б свои слова всучить
кому-нибудь, кто бойче,
кто на лету подмётки рвёт
и поверх нюх,
кто об успехе
только и хлопочет…
Всучить…
Я непрочитанным распух.

* * *

И этот голос дармовой
когда-нибудь уляжется.
И все прозреют! Бог ты мой,
седой, а к рифмам вяжется.
А я, уняв себя, урвав
все прелести и почести,
признаюсь: «Милые, не прав.
В молчаньи меньше корысти».
И лугом с тихою травой,
как странник, тихой сапою,
уйду молчком – с самим собой
неспетое оплакивать.

* * *

И размышления мои – не плоть, не лицедейство –
расставят сети, в них войду, затем и жил.
И ошибусь. И оглянусь… В моём семействе
я сам себе свою печаль наворожил.
Не то с дождём судачит снег, не то по ветру
ошмётки листьев, декабря, моих надежд.
Их слишком мало. Счёт пошёл на сантиметры.
И сам я, честно говоря, не слишком свеж.
И размышления мои, бедой играя,
её пытаются унять иль распалить?
Я в них вошёл. А как уйти, не понимаю…
Декабрь. Некому себя, как дождь, излить.

* * *

И для себя надежду оставить ненароком,
ну, чтобы знал, когда черёд испить.
А тыщи лет не подпускать – они пророкам.
Мне откровений не вкусить.

И, выходя в толпу, не повторять, насущный
язык, который бесполезен, мелок, гол.
Испьёшь его, шагнёшь – слепой – по суше,
и нечего вернуть в листы на скорбный стол.

* * *

И возвращенье на вокзал,
к судьбе приставленный
ещё с бездонных детских снов,
и паровоз с волшебною окалиной
и сажей фыркающих слов,
и чайник с жарким кипятком,
и ноги быстрые,
ведь водокачки на краю
перронов и ходьбы,
и инвалиды – вровень глаз –
безногие, плечистые
с гармошками из воинской судьбы.
И ты, кулёма, мелюзга,
под взглядом маминым,
ещё не ведаешь, что будет дополна
вокзалов шумных,
лавок твердокаменных –
так бесконечна твоя бывшая страна.

* * *

И если жизнь свою не сокращать
поступком праздным, поступью неправой,
то можно старость без конца стращать
походкой бравой.
Мои луга, как вас не устерёг?!
Какие были выси и паденья!
К ним не приблизить ловкость строк
и звон стихотворений.
Всё правда! Кроме дивного былья
с костром, с хребтом, с охотой бить каменья
там, где не след обжитого жилья,
но запах – миросотворенья.

* * *

И на преддверие склероза
глядеть и вплоть не узнавать –
подумать только, от морозов
дороги стали уставать.

Как бегали они с тобою
в пятнашки, в «штандер», взапуски!
Забыл?.. Совсем забыл.

Мне бы пальто с подбоем,
да мехом обнимать виски.

* * *

И если прибыли нисколько,
да вычесть бельма катаракт,
то горки все и все пригорки –
свидетельства напрасных трат.
Ну, восходил. Ну, небо щупал.
Не-о-пи-су-е-мая плоть!
А ныне – понизу, по суше
и – упаси меня, Господь!
И малой прибылью отрада
пером водить… Я не ропщу.
Мне большего теперь не надо,
и раскаяний не ищу.

* * *

И даже личный отпечаток:
твои штиблеты, твой сапог,
дыхание твоей простаты
и твой – отрезанный – сынок,
переплетясь, переинача
всё что возникнет под рукой,
биографа не озадачат –
он знает, кто я был такой.
Как знаем мы любую тайну,
любой строки находим связь –
пусть и написано случайно,
хоть подгляни, хоть в душу влазь.

* * *

И если знать, во что ты слишком веришь,
и если помнить, где и как ты жил…
Милок, куда? Ничуть не уцелеешь.
Возврат немногим удружил.

И если буквы истолочь, молчанья ради.
И если книжки на растопку растрепать…
Милок, куда? Вся суть твоя в тетрадях,
в словах, которым сладко уступать.

И если всё же ускользнуть – ни тот, ни этот,
навыворот себя… Теперь хорош?
Ну, что сказать? Да, песенка запета.
Ты всё равно на прежнего похож.

* * *

И я за это заплачу́,
но о другом запла́чу.
И Вам совсем не нужно знать,
как стыдно пасть…

мы говорим и так, и сяк,
но всё-таки иначе,
чем было
и насколь
виною власть.

* * *
И если жизнь не бесит,
не вымещает зло
на том, кто был повесой,
кому и впрямь везло
на пади и увалы,
на ранние снега,
то значит,
всё пропало,
и не спасут слога.

* * *
И это касается только меня
и слов навязанных мною.
Вам мнились другие?
Планету сменя,
найдёте другого героя.
А здесь, у подзола
и дресвой и судьбой,
на Север шагнувших распадков,
мне вольно самим оставаться собой,
свои признавая повадки.

* * *
И выставить себя, и высмеять,
как будто небеса поймут,
что ты не догадался выстоять,
не предвосхитил сердца суд.

И никому теперь не надобно
прощение посильных поз –
лишь холмик стылый за оградою
чернеет меж бумажных роз.

* * *
И не дай Бог стоять пред выбором –
куда не кинь, везде неправ.

Когда бы сроду ловкий Фигаро –
повсюду вёрток и лукав?
Но я с житейскими поклонами
не обнимался… Повезло?!
И кладбище под терриконами –
моих ошибок ремесло.
И даже голос поздний «брошена»
добавил что? Ведь знал итог –
углём из бездны – припорошенный –
безмолвный холмик подле ног.

*   *   *

И только центры речевые
ещё травой прошелестят.
Откуда Вы? Мы – кочевые!
Нам всем давно за пятьдесят.
Мы полем жили или лесом.
Нам горы не мешали быть.
Откуда Вы? Каким бельмесом
кочевьем думали прожить?
Не знаем… Видно от пространства,
от безразмерности тайги,
от твёрдости и постоянства
случились первые шаги.
А дальше больше… И поныне
лишь шелест трав, лишь шум лесов…
Зачем Вам звездопадов ливень
вдали от тёплых городов?
Не знаем… А теперь и вовсе,
когда хозяйкой седина,
кочевья лишь во сне уносят –
всё счастье на обрывках сна.

*   *   *

И всё равно был чуть подслащен
его пленительный талант.
На баррикады лезет чаще
юродивый комедиант.
И всё равно, на горечь ставя,
он утешал, сам тихим быв,
не более чем мы лукавя,
не более чем мы любив.
И в этом счастлив был меж женщин –
чуть подслащенное смелей
блуждает средь душевных трещин
и меж душевных галерей.
И я б спросить себя решившись,
так лучше петь и утешать,
не знал бы что ответить – пишут
кто как, и лучше не мешать.

* * *

И только первого июля,
себе не веря, не таясь,
отправить за море цидулю,
тем самым подтверждая связь.
Спросите, с кем?
Отвечу сразу.
С самим собой. С согласьем ждать.
И Родины своей заразу
не расплескать, не отдавать.

* * *

И если ты испросишь позволенье,
то это не любви угодья.
И если я боюсь твоих речей,
то поздно в крик.
Мне ни к чему – не по зубам –
держать в руках поводья.
Любовь неуправляема, как стих.

* * *

И ниточка узкоколейки –
чем не железная тропа? –
вильнёт, и дробность телогрейки,
и снега ранняя крупа,
и оголённость косогоров,
и небо косо – всё сполна.
Доколе усмирять своё норов?
Неужто вслед за мной вина?
Но тучи всюду неутешны.
Крупа, опять же. Ранний хлад.
Как узко видится безгрешным
узкоколейки ржавый ад?
Ведь ниточка в сибирской дали –
Сиблаг, погосты без стыда.
Хотя тебя сюда не звали,
лишь тянут прошлого года.

* * *

Памяти Е.В.

И мне бы на четыре тракта
вдохнуть и выдохнуть себя,
упав вдали от сёл и трактов,
мхи ненароком повредя.
И чтобы спутников дыханье:
«Неужто, братцы, не живой?».

А я, с неспетыми стихами, –
вне прозы жизни ножевой.

*   *   *

И ты, приспичит время, подверстаешь
тоски необъяснимой желтизну,
и вслед листам падёшь, уснёшь, истаешь,
как дым, прославивший твою страну,
как плахи позабытого порога,
и бодрость поредевшая друзей…
И всё не пропадёт. и боли будет много.
Но так заведено, когда ты средь людей.

*   *   *

И если ты евреем быть согласен,
то знай, сия затея повлечёт
вслед миллионы мыслимых напраслин
и некий отрицательный почёт.

Тебя повсюду занесут в реестры.
Ну, что же, на войне, так на войне.
Но отчего с тобой погибнет вместе
медведица на шишкинской стене?

*   *   *

И ты велеречив,
когда бы надо проще,
а то и вовсе замолчать,
и дверь забить,
ведущую на площадь –
ни знать её, не величать.
Молчанье – что?
Все речи завершает тлен.
Ступают по тебе?
И с Богом!
Теперь и ты
среди потерянных «колен».

*   *   *

И если тень от дерева,
то только за рекой.
И если боль немеряна,
то вечно под рукой.

А ты стоишь под деревом
и машешь, машешь вслед.
И всё равно потеряно.
И даже следа нет.

А горечь, горечь радует –
заботится, грустит,
не числит даль наградою,
побега не простив.

И вот уже под деревом
ночует тишина.
И только боль немеряна.
И только боль верна.

*   *   *
И, уходя, не хлопнет дверью,
не поцелует в хладный лоб,
а только взглянет с недоверьем –
неужто верен был по гроб,
и в слабости моей смертельной
ответа, вскрика не найдя,
вздохнёт – и заживёт отдельно,
ночами полыми хрустя.

*   *   *
И ты хвалить меня устанешь,
но я останусь безупречным,
и буду обнимать пространства,
чтобы отталкивать себя.

Я – беглый! От всего. От сути.
От станции своей конечной,
где все повязаны друг с другом,
но места нету для меня.

*   *   *
И будто память променять собрался,
а ты припомнила морозов сочный хруст…
Идёшь, а город в белом снеге заплутался,
и пар напротив милых уст.
И, надо же, такая холодина!
Давай, припустим вскачь и забежим в подъезд.
Не важно, чей. Он – наш! Ещё едины
со всем вокруг, и не грозит отъезд.
Давным-давно… Где этот дальний город?
Где сами мы? В какой стране?
И почему нам бесконечно дорог
мороз и хруст морозный в тишине?

*   *   *
И если Вы, меня судя, решите, так и надо,

от недотёпы что желать – ни то, ни сё,
не опровергну. Вы правы. Сомнительна услада.
Кто слогом был вне Родины спасён?

*   *   *

Сыну

И вновь отъезд… Как будто понарошке
ты был, и нет тебя.
Я не прошу ни капельки, ни крошки.
Мчись, время раздирая и дробя!

Тебе доспаривать, искать опору
в себе, а нам глядеть вослед…
Ты был иль нет? Я озираю горы.
Равнины озираю. Следа нет.

*   *   *

И всюду злоба дня,
ведь я создал насилие.
Попробуй убедить,
что кто-нибудь учтёт,
как виснут слёзы
в недрах изобилия,
и как подобье
наши спины гнёт.
Попробуй перестать,
ведь ты давно не маленький,
и миру наплевать
на строчек пятерню –
зажмёт в кулак
и вдруг припомнишь валенки,
подшитые, и снега кутерьму.
И сердце – вниз,
и вновь среди сугроба
охватит холодом небес,
и ты провидишь жизнь
свою до гроба,
и всё что сделаешь
себе наперерез.

*   *   *

И пальчиком грозит,
а, говорят, потворствует,
и строчками скрипит,
когда перо спешит…
Не верю!
Всяк с собой юродствует,
мол, чуточку всего грешит.

И пальчики, и слог –
прощенья заводи.
Наскрёб, уведомил –
и дальше, как впервой.
…Ты приходи!
Но только вспомни загодя,
что я не так как все –
совсем дурной.

* * *

И если ввечеру нет строк,
то гаснет вечер,
и звёзд не радует озноб,
и колок слух, -
уснут слова,
стихи потушат свечи,
молчат до полночи,
потом до двух,
потом проснутся вдруг
и нету сладу,
а тут восход,
и солнце вкрест строки…
Я не шучу.
Мне лишнего не надо.
Я их вложил
в излом твоей руки.

* * *

И ты сожжёшь мои стихи
не потому что плохи.
Они – наследники стихий
потерянной эпохи.
На сломе незабвенных дней
они лишь память боли.
Не оставайся рядом с ней –
дай пламю больше воли.
И в пепла горсточке, на дне,
что вровень с преисподней,
прочти, как нестерпимо мне
быть врозь с тобой сегодня.
Как отстраняясь, горячась,
Я крал глотки свободы,
Чтоб ты поверила сейчас –
стихи мои пригодны.
Но поздно пепел теребить –
слова неповторимы.
Другим другое говорить
другим любимым.

*   *   *

И в этой дымке облаков и гари
латынь стихов неведомых звучит –
латунная луна заученное шпарит
и вслед себе пространства волочит.
Песчинки мы! Металл забытой речи
не истончал за долгие века.
И всё в нём пониманьем человечьим.
И в дымной гари облака.
Но нет тоски. И будто не напрасны
ни мы, пока струится речь,
ни строк неведомые страсти,
в стремлении предостеречь.
И только смутное желанье
продлить луны латунный лик,
и ничего не знать заранье,
и не держать под спудом крик.

*   *   *

И запах лета ускользавшего
меж двух стожков на берегу,
и пробка сургуча, уставшая
хранить зелёную бурду,
в костре сожмутся и расплавятся
как горечь посреди души…
А что, неужто нам не справиться
и не продаться за гроши?..
зелёный отрок. Дни минувшие.
Изломы безымянных рек.
И мы, ещё не посягнувшие
на то что стоит человек,
ещё наивно полагавшие,
что цену эту не сложить…
И запах лета ускользавшего.
И страстное желанье жить.

*   *   *

И что с того, Голгофа рядом,
и мы потерянно кружим,
и говорим себе: «Не надо!
Ты сам себя заворожил».
И что с того, в любое время
на горло наступать своё?..
А дальше было всё по теме,
и верховодило враньё.

*   *   *

И этот Бог неуловимый –
то между слов, то между строк.

Ты головой к нему повинной,
но, как всегда, не в счёт, не в прок.
Лишь седины взамен бессчётно
и невозможность понимать,
как он, к стене судьбой припёртый,
вновь молит буквы обнимать.

* * *

И мне досталось от Победы
десяток фотографий траченных –
лицо не скорбное, но бледное,
и гимнастёрок шик «заначенный»,
и взгляда дальность – недоверие,
что выживают в смертном крошеве, –
стучи иль не стучи по дереву,
войну не кончить по-хорошему…
Мне и доныне трудно верится,
что всё-таки она кончается,
и молодой отец – растерянный?! –
ко мне навеки возвращается.

* * *

И Боря Слуцкий с цепочкой горшков,
и Пастернак средь предавших дружков
на переделкинском меридиане –
история и не таких заманит.

Дать слабину – и сердце искривить.
Дать слабину – и сердце опалить.
Ведь замолить дано лишь подлецу,
и жить легко лишь красному словцу.

* * *

И только средь своих императивов
так неуютно, так непросто.
И надобно топить печаль свою в строке.
Почто ты меришь всё отеческим погостом?
Почто ревнители его с кастетами в руке?

* * *

И признанным хотя б чуть-чуть,
хотя бы девочкой нелепой,
с какой-то старомодной лентой,
случайно приподнявшей грудь.
Она ещё не доросла
до бесконечных слов обиды,
когда с душою инвалида
ты станешь жертвой ремесла.

Она – поэзия сама,
с её невнятною надеждой
невразумлённого письма.

*   *   *

И ложь прочту. И стану невменяем.
И сам зачем-то напишу другую ложь.
Ну, кто я, чтобы молвить: «Обвиняю!»
Мне самому дорога на правёж.
Ну, кто я, чтоб указывать закатам,
рассветы упреждать, морочить день,
когда самим собой закатан и упрятан
за тыщи вёрст от детства деревень?

*   *   *

Памяти отца

И он, прощальный, тихий до беззвучья,
не шелохнулся до сих пор,
как будто я в дали везучей
забыл наш давний уговор:
по первости спешить постыдно,
расталкивать, ловить момент,
потом и вовсе – локти видно,
и слышен совести акцент.

*   *   *

И только шкуру продырявив,
до сухости шершавой износив,
я осторожность потеряю,
от нетерпения вкусив –
и там, где надобно молчанье,
где следует себя стеречь,
как запоздалое мычанье
моя изношенная речь.

*   *   *

И я отделюсь от Америки –
ещё бы, бесценный опыт –
и буду третью отчизну
намётанным глазом искать,
ведь мне, догадались наверное,
любить до икоты охота,
заглядывать в милые очи
и – ничего не писать.

*   *   *

И где воды зерцало
похитив небосвод,
ни много и ни мало
хранит прилежный ход
луны, звезды вертлявой,
блудливых облаков,
не ради пошлой славы,
утехи слабаков,
а только леса ради –
его резная рать
стоит, в зерцала глядя, –
ни тронуть, ни отнять,
и где из века к веку
случайный хмурый взгляд
вдруг вспомнит – человеком
он был сто лет назад,
сто лет не замирая
перед сплетеньем вод
и небо не вбирая
в раскрытый счастьем рот.

*   *   *

Памяти мамы

И будто куриная лапка,
шершава и невесома,
и надо же, вроде гладит,
и вроде таит тепло,
а ты, большой и угрюмый,
среди забытого дома
не знаешь, кричать или плакать,
и как случиться могло.

И будто куриная лапка
тебя прощает и даже
слёзы роняешь густо,
смываешь позор седин,
ведь не было, не было вовсе
ни тюков поспешной поклажи,
ни беглых телодвижений –
был рядом живущий сын.

*   *   *

И это зачатье несчастное –
немцы стоят на пороге.
И эти метания страшные –
тысячи вёрст ерунда.
Бежал, ещё не родившись.
Тошнило маму в дороге.
Какие тут могут быть радости,

когда повсюду беда?!

И это зачатье не вовремя.
Но мне ведь иное не дадено.
И тысячи вёрст для спасения –
враги наседают вдогон…
Не знаю, не понял, не ведаю,
что мне на роду нагадано.
Лишь мама – несчастною девочкой
и наш, в слезах, эшелон.

*   *   *

И щепочки нужны словам, и шепоточки,
и буковки, чтоб вынянчить строку,
и записные ангелочки –
кривые крылья на боку,
и рассуждения, как будто
рассудком милую берёшь,
а сам всё поджидаешь утро –
беспамятства пройдёт галдёж.
И снова щепочки за дело,
и жизни всюду дополна.
И если вышла неумелой,
то в том не буковок вина.

*   *   *

И вслед за тенором, за тенором –
какой тут может быть успех? –
я проскользну, молвой потерянный,
при детях, при тебе – при всех.

Ведь ничего не спелось славного.
Подумаешь, скрипел пером –
не бегал за трескучей славою,
да рифмам подарил перрон?!..

*   *   *

И вроде дом… Да, нет – бездомье.
И вроде жизнь… Да, нет, ведь суть
не просто комнаты раздолье,
а жажда глубоко вздохнуть
и, наблюдая перемены,
себя в миру переместив,
знать, ты не создан для измены,
себе измену не простил.

*   *   *

И на придворного похож – так раболепен.

А суну палец между строк, о том забыл.
Где правда? Кто себя изжил, предвидя лепет
и царские превратности чернил?

Отселя и досель проходишь фертом,
строку ломаешь или рифмы льёшь,
и на ревнителей глядишь бессмертно,
и тут же дрянь слабительную пьёшь.

Да, слаб. Да, резв. Но что с того бумаге?
Она ведь не прознает, кто каков.
Где правда? Где глотки отваги,
когда навстречу гуще подлых слов?

* * *
И было бы стремление к показу –
куда ни шло.
И было б наслажденье ролью –
нету роли.
Случилось.
Жизнь прошла,
и слово потекло,
настигнутое болью.

* * *
И этот день порфироносный –
поверх снегов мороза стать,
вдали поскрипывают сосны,
готовые повелевать.

И нет ещё тропинок спорых.
Всё плавно – будто навсегда
округлы стали наши споры,
невинной мёрзлая вода.

И, пользуясь неспешным шагом,
исторгнешь из бесстыдных лет
всё то что не смогло быть благом
и не нашло в душе ответ.

* * *
И вдруг – наплывом – жизнь военная,
как будто скопом – от крыльца –
встречают целыми деревнями
то брата с мужем, то отца.

И это ожиданье внятное –
о смерти не приемлют речь –
с тобою, вовсе не отнятое,

ведь будешь до конца беречь.

*   *   *

И было стыдно Мандельштаму
за шестипалого вождя,
который счастье прикарманил,
с ним разговор за всех ведя.
И было стыдно, что с порога
стремятся угодить во власть,
и тот, кто подвизался Богом,
знал за собой такую страсть.
И потому одна надежда,
чтобы себя живьём не съесть,
дать власти знать – она невежда,
и ей меж строчек не пролезть.
А там, что будет, то и будет.
Кто на по жизни судия?
Острог заманит, звук рассудит –
в чём послевкусье бытия.

*   *   *

Как будто звуки не улики?!
Да, вот молчать не довелось.
Лишь там, где царство повилики
мы звуки вешаем на гвоздь.
И отлетевших провожая,
и отстрадавших проводя,
молчим – не тщимся урожаем
в горох и крапинку дождя.
Пусть барабанит. Бог на помощь!
Как Вам, где тишины сполна,
где в землю вложен словно овощ,
и это красная цена?

*   *   *

Кому он нужен, этот Трифонов?
А сами мы? А этот мир?
В обмены пустимся, тарифами
измерим, где не прав кумир,
и почему он верил в лучшее,
когда строку пускал вдогон
мечтам? А вдруг не всё получено
в стране, где не возможен он?
И в «отблесках костра» из прошлого –
кому они нужны, костры? –
сумеем ли извлечь хорошее
из той, заплёванной версты?

*   *   *

Куда бы не завела,
но троп здесь не полагается.
Повыше тебя снега,
но ближе небес они.
Стрелка как будто пьяна –
шатается и шатается.
А что ей делать, когда
мы в целом мире одни.
Меж небом и снегом проход,
пролаз и тому подобное.
Смотреть вокруг недосуг.
Солнце клонит голову.
Куда бы не завела…
Ты знаешь, не раз мы пробуем
вывести из себя
начатую главу.
Вот и сегодня облом.
Снова ночёвка застукает.
Небо со снегом сомкнут
челюсти темноты.
Нам надо всего ничего –
прогал со смолёвыми сучьями,
и любопытных звёзд,
надо ж, земные рты.

*   *   *

Как холод свеж – раздвигает занавески
и бродит меж усталых ног.
А за окном чернеют перелески,
и осени заученный пролог.
Ведь скоро белое – до боли,
до содрогания души,
и будет белизны неволя –
мы, видно, всем нехороши.
Ведь снег твердит – блажен кто ровен.
И мы забудем и простим,
и больше не нахмурим брови,
и грешное не навестим.

*   *   *

Конечно, не в ладу со всеми.
Мой стол так мал, пойди, найди,
в какой определиться теме,
и что поддержкой впереди.
И Вы, заглядывая в строчки,
не наседайте – слишком общ.
Ещё не все прознал уроки
моих – не живших с Вами – рощ.
И в них гуляя ненароком,

и расплетая звуком нить,
не стану присягать пророкам,
не подучу, как надо жить.
Не знал. Не знаю. И подавно
не вижу смысла в том сейчас.
И то что Вы сочтёте главным,
не принимайте за подсказ.

*   *   *

Как смерть права,
когда посмотришь справа,
как подла,
если слева поглядеть.
Всё умирает –
Время и Державы,
которые брались за нас радеть.
Как начиняли нас,
как комкали начинку –
поди теперь, в серёдке разберись,
а ведь кричали дружно –
без запинки –
за Сталина,
и отдавали жизнь.

*   *   *

Как генуэзец выпустить чуму из Яффы, и дать ей волю.
И всё сравняв – шутов и королей – она устанет вдруг.
Бубонная, одна ты воцарилась на престоле –
ни царедворцев, ни подруг.

Как книгочей унять призывы полок, потолки приблизив.
Здесь короли, шуты равны не смертью, а строкой.
О, шрифт, ты в Кафе генуэзцев сохранил сюрпризы –
я книгу левою держу, не сильною рукой.

Вот и сошлись века и память в день обычный, серый.
И пандемия книг сквозь стёкла – сверху вниз,
но прежде пандемия букв сравняла в строчке нервной
то божий гнев, то авторский каприз.

*   *   *

Как жадность на слова свя́та,
так многословье свято.
И ты не потому спешишь,
что надо наверстать,
а потому как есть,
что в слове прятать,
и есть кому пытаться
быть под стать.

*   *   *

Как голос, выводя на свет
забытых песен слог печальный,
прознает суть испытанной беды,
и нет ему забот,
что приоткроет тайну,
и на подмостках
всяк найдёт её следы.
Ведь иначе не петь,
ведь иначе не знаться
с тем просветлением,
когда стекает звук,
и пусть тоска горазда
возвращаться
и погружать в глубины
прежних мук.

*   *   *

Коль скоро, этому режиму
проснуться знаменитым, а потом
братоубийственной машиной
стать
иль фермой со скотом,
и формовать нас, полорогих –
так, что ни в чём не изменить –
то поздно говорить о Боге,
да и не просто извинить.

*   *   *

Когда меня пошлют в чистилище,
я вспомню будку у реки,
нар срубленных наспех вместилище,
двери подобье, в три доски,
и горняков, моих апостолов –
рукасты, истовы, просты –
не норовят руками по столу,
так твердокаменны персты.
Им словом баловаться нечего.
Шурфы – «на проморозку». Март.
И надо уползти до вечера
в дощатый, выстуженный ад.
И если я, бедой не траченный,
не вызнавший житейских смут,
их полым звуком озадачивал,
то пусть в чистилище учтут,
что после полагал нетленными
вечери тайные, тайгу,
и верил, что поладив с Временем,

я должное сказать смогу.

* * *

Как в поле лес, а лес в беззвучье,
в едва читаемую даль,
перетекают, душу мучают,
подносят новую печаль,
и в тихий час, и в полный криков,
бредут себе, насколько ты
способен возвращать великим
свои намёки правоты,
насколько поле с лесом правы
непостижимой правотой,
а ты журчишь, взыскуешь славу,
когда бы – волю и покой.

* * *

Парамским порогам р.Витии

Конечно, славно, лес на взгорье,
в подполье скользкотня маслят,
и только слух о чистом поле,
где колокольцами звенят,
где ямщики… А наши степи –
гора к горе, подъём в подъём –
река их нехотя расцепит,
и станет ровен окоём.
Но это временная сдача –
сомкнулись снова, скал «прижим»,
и ты, течением подхвачен,
летишь, не мёртв, но и не жив.
И выплывая из купели,
из преисподней, из камней,
трещишь неделя за неделей
о неизбывности тех дней.

* * *

Лишь гений промахов уверен,
что дней бесцельна суета,
и бесконечные потери
должны клубиться подле рта,
поскольку выгодны, и даже
достойны ржавого пера..
Я взял его всего однажды,
да, видно, не пришла пора.

* * *

Лишь здесь, на пашне муравьиной,

не различим травинок тлен –
вся муравьиная долина
полна мгновенных перемен.
Черней себя, чернее ночи
и торопливей облаков,
они напрасно не хлопочут,
не ищут дур и дураков.
Лишь с переборами походка,
да нити безымянных троп…
И недолга. И жизнь короткой
не кажется. И мой урок
их не научит, не обяжет.
Ползут себе, куда с добром.
И каждый бессловесно важен.
И ни к чесу водить пером.

*   *   *

Лишь гогот одиночный
в беззвучии среды,
да солнца луч непрочный
вдоль краешка воды.
Она под вислой ивой
темнее позолот –
настоль неторопливо
заката солнце пьёт,
а вдаль – полна надрезов:
гусыни, гусаки,
ни капельки не резво,
лишь прихотью ноги
её кроят небрежно,
плывя туда-сюда –
и всё в них неизбежно,
и всё в них навсегда.
И ты, идя по краю
недвижных, тихих вод,
вдруг разом понимаешь,
как близок небосвод,
коль гусаки, гусыни,
без всякого труда,
в его бездонной сини
плывут туда-сюда.

*   *   *

Лишь своё – непотребное –
без умолка храня,
вдруг услышу хвалебное
среди белого дня.

Вот и свиделись, значится.
Сердце ведало? Да.

Как живалось?..
Ты в платьице.
Век на сломе. Среда.

* * *
Лишь по возможности, по случаю
строка – банально повезёт,
когда и сверчена, и скручена,
и корку радостно грызёт.
Жаль, скуп припас. И слово подлое
то убегает от меня,
то обернётся вдруг зазнобою
в загулы поздние маня.

* * *
Лишь снега запоздалые,
сразу в сердце Чита,
и морозы усталые
подле горького рта.
А над сопкой Титовскою,
в гуще низких небес,
первозданными соснами –
давний, срубленный лес.
И весёлая женщина
то ли манит меня,
то ли дружба обещана
среди белого дня.
Мне и ныне не ведомо,
где истоки любви –
не зарубки победные,
не гормоны в крови.
Потому в запоздалое
после жизни входя,
ничего не обжалую –
ни тебя, ни себя.

* * *
Мне важно всё, что думает пацан
из той, дворовой босоногости,
и что кричит мне лучшая из мам
в порыве неподдельной строгости.

Мне важно всё: от выбитых окон
до куличей в квадратике песочницы,
и как в душе слагается закон
наивной детской непорочности.

Покуда двор, сараев городьба
ещё подвластны и совсем не страшные,
и рано вразумлять, что в некий час судьба

примкнёт штыки – и в рукопашный…

* * *

Детям

Мы все горазды знать других,
себя – куда как сложно.
Но повторяю, я не прав –
дурной пример.
Как сложится у Вас?
Молчу. Всяк век ясновельможен
и страсть как любит избавлять
от собственных химер.

* * *

Мы едем. Это странно.
Страна осталась сзади.
Нам даже океаны
дозволено погладить.
Зато на континенте,
родимом и суровом,
остались диссиденты
намереньем и словом.
Когда бы я от лиха?!
Так, племенные страсти.
Не знаешь, где шумиха
и где угрозы власти.
Но едем… Что добавить?
Что побеждает проза,
и не удастся сплавить
своей души угрозы?

* * *

Может что-то получится?
Наледь, дым, полынья,
и сагжоям не мучиться
среди белого дня?
Будут весело, взапуски,
мимо дымной воды
и в печали, и в радости
в снег печатать следы?
Мне бы с ним. Да велено
сторожить полыньи –
жизнь сагжоев доверена,
потому как они
не привычны, не учены
укрощать жизни бег,
и за дымом излучины
их отечества брег.

* Сагжои – бывший домашний олень.

*   *   *

Мы поперву ещё горазды
с собой носиться, взлёта ждать,
мол, где шутихи и петарды,
твоя погуливает рать,
мол, где основы ниспровергнут,
случится счастье на века…
О, Боги! Мне бы Ваши нервы
и терпеливости рука.

*   *   *

Мы станем жить на лукоморье,
на самом краешке залива,
где берег оседает будто
и исчезает под водой.
Ты будешь сторожить закаты,
задумчива и терпелива.
Я буду занят междустрочьем
и незатейливой едой.

Закаты станут приземляться
как раз напротив стен непрочных
и объясняться с миром древним
ежевечерней новизной.
Мои фантазии устали,
но, зная цену многоточий
и красок жизни бесполезность,
я должен биться с белизной.
Закаты не идут в бумагу,
в её лощёное безмодвье.
Им нужен воздух лукоморья
и шелест бережной волны.
Но странно, лишь строку поставить
кровати нашей в изголовье,
мы видим долгие, цветные –
незабываемые сны.

*   *   *

Мы все на публике другие.
Куда бы строчки не гони,
все намерения благие
не оживят пустые дни.

Мы все на публике иначе.
А тут – кривая кочерга,
и сажей чертишь об удаче

ловить небесные слога.

Ну, что с того, когда с укором
и ближние, и даже сам
не очень веришь?! Гиблый норов
зазря пролился по усам.

* * *

Мне б красть, но воздух так подвижен –
ни подловить, ни подстеречь –
моим желанием унижен,
он не стремится скрасить речь,
и потому она – сухотка,
и потому она бедна,
а то, что раздирает глотку,
так плоско – бездна не видна.

* * *

Не распинаясь перед каждым,
не убеждая – просто так,
прознать – высокой речи жажда
души не разгоняет мрак.

И сколько б не было усилий,
и где бы нам не горевать,
всего-то вспомнят – жили-были,
строку пытались обаять.

* * *

Ну, придадут тиснению, ну, вычтут
сомненья рук, предплечий, странных слов,
и на обложке споро и привычно:
такой-то, там-то… был таков.

И видя строчек трудное дыханье,
их разомкнут, распустят по домам…
Да, был ли ты, говаривал стихами,
не догадавши – аз воздам?

* * *

Но суть когда-нибудь вернёт свои приделы:
сплошная твердь, сплошная твердь,
и наш достаток неумелый
не сможет в лавах уцелеть –
дотла сгорит иль испарится,
и твёрдым станет всё и вся –
и Богу вновь черёд трудиться,
Адама с Евой не спрося.

*   *   *

Наладились песни лудить.
Наладились за нос водить.
И глоток продажное дно
с любою строкой заодно.

Когда бы на правду напасть –
услышать и тут же пропасть –
не звуки, а створки души
раскрылись – сиди, не дыши.

Наладились счастье копить,
и в песнях счастливыми быть,
а песни – дороги тоски
сквозь кладь гробовую доски.

*   *   *

Но только нищете подвластны
полёты над пустым столом,
нагие мысли, слог бесстрастный,
без сожалений, что потом,
и та, в колдобинах дорога,
где глупо ускорять свой шаг,
и света много, скорби много,
и просторечье выше благ.
Стучит судьба. Советов благо
всё норовит предостеречь.
К чему? Зачем? Коль шаг за шагом
в тебе находит силы речь.

*   *   *

Не то чтоб понять, ну, как бы почувствовать – рядом
не воздух вершинный, а тлена осенний помол,
и зябко на сердце, и горечь… Не очень-то надо
нам истины ставить на жизни обыденный стол.

Они неуютны. Они ненасытны. А небо,
как осень, капризно – то синь, то свинцовая мгла.
И что от бесценности корочки чёрствого хлеба,
когда поседеешь, и нету двора и угла?!

И что от посулов, которые, нет, не беспечны.
Уже не по силам вершинный – бездонный – озон.
Мы были всесильны. Мы стали стары и конечны.
Неужто есть в истине этой какой-то особый резон?

*   *   *

Но только помрачения не надо.
Умом итак нисколько не велик.
Был рад тому что есть.
Жаль, ты не рада –
чуть что, и отворяешь крик.
И я кричу. И помраченье чую.
Так мелок тон и пуст предмет.
Я слышал, что любовь врачует.
Иль устарел шекспировский сонет?
Пусть так. Но не зови преуменьшенье.
Мы выровняем тон и выскажем сполна,
как истончало чувств коловращенье,
и как ущербна поздняя луна.

* * *

Не обречённость, не докука
добычливых, суетных дней,
а лишь попытка взять у звука
нить Ариадны в мир теней.

* * *

Но если в голову приходит,
а руки верят голове,
то поздно думать о народе –
ты царь невзгодам и молве.
И всё, что важно было третьим,
а нынче выгодно вторым,
тебя не греет – и не светит
стать в послушании иным.
Подкожен страх. Но ты без кожи,
и неуместно горевать…
Был голос неразумно вложен.
Ты – царь. Тебе повелевать.

* * *

Но таинство всегда в подбое,
в изнанке, траченной душой,
в творимом над собой разбое:
ты – мал, а в слове – сам большой.

И можно миру вслух перечить –
слова пригодны, если смел,
и жизнь свою горазд калечить,
и в этом деле преуспел.

* * *

Но мой пример – такая скука:
то вверх по склону, то повдоль,

и молоток в руках, а руки –
камням послушная мозоль,
ведь в них мильоны лет и боле…
А у меня что про запас?
Такая скука – наше «поле»
вне чувства времени – вне Вас.

* * *

Но в этом мире полудачном
ни засек сонной тишины,
ни каланчи времён кулачных
той, Богом избранной страны.
И околоточный опальный
из-за крыжовника куста
не глянет грешником печальным
на калик, помнящих Христа.
Нет ни песчаного просёлка,
ни бойких баб с лузгой у рта.
И жалко всё. И без умолка
бренчит заморская верста.

* * *

Не упрекай меня. Слова неутолимы.
Лишь подоткни края неровного листа,
да выйди в тишину – она, как мы, ранима,
и одинока тоже неспроста.
Лишь выйди за кусты, что вперемежку с тенью
плутают вкруг окон и позднего тепла.
Не упускай меня. Пусть полон неуменья,
да и пишу как будто бы со зла.
Всё на себя! Всё на листы! Так куцы
слова, рождённые стареющим пером.
Уж лучше вовсе не дружить с безумцем,
когда леса за домом, за бугром.
Вот там и вправду тишь, и не нужны сравненья.
Всё знает свой черёд и не стремится вспять.
Зачем они, стихи? Украдено мгновенье?!
А для чего, не суждено понять.

* * *

Ну, похвали ещё –
и я поверю.
Ну, приласкай ещё –
и я уймусь,
на жизнь взгляну
усталым зверем,
не стану выяснять,
откуда грусть.

Ну, уведу тебя –
куда, не знаю.
Ну, пропадём вдвоём –
как не пропасть,
когда зима
чувалы набивает,
и снегу столько –
некуда упасть.

* * *

Не сыт песком. Он ветренен, непрочен.
Пейзаж он движет день и ночь:
то выстроит бархан, закатом позолочен,
то похрустеть равниною непрочь.
Но как игрив?! Как ускользает змейкой –
курится, дышит?! Глядь, и уползла.
Ты ловкая! Поймать её сумей-ка –
след в след до горизонтов сна.
Ночь… Что к чему? Какие, там, барханы?!
Я сыт своим. мне ветренность претит.
Во сне сродни ты махе в дивной раме –
разглажены черты дневных обид.
А я смешон, прощённый иль забытый,
извилины хрустят невидимым песком.
Курится, движется мой мир, с твоим дыханьем слитый,
но я молчу о том или шепчу тайком.

* * *

Но вечностью не соблазниться
и, оставаясь при своих,
доступной речью прокормиться,
напрасно не тревожа стих.
И там, где за бугром пологим
щербатой россыпью забор,
прилечь подальше от дороги,
с самим собою не закончив спор.

* * *

Не собственно вода, которая струит
то прямизну, то ответвленья,
а берега бессчётное волненье –
насколько благонравен вид,
ведь рябь всё может изменить –
морщин добавит, поседелость…
Как мало говорит умелость?!
Как трудно старость извинить?!

* * *

Но многое закономерно –
старенья смятые черты,
и памяти чертёж примерный
из той – сермяжной – простоты,
из непроезжего проулка,
где мяч кирзовый жестче ног,
и слово лакомое «булка»,
казалось, произносит Бог,
из школы переростков – сонных
на физкультуре с мелюзгой,
и уголок души укромный –
ты одинаков иль изгой…
И всё-таки, роняя перхоть,
остатки жалкие волос,
когда впервые «надо ехать»
тебе услышать довелось?
Когда проулки и засады –
то детство в лапах нищеты –
взошли, о Бог, святей, чем правда,
чем неподкупные мечты?

* * *

Не в каждой осени загадка,
не в каждой осени ответ.
Но, как всегда, полна палатка
её незыблемых примет:
облеплена листвою ржавой,
продрогла, тучи сторожа,
денёк-другой, и снег хожалый
начнёт твердить: «Здесь мне лежать»,
но тут же закоптит печурка…
И где он, белый и лихой?!
И где мы, если сивка-бурка
должна нас возвратить весной?

* * *

Не предъявляя обвинений –
для вечности они пусты –
ты в кандалах стихотворений
познаешь тяготы версты,
она откроет и отсудит
твой бесполезный ближним дар,
и собственным аршином будет
оценивать удобства нар,
и в скопищах влекомых властью –
шаг в сторону, и ты не жил –
вернёт тебе черты бесстрастья,
чтоб лёгкий путь не ворожил,
ведь, если мы страшней чем звери,
какой резон, себя томя,

строки испытывать доверье,
мир ни на грош не изменя.

* * *

Не голос времени, а пауза,
когда дерев колокола
смолкают, ветер лижет жалюзи
и кожу листьев на столах.
Они верандою заначены,
багрянцем близких холодов,
и незабытыми удачами
далёкой жизни городов.
Но дальнее уже не ближнее.
Но пауза не сдержит снег,
и на веранде обезжизненной
я вновь и вновь припомню бег
других снегов и предвкушения –
далёкий город верит, ждёт,
и рук забытое смущение
в тебе – единственной – найдёт.

* * *

Но за колючей проволокой
тайга с зелёной поволокой,
ряды чахоточных сушин
и снегом траченных вершин.

Они-то не виновны вовсе,
и с них никто нигде не спросит,
за что их оболгали мы –
гулаги пострашней чумы.

* * *

Но брезжит свет,
и синь чернильна,
и проступает суть примет
ещё не густо, не обильно,
как сквозь туман
окошек свет,
как сквозь письмо
твоя походка
и ясных слов
смиренный тон –
я жду рассвет,
он прячет тропку,
а тропка твой
откроет дом.

*   *   *

Но если не изгой, то песни в хоре,
и приседанья, и повтор,
а мне моё подайте горе,
мне свой – без просвету – укор.

*   *   *

Не больше, чем на самом деле –
до безутешной голизны…
Когда бы мы сказать посмели
иль отказаться от казны?!
Когда бы в спозаранок гулкий,
не видя просверков вокруг,
сомкнули вместе переулки
полудрузей, полуподруг,
и с ними рядом, не поодаль,
не озираясь, не стыдя,
чуть приподнялись над угодным –
чуть обозначили себя?!.

*   *   *

Не поздно ли? Мальчиком юным
пристало бежать за строкой,
и утром молочным в июне
нащупывать солнце рукой,
и там, где трава не по пояс,
но выше твоей болтовни,
о позднем тепле беспокоясь,
встречать богоданные дни,
и вечером, сон отгребая,
без устали глядя в костёр,
не думать, ты в центре иль с краю,
и много ли счастья с тех пор.

*   *   *

На перекрёстке газетном
не «суржиком» я был пленён,
а девой, юностью одетой,
в тени дорических колонн.
Она невинно открывала
приметы ранней наготы –
два нежно-розовых коралла
сквозь безупречные персты.
И было взгляда отстраненье
не от дорических колонн –
природой данное уменье
не видеть зло со всех сторон.
Поверх голов, поверх сомнений
она несла безгрешно плоть,

как плоть словесных откровений
нёс в нас поверивший Господь.
И Древней Греции колонны
не знали, как предостеречь,
и что во Времени бездонном
нам полагается беречь:
невинной девы стан округлый,
кораллы девственных грудей
или предательские губы
всё осуждающих людей?

*   *   *

Сыну

Но истина превыше!
А где слова?
Луна легла на крыши.
Серебряна трава.
И ветер как дыханье
наследника во сне,
и будто – под стихами
мы праведные все.
И ты совсем не лгущий –
луна всегда луна,
да и трава как кущи
серебряного сна.
Так что бывает выше?!
Наследник сладко спит.
Перо бессонно рыщет –
вне истин, вне обид.

*   *   *

Но мне он нужен, этот маленький
глоток свободы над строкой,
хоть знаешь, ты давно не маменькин,
не ходишь под её рукой.
И знаешь, как свобода скроена –
иди туда, иди сюда,
и все походы обусловлены,
и все промеряны хода,
и маменька, с улыбкой млечною,
с любовью, нужной нам двоим,
не посулит: «Стал выше к вечеру –
в любой разлуке устоим!»

*   *   *

На расстоянии руки
бумага движется
для безутешного меня,

и вот уже луна колышется
в разгаре дня –
в потёмках дня.

И вот уже по солнцу пятнами –
но не приблизилась рука,
и безутешный,
в шкуре латанной…
Ну где ты,
Времени река?

*   *   *

Но мало-мальское уменье,
теченье ровное слогов,
не более чем наважденье,
приманка звонкая богов,
ведь боль нема, негромогласна,
и надо с ней в обнимку лечь
в подзола мёртвое бесстрастье,
где ничего не значит речь.

*   *   *

Памяти ушедших

Ну, ладно, метафизика,
всё с птичьего полёта
под вечности колокола,
а тут окрест морошка на болотах,
да на увалах камни в полстола.
Иные и поболе и округлы, будто шоркала судьба.
Ну, ладно, мы сполна от солнца смуглы,
и пот не покидает лба.
И тоже в метафизике горазды,
когда под облаками на гольцах
глядим окрест несуетно, непраздно –
как бы от Первого лица.
А вечность, звон… Ведь не услышим даже
прощальных трав сухие шепотки:
«И этот отскакал. А помните, однажды
он вместо флага вывесил портки».

*   *   *

Жертвам гулагов

Ничем я не рискую.
Зима неотвратима.
Мы ляжем, ряд за рядом,
поленьями в мороз.
Ты приходи попозже,

когда в руках Гольфстрима
зелёное воспрянет,
взойдёт среди берёз.

Ты походи по трупам.
Нам с той поры не больно.
Мы полежим, покуда
нас одолеет тлен.
Напрасно ожидали
народное – «Довольно!»
Народу не наскучат
вожди и вкус колен.

* * *

На кружевах теней то всхлипы селезней,
то шепотки гусынь,
и даже рябь с утра светлей и бережней,
как будто в рассуждении святынь,
как будто чайка праздная, по берегу
небрежно шествуя, тебя перечеркнёт.
Дай место мне на краешке Америки,
где кончу свой непрошенный полёт!
Какая тишь! Нет шинного шуршания,
лишь треск шероховатых губ,
и селезни, и селезней страдания,
и снисходительность их сереньких подруг.

* * *

Назавтра ты один…
Но я один сегодня.
Назавтра ты другой…
Так кем ты всё же был?
Какую роль тебе готовит сводня,
пока ты в одночасье не почил?
И нынче не горазд…
Не дай мне слабоумья!
И нынче не силён…
Не дай настолько пасть,
чтобы зависеть от чужих раздумий,
и между строк влачить чужую власть.

* * *

Не спрашивай – не знаю.
Не отвечай – молчи.
Строка переползает,
неслышимо кричит.
Строка поднимет вью,
к рукам твоим прильнёт…
Не спрашивай – живые,

покамест суть не врёт.
И вместо слов, и вместо
расхожей болтовни,
тебе и мне известно –
мы навсегда одни.

*   *   *

Но выше всех соблазн пера –
Вселенную, и ту очертит,
и смерти поступь не заметит.
Она пришла ещё вчера.

*   *   *

Не путать посуду
и можно прожить.
Прощайте покуда.
Нас проще забыть.
Не путать причалы.
Пароль устарел.
Костры запоздалы.
Я в ночь улетел.

Не путать конверты.
Вы как там? А Вы?
Не слишком раздеты?
Тенеты молвы?
Не верьте! Мы – люди,
в конце-то концов.
И мы не забудем
прощаний лицо.

*   *   *

Неужто кто-то сортирует
добро и зло в судейских рамках,
а я, подписывая бойко,
сам по себе добро и зло,
как та страна, где на престолы
пытались вытолкнуть кухарку,
а за её спиной ковали
безмерной власти ремесло.
Но я ведь тоже бессердечен,
когда на плаху посылаю
то эту букву, то другую,
до крови строчки теребя…
Неужто кто-то сортирует
и с удивленьем понимает,
что я собою не торгую?
И плаха только для себя.

* * *

Ну, нет уж, увольте. Я так не уймусь.
Я мёртвым, покамест светло, притворюсь,
покамест не стихнут убийц голоса –
смешение шавки и лютого пса.

Жидовское счастье – спасения ждать.
Смертельную пулю слегка придержать.
И жалобный стон, выползая из рва,
унять, будто может услышать трава.

Оржавлена, ржава… Кровища и мрак…
Ну, нет уж, увольте. Здесь подлый большак
откроет, подставит… Я снова – в траву,
и вздох облегченья навек оборву.

И там, где травы незаросший прогал,
увидят, как я свою смерть огибал,
как шавки и псы, устремившись за мной,
следы оставляли на тверди земной.

* * *

Но тот, кто должен возразить, не слышен.
Но тот, кто должен поддержать, исчез.
Ты оставался меж цветущих вишен,
и сам себя потом оставил без…

ну, перечисли, что ушло бесследно.
Ну, отстранись, утраченное где.
О, как мы были бесконечно бедны,
как сытость относительна везде.

Имея то и то, и даже это,
вдруг оглянешься – воздух опустел…
Но тот кто может возразить – в поэтах.
А тот кто должен поддержать – тот преуспел.

* * *

Памяти Б.П.

Оно и сейчас вопрошает,
фото «четыре на пять»,
жить понарошку мешает,
время пускает вспять.
Выпуклых глаз вопросы,
рана оленьих губ…
Разве остался с носом
вечности однолюб?
Им и сегодня бредят,

не разбирая путей:
словом – супротив тверди,
словом – супротив смертей.

* * *

Памяти погибших в погромах

О, если б мой прадед певал, о, если б,
как горд был я, как сам запел…
О, если б мой дед молчал, и песни
вокруг молчали – и я б не смел…
Молчание – что? Может кто и расслышал,
как я их ночами долгими звал?
Шагал скрипач по еврейским крышам.
Мой прадед, быть может и ты шагал?
Мой дед, быть может и ты лукавил –
какие внуки, сам гол как сокол –
и бабушку в угол ребячливо ставил –
опять селёдка – на ржавый стол.
О, если б они, собираясь с духом,
чуть слышно шепнули: «Куда ты, пострел?»,
я б знал, где земля им не была пухом,
но я б оставить их не посмел.

* * *

От неудобства парика
до склочной тени старика…
Ну, что, сыграем в дурака,
судьбы игривая рука?
Иль натешилась давно,
и всё одно, и всё одно?

* * *

Ограда к ограде – двойные дворцы,
металла ажур с маломальским узором.
И матери всюду. И всюду отцы.
И ломкая веточка – вечным запором.

Калитку открою. Я вновь побывал,
отметился, прибыв из дали прекрасной.
И слова не молвил. И суть не прознал.
И ломкая веточка лишь не напрасна.

* * *

О, эти отцы несносные –
ну, взять бы и в путь отправиться –
легли навсегда между соснами,
мол, воздух смолистый нравится.

А мы улетели, безгрешные –
хождение к соснам мучительно.
Мы нынче по жизни – не здешние.
Зачем нам падеж родительный?

Иль помнится, помнится всё-таки?
Или забвение дадено?..
Отцы, сосновые просеки,
и совесть ещё не украдена.

* * *

Октябрь, как флорист глазастый,
раздвинул, высветил, сцепил
курчавый лист, сучок лобастый,
и сверху синькой окропил.
И наперёд не понимая,
зачем ему надежд простор,
всё дальше зренье продвигает –
на сивера его простёр.
Не надо, милый мой, покуда
мы, опустелые, бредём,
зима поддаст, и белым плугом
сравняет дол и окоём.
И ни флористов, ни листочков
с бордовой крапинкой в лице –
лишь поутру зверья следочки,
да кошки лапы на крыльце.

* * *

Отцы врагами были…
Народа или фальши?
Отцы шутить не смели –
пугала власть.
А я играю словом
и полагаю дальше,
и некому вражину
в Гулаг сослать.
Но главное не это,
а то что скажут дети:
«Неправду проворонил!»
И этот стыд не смыть.
Иль фальшь всегда обычна
на этом белом свете,
и мне они позволят
тихонечко дожить?
Не знаю. Не умею
загадывать решенья.
Я и отцов жалею,
и детям говорю:

«Сумеете – чертите
своей души движенья –
свободы отношенье
к себе и словарю».

* * *

Прочь все титулы, прочь!
Рядовой неудачник,
под соломкой пера
разглядевший строку
и открывший под старость
с ответом задачник –
«не известно как входят
в бессмертья реку».

* * *

Подальше от сердца, подальше –
оно, на поверку, одно,
и лучше не думать о фальши,
и врать, что тебе всё одно.

Подальше от слов, от эпохи,
от равенства розовых грёз.
Мы сами не то чтобы плохи,
но больно пристрастен вопрос.

Мы сами не то чтобы смелы –
умчались, поди догони,
но сердце по-прежнему слева,
и помним прощальные дни.

* * *

Потому и пишется, что ночью,
слыша перестук невидимых колёс,
путь к душе становится короче –
привилегированным до слёз.

Ведь когда дрезины до рассвета
тут и там стучат, не зная сна,
не ворчит, не злобится планета,
нашими ошибками красна.

Потому и утром никнут звуки,
все дрезины сразу на запор,
и планету поджидают муки –
пусторечья сладенький повтор.

* * *

Прорицавшие товарняки,
перегонные шпалы вкрест.
Холод заберег вдоль реки –
повитухой родимых мест.
Нет ни Гоголей здесь, ни «нянь».
Мёртвы души долгих сушин.
И повсюду такая рань,
будто ты никогда не спешил.
Будто ты никуда не пропал,
а вокруг сосняков стволы,
и ни разу ещё не мечтал
о стране, где полны столы.
Кожура «мундиров» тепла,
крупна соль, да подмёрзло окно.
Кто сказал, что загранка светла?
Мёртвы души. В них всюду одно.
Скоро станет вода – замрёт.
Сивера – всем сомненьям пример.
Прорицаньям зимы черёд.
Вечен ритм небесных сфер.
И твоё зимовьё из шпал,
и безлюдная всюду даль,
будто Гоголь до смерти устал
гнать российской тройки печаль.

* * *

Побег в себя
или куда подале?
На кончике пера
утехи не найти.
Ну, подглядит,
как плакал на вокзале.
Ну, высмотрит,
где сердце взаперти.
А то и вовсе
возомнит свободным
от хлебопашества,
от дедовской сохи,
и побежишь,
рванёшь куда угодно –
писать ни для кого
не нужные стихи.

* * *

Побойся Бога, прошепчу себе,
и подманю тебя, и оттолкну.
И будет долгая зима,
и тьма в берлоге.
И лишь в апреле, по весне,
в отчаяньи пойму,

не виновата ты,
лишь я – убогий.

* * *

Пальнут, закурят и – опять за прежнее.
А тут опять весна, и всё в тебе весеннее,
и всё томлению всемирному подвержено.
Какое, к чёрту, обрусение?!

Зачем оно, коль сам – себя пугающий,
и в Бога-душу-мать, пожалуйста.
Найдёмте разницу?! Скажу: «Товарищи,
скиты мои! Там станет плоть безжалостной».

Но всё палят, и всё цигаркой целятся.
А тут на вербах – облако пушистое…
Так обрусел, что даже в Русь не верится,
настолько несуразна и расхристана.

* * *

Потом передачу примут.
И станет любому понятно,
где-то за океаном
залёг на время, затих.
Такая, значит, планида,
не помышлять о попятном
и оказаться в массе
своих, но в чём-то чужих.

Что можно? Крупу и сахар.
Махру не забудьте кинуть.
Здесь оценить не успели
пращуров самосад.
Такая, значит, планида,
сначала к побегу приникнуть,
потом попытаться увидеть
на десять годов назад.

Ни моря, ни океанов –
дымящие терриконы,
внезапные перемены
в новой окраске страны.
Такая, значит, планида,
ты дома и ты не дома.
Вот и суёшься в маску
неродственной новизны.

* * *

Приехать умирать, когда приспичит,

и прохрипит судьба, и выдохнет душа –
в последнем слове обналичит
себя, почти что не дыша.

И там, где тополя обласканы сосною –
не увела их в сопки, сберегла –
припасть, уснуть, стать у дресвы подбоем –
ни имени, ни чести, ни угла.

* * *

Памяти И.Б.

Реванши прозы мемуарной,
прицелы очерков «под даты».
Живой – поскольку не бездарный!
А умер, значит, нет таланта.

И даже гению непросто.
Друзья-соперники припомнят,
как незаслуженно стал ростом
их обгонять, какого тона

был разговор о предпочтеньях,
как гений ник главой пред ними…
О, как завистливо их мненье!
Как хочется забыть их имя!

* * *

Стучат колодки «утюгов»
дубовой пробы.
А поверх – сочность
и форс особый.
Оставленный хирургом торс
не сунешь в святцы.
«Прощай, мамаша! Не дорос
В окно стучаться.
И ты, прокуренный вагон,
немые полки,
простите – не добит врагом,
живу без толку.
А те, кто подают, поймут –
на то и люди,
слезу горючую сомнут,
да позабудут.
Я ниже, чем в полях овёс,
но выше неба.
И ты, малец, не вешай нос,
храня Победу».
И мне за тридевять земель
от срама тошно.

Стучат колодки,
жизнь – с петель,
вагоны – в прошлом.
И тот, кто к матери не смог
вернуться целым,
ночами влазит на порог
толчком умелым.
Зачем ему весь дом будить?
Что он разбудит?!
Нам от ответов уходить –
на то и люди.

*   *   *

Сестерций накоплю
и, лично отобедав
с империи владетельным лицом,
Саванароллу вспомню –
грех мне ведом,
не то что у святых отцов –
и сквозь огонь пройдут,
и проскользнут меж истин,
грехи отпустят именем Христа,
а мне б грешить –
идти с тобой по листьям,
и ликовать –
так совесть не чиста.

*   *   *

Светло-серого багета
рамка, складочки у рта –
недоступная планета,
неизбывная мечта.
Здесь, в раззоре междукнижья,
меж обрывков строк и слов,
ты нисколечко не ближе –
так, причуда тёмных снов.

Наведу порядок. Роясь,
вытяну твою строку,
и о дальнем беспокоясь,
вдруг постигну, на веку
ни планеты, ни багета
светло-серого врата,
не важны, когда есть эта
горстка складочек у рта.

*   *   *

Сандалики на ранте,
висенье на заборе,

как первые награды
за долгий снег,
мечта о лимонаде –
киоск на запоре,
весь голубой, нарядный,
вкуснее нет.

А школа всё противней,
а воля всё желанней,
и сосняки обняли
свободы горизонт,
и ты уже несчастен
без взрослой жизни знаний,
ещё не понимая,
как горек их резон.

* * *

Ступив на сырость, взявши робость,
на листья павшие ступив,
замрёшь – ты смерти горклой повесть
в себе внезапно приоткрыл.

Случились рядом, гордо висли
в ветвях и где-то меж ветвей.
И ты меж ними был причислен
к природе, к некой из ролей.

И что теперь? Ступать? Отвергнуть?
Я – жив! Чего Вы разлеглись?..
И горклой боли не отведать.
И временную тратить жизнь.

* * *

Сказать, что Вас люблю?
Откуда силы?
Молчать напротив Вас?
Нахлынет слог.
Я отойду.
Влюблённость некрасива.
Ты будто всех сбиваешь с ног.

Спокойны ведь…
Лишь ты томишься.
Вот отошёл.
Теперь Вам угодил?
И что взамен?
Ведь ты давно не длишься,
а «вслух любить»
нет вовсе сил.

*   *   *

Сегодня маска миротворца:
багрянец, золото листвы,
и голубое раздаётся –
так много в небе синевы.
И голубое так охоче
с тобою рядом навсегда,
что сердце радостно хлопочет,
как в молодецкие года.

И сам натягиваешь маску,
и миришься, и видишь сны,
как до тебя добралась ласка,
не ожидаючи весны,
как всех простил и, сам свободен
от повседневной суеты,
сжимаешь бережно ладони
судьбою сорванной листвы.

*   *   *

Спать буду у твоей двери – ужель не ясно,
ты, отперев, не выйдешь на простор,
где без меня луна чадит напрасно,
и дом над тротуаром длань простёр.

Иные даже память не приемлют:
ушёл, ушла – и всё, с души долой…
спать буду у двери. Ты плачь у двери,
с той стороны, где дом, как прежде, свой.

*   *   *

Сначала хочешь отделиться,
чтоб расступались, мне больней,
потом – меж голых строк продлиться,
стать вровень с рифмой, только с ней.

Лишь после медленно, наощупь
вбирая жизни немоту,
за тыщи вёрст обходишь площадь,
где жаждут звуков суету.

*   *   *

Памяти А.А.

Столько любви, столько сердца
в этом вниманье –
четыре версты на руках,
чем не цена.

Ну, называй мне иные меры признанья,
родная страна!

* * *

Три призрака моих, три призрака:
вполоборота, профиль и анфас –
в глубь зеркала поселенные признаки –
победы час.
И от шинели – порохом ли, куревом,
где распознать, всего четвёртый год…
«Ну, начинай! Потом побалагурим мы.
Скажи быстрее, громче – мой сынок…»
Три призрака моих, три призрака
вполоборота, профиль и анфас.
Какие мы догадливые в физике?!
Ревел взахлёб, ведь видел в первый раз.
Он молод был. Родными не были
черты военного лица.
Вы настоящий? Вы из небыли?
Живого Вы сыграете отца?

* * *

Только словом не накажи.
Дай обыденной речи созвучия,
суть сокрытую обнажи –
не тщеславную, не трескучую,
и когда ты в овале рук
улыбнёшься, откроешь страстное,
дай смолчать мне – унять испуг,
вдруг объявится слово напрасное.

* * *

Ты что, из евреев?
Не знал, что ответить.
Ты что, из этих?
Не знал, что сказать.
Наверное, да,
ибо езжу в карете,
ибо по жизни
одна благодать.

* * *

То не по делу пересадка,
то поезд мимо – не вернёшь.
И просыпаешься украдкой.
И новой пересадки ждёшь.
Да, как же?! Здесь кончалось Время!
Здесь выходил, и чуял дом –

обычный дом, совсем не терем,
с обычным проходным двором,
и чтоб трамваи и автобус…
А что они теперь не здесь?
И крутит осью верткий глобус.
И в душу лишний раз не лезь.

* * *

Удобства на дворе и как бы на отлёте,
завалинок заботливых зола,
всё золото в «подушечках» – сосёте
раз в год. И разносол стола:
хлеб на клею иль клей с обличьем хлеба,
и постный суп, чтоб вилкой догонять
крупинок голизну… А рядом – в зёрнах – небо,
и вплоть к нему придвинута кровать.

Всё «сродное»: от кривизны комфорок
из тёмного – от века – чугуна,
до ближних, но ещё запретных горок,
а дальше – сопки, степь – и нет простору дна.
И молодой отец в веснушках под мундиром,
ну, как бы в продолжение лица.
И долгожданный запах мира.
И страшно про войну выспрашивать отца.

* * *

Тот священник, который венчал,
необычно тебя величал
и смотрел будто поверх – туда,
где ни тяжких грехов, ни стыда.
Слушать – слышать иль просто молчать,
забывать как тебя величать?
Он всё поверх, всё поверх – туда,
где бесследно исчезнут года…
Тот бродяга, который не знал,
да случайно на паперть попал,
тоже поверх смотрел, и не мог
слова молвить, настолько продрог…
Вот и всё. Вот и кончен сюжет,
потому что продления нет –
тоже поверх и тоже без сил,
будто сам нас венчать не просил.

* * *

Ле хаим, бояре…

То ли ближним боярам услуга,
то ли дальних за море сошлют…

Нам куда, дорогая подруга?
Как порушим боярский уют?
Поменяются вёсны и веси.
Климат станет от влаги плаксив.
Что поделать? Ты зря не надейся.
Нас никто до сих пор не спросил.
Мы – бояре! Такая порода.
Ближе, дальше – повсюду вина.
Вот и здесь, не поскольку угодны –
просто карты разменной цена.

*   *   *

Устроен так, такое построение,
что только подле рва – у жизни на краю,
припомню, да, еврей (!) –
и отпадут сомнения,
конечно же не прав, всё не о том пою.

*   *   *

Уже не бабье лето.
Неужто бабья осень?
Канавы и кюветы
глаза не купоросят.
Лишь синька,
лишь индиго
с небес нисходят светом,
и открываешь книгу
про новую планету.

Она обид не держит,
и дали дарит щедро
и мудрым, и невежам
с утра и до обеда.
Жаль, после – кругом тучи,
и серость схватит горло…
Нас бабье лето учит,
что бабья осень скоро.

*   *   *

Увы, Гюго, а так хотелось лучших…
Иль век был прав, взяв паузу взаймы,
и мелочь расплодил с моралью вездесущей –
ни Осипа для нар, ни Анны для сумы.

*   *   *

Умерших звали?..
Бедные кладбища.
Умерших знали?

И я подзабыл.
Где Вы лежите,
скитаний товарищи?
Кто подправляет
провалы могил?

Серое небо.
Позёмка метельная.
Старая шуба
корявой сосны.
Всё, что осталось,
такое бездельное –
слог дотянуть
до прихода весны.

Но не вернуть Вас
ни словом, ни памятью..
Умерших знали?
Когда бы забыть?!
Помните, встретимся –
песню затянете.
Мне бы сейчас от неё
не завыть.

* * *

Уже не помня правду о войне,
не понимая, как смогла та –
подластится, прижмётся к тишине,
шепча: «И я была тиха когда-то», –
вдруг начертать нежданной пули путь,
ведь замерли траншеи и окопы,
и выдохнуть, и смерти не минуть
в серёдке или с краю матушки Европы.

* * *

Хоть в комнате своей, но – гением,
в подвале хоть – ещё ловчей,
возникнуть в слова средостении
среди безмолвных овощей.

И неразмеренно расходуя
невидимый души припас,
скорбеть, как овощи уродуют
жизнь богоданную и нас.

И под ножом, и в сытом вареве,
ты жертва тоже – неспроста
не полуправду государеву
слагают скорбные уста.

*   *   *

Что оставалось Шейлоку?
Он не писал стихи,
не знал, что слово
ценится заглазно,
когда забудут
все твои грехи
заради точки с запятой
и гласной.

Он счёт не вёл строфе,
и ударений ритм
ему не снился
по ночам тревожным –
он ссуживал гроши
для безупречных книг,
чтоб мир твердил потом
о Шейлоке безбожном.

*   *   *

Сыну

Что ты знаешь обо мне, мой ребёнок?
Был бродягой, кочевал по сибирям?
Или книгам присягнул «от пелёнок»,
взял на душу неподъёмные гири?
А кочевья, как жизнь, первозданны –
ни подсказа строки, ни совета.
Что ты знаешь о птичьих «базарных»,
о снегах, взявших обручем лето?
Мы другие. Мы дружно скитались.
Наших давешних снов не воротишь.
Отчего мы за вёрсты цеплялись,
ты уже не узнаешь – не спросишь.
Мир в другие отправился веси.
Он другие приветствует выси.
Сколько истин – по горло залейся.
Сколько правд – не дано перечислить.
Но кочевья свои не сменяю…
Что ты знаешь обо мне, мой ребёнок?
Ну, звоню. Ну, книжки читаю,
из бесценных – из прежних «пелёнок».

*   *   *

Чтоб ты покоем наградил меня…
О чём я вопрошаю?
Чтоб суета сошла на нет…
С каких-то пор?
Костёр ветшает без огня.

И я ветшаю.
И даже не смотрю окрест –
в приманки гор.

Бессилье? Юных суета?
Опять потухли угли.
Прохладой тянет от реки –
да я и ей не мил.
И, надо же, ведь вроде был –
и вот не буду,
с собою не закончив спор,
себе не всё простив.

* * *

Чтобы Богу вернуть странный дар,
чтобы стал я молод, не стар,
не кряхтел над скрипучим пером,
не шептал по ночам «поделом».

Пусть он сам подпивает строку,
усмиряет перо на скаку,
поседелый, пусть сердцем скрипит
и не спит в междустрочье, не спит.

* * *

Чтоб дом оброс моею шерстью,
и камни чтоб, сомнения для –
зачем тебе комфорта вести,
когда на памяти земля,
вернее те же камни – сверху
и сбоку, где ни посмотри…
Чтоб дом не памятник успеху
и был неприхотлив внутри.
И чтобы книги гнули полки
и гнули суть твою, пока
способен сохранять истоки
неблагодарного «совка».

* * *

Что за палатка – шёлк и щелки –
истрёпана до безобразья?
Не понимает, в переделку
попали те, кто жадно лазил:
то вверх – горé, то вниз – ущелью,
то плоскотиной – до захода…
и так неделя за неделей,
вне сговора с судьбы погодой.
Не левитаны их озвучат,
не вождь отечества позволит,

но, видит Бог, счастливый случай
в них жажду странствовать откроет.

* * *

Чисто поле проволокой обнесут.
Нас жалеючи, бараки там и тут.
Повезёт, ещё воротишься домой –
ни холодный, ни горячий, ни живой.

Время-времячко, в зазубринах звезда.
Над бараками играют холода –
доиграются, мы заживо помрём,
расстаравшись ясноглазым январём…

Чисто поле и хожалый переезд.
Из других, неогороженных ты мест.
Всё равно, с судьбой равняешься иной –
с бесконечной, необузданной страной.

* * *

О.Можаровскому

Это моя биография. Вы не пеняйте!
Нынче иные «на мушке». Но я неспроста
в горы забрёл, в расписные закрайки –
в царство иголок и королевство костра.

Кто-то по центу маячит. Он видный и славный.
Кто-то желает пробиться, достигнуть – пожить.
Табор у нас невелик, и комфорт бесталанный.
Спрос ведь иной, если с камнем собрался дружить.

Это моя биография… Звёзды от пола –
рядом, вокруг – хоть руками хватай.
Было. Сглупил. Попеняйте! Сибирская школа:
дальше иди и побольше в пути уставай.

* * *

Это по силам моим –
ты и подставилась.
Это по мрачности слов.
Что в них нашла?
Вместе ходили сполна –
глядь, и состарились.
Может часы наперёд?
Нет, не спешат.

* * *

Я был и остаюсь…
Кем? Подскажите!
Всяк о себе
предполагать
горазд.
Всё утекло.
Вы не взыщите.
Остатки рук.
Осколки глаз.

*   *   *

Я не молюсь за тебя – не умею.
Я не прошу Вседержащих – не видел в лицо.
Просто представлю тебя – сладко пьянею,
будто одно мы с тобой плоти кольцо.

Нет синагог и церквей, где пространство,
слово промолвишь, станет ручным.
Просто представлю тебя – сердца убранство,
где я случаюсь гостем ночным.

*   *   *

Я теперь друзей зову к шести,
а потом до мостика, до кладбища
побредём, как будто по пути,
будто наша смерть видна уже.

И она навстречу, тут как тут,
взглянет чуть презрительно и весело.
- Что ж Вы вместе? Порознь Вас жду.
- Мне войны не по карману месиво.

И, её услышав, повернём,
будто друг от друга отстранённые.
Кто же будет первым, не поймём,
страхом первобытным изумлённые.

*   *   *

Я позабыл, позабуду –
только не это:
табор брезентовый,
в ночь трескотня костерка,
и на приварок мохнатое нечто –
чай по-купечески,
горький как счастья строка.

*   *   *

Я всей своей болезной плотью

к тебе приникну напослед,
чтобы, покинув белый свет,
стать частью призрачных лохмотьев.

Истлеет всё! Лишь твой покрой,
в его пределах безупречных –
вселенной розовой и млечной –
навек останется со мной.

2006

*   *   *
А снизу, за оградой,
за опустелым садом,
пустяшного болотца
недвижная вода
перемещает солнце
меж кочек перепадов,
налево и направо,
туда-сюда.

Оно, такая малость,
в коричневую жижу
припрятало до срока
лучей желтки,
и вовсе непонятно,
но будто кошка лижет
обветренную кожу
моей руки.

*   *   *
Сыну

А ты меня обскачешь…
В добрый путь!
А ты меня объедешь…
Было б счастье!
Здесь столько места –
вволю бы вздохнуть.
И сам себе судья.
И сам себе ненастье.

*   *   *
А Моцарт знал,
кому и чем обязан,
и брал за локоток,
и к нотам подводил.
- Смотри! Здесь звуки
вознесутся раз за разом,

сопротивляться им
не станет сил.
- Гляди! Здесь тишина
раздвинет их и будто
сердца замрут и, вечностью дыша…
Ты, Моцарт, - Бог прервал, -
Зачем меня припутал?
Я не гадал такие бездны в чертежах.

* * *

А тебя отсюда не выпустят.
И зароют – последний раз.
И поверх ничего не вырастет
привлекательного для глаз.
Это там, в кладбищенском скопище,
всё же кустики и дерева,
и последних соков сокровища
подбирает корнями трава.

* * *

А тут души огарок
и строчки будто врозь –
единственный подарок,
и поверх, и насквозь,
затлеет, возгорится,
и тело нипочём,
и можно воцариться
над траченным плечом,
и можно обусловить
хотя бы до утра –
огарку прекословить
пришла пора.

* * *

А собственные бесы, их куда?
Расталкиваем, прячем, где попало.
Без них – тоска.
Вернутся – вновь беда.
А жизнь, куда не кинь, везде пропала.

* * *

А Пушкин Ваш её не понимал.
А Пушкин наш – я честь себе позволю.
И смерть руками-творную приял.
И отворил века навстречу боли.

А Пушкин мой… И слышишь, как пиры
и взвинчены, и не страшны дуэлям,

и в слове честь, и вечности миры,
и наших душ распахнутые щели.

* * *

А здесь без чугуна уже ни слова.
Он тяжек? Он велик?
Как может – в кружева?!
Легли вдоль острова,
его объять готовы,
а рядом в нежной зелени трава.

Она обыденна, а долгие ограды –
глаз не хватает, кружева обнять –
забыли про того, кто это чудо сладил,
сумел чугунное, как нежное, приять.

* * *

А шестипалый, что, там, говорить,
сгоняя к счастью неразумных стаи,
так и не смог Петрарку сотворить,
познать, за что он вечность полагает.

А так хотел и здесь войти в тома
бессмертной строчкой, сладким звуком…
Довольно и того, что вся страна
считала, по заслугам муки.

* * *

А здесь не город, здесь никто не жил,
сам не упомнишь, почему ты с ними,
и кто им пел, и кто им ворожил,
и почему твоё им непонятно имя.

Забудь его! Иначе подберут
ключи к словам, где ты неуловимым
и двери в улицы нарочно отопрут,
а там и след простыл,
и снова слово мимо.

* * *

А тут обида как угроза –
не любите, а я умру.
И будут вопрошать с мороза –
так юн, за что и почему?
Но ведь обидели… Лишь после,
когда обид утрачен счёт,
умрёшь от кори или оспы,
иль просто от других забот,

ты, детское припоминая,
и улыбаясь, и смеясь –
оттуда – поздно! – пожелаешь,
продлить ту, первую,
«обиженную» связь.

* * *
А тут единственная новость
в окно не лезть – откроют дверь,
и будет повесть, только повесть,
каким аршином не измерь.
Но ты не повестей слагатель –
с трудом находишь ровный тон –
вскрик, возглас о души растрате,
о жизни брошенной на слом.

* * *
А если умирать, то что с собой,
какой невидимый припас?
Стихи, которые смеются над тобой
иль те, что плачут всякий раз?
Ну, подскажите те, кто «до того»,
чьи стихи смогли преодолеть
и Времени зелёное сукно,
и Леты обольстительную твердь…

* * *
А здесь между мною и ветром
всего-то в полнеба гора,
три строчки в помятом конверте –
тебе дорогая игра.

Но я к ним прибавлю под вечер,
и ночью прибавлю ещё –
и свечки оплавленной речью
заранее буду прощён.

А горы на то и в полнеба,
чтоб сверху глядеть, как ты там
три строчки считаешь победой,
и мне воздаёшь по делам.

* * *
А Время как бы отстаёт
и на задворках прячется.
А нам не то чтобы спешить,
но разве разглядим,
когда в ушедшем подавай

неслыханное качество,
и то что навсегда осталось молодым.
А Времени какой резон
нам угождать и будто бы
не замечать, что всё не так
и всюду не правы?
Да, были молоды, могли
командовать маршрутами
и жить на каше и воде
среди тайги травы.

* * *

А разума насчет, какие обольщенья?!
Не быстр, не востр, у слов на поводу –
и ни малейшего смущенья,
как будто не при нём накликали беду.
За разом раз! Ну, где ты, склочный разум?
Какую ты добычу приволок?
То скучен назидательным рассказом.
То пресная мораль, пустой урок.
Зато рука, ни много и ни мало,
кидается в строку, пристрастия творя.
Ведь тем и хороша, что вечно у вокзала,
где сокровенное друг другу говорят.

* * *

А здесь не надо вкладывать себя
в уста чужие –
что расплескалось – плохо ль, глупо ль,
но твоё.
И лишь поэтому слова приворожили,
души приоткрывая бытиё.

* * *

А если жизнь не игры с совестью,
то как позвольте объясниться?
Мы прикрываем срам – то повестью,
то скромной тряпочкой из ситца?

И если он не прикрывается,
ты пишешь новую, а тряпка
твердит – тебя не всё касается,
и утирает пот украдкой.

* * *

А ты прямой иль в закавыки прячешь
и мелочность свою, и суету?
Иль неуверен, усомниться алчешь –

так поседеть и уцепить мечту?

Сомнения мои, когда б полегче?
Но выбор сделан, прям ты или нет.
И жизнь кладёт на ожиданья плечи
неведомый до сей поры ответ.

*   *   *

А вши останутся на швах,
а швы рванутся в пламя.
А это значит, дело швах,
и что случилось с нами
никто не сохранит: ни вошь
как продолженье крови,
ни швы, в которые вомнёшь
последнее здоровье.
И плахи нар устанут ждать
гнильцы или пожара.
Всё недолга. И можно врать,
что смерть досталась даром.

*   *   *

А.С. был чересчур и вспыльчив, и нервичен,
а по другим источникам курчав,
и, что ни говори, аполитичен –
не плел интриги по ночам.

Мы без интриг – ни-ни. И чуть строку наладим,
бежим к нему: «А.С., твоей рукой
пройдись, перелопать, на небо глядя.
Дай постоять над вечности рекой!»

Как тут не оборзеть?! А он, небрежно:
«Годится. Ты – лауреат!»
А.С. поэтом был, знавал как неизбежна
обманчивость мирских наград.

*   *   *

А он тебя с собой не унесёт
и на Олимпе не поместит.
Дружил иль нет – иная ипостась.
Там горний – одиночек ветер.
И коль горазд – без помощи залазь.

*   *   *

Памяти О.М.

А правила игры

настоль обыкновенны,
что Осипу не по зубам.
Он соотносится с Вселенной –
её пленительный обман
командует его посылом,
макает в облако перо,
и легче выкопать могилу,
прознав – всё сущее добро
поместится в охапке пальцев,
в копне нечёсаных волос
и звуках вечного скитальца,
в которые он сунул нос.

*   *   *

Памяти Ф.Г.

А возвращенье пусто, Фридрих.
Оценки, почести, когда твой след простыл.
Лишь мальчик изумлённо вскрикнув: «Лирик,
он в кровь макал свои персты!»,
надежду даст, что нужно возвращенье…
И всё тебе мальчоночка воздаст,
по жизни пронеся души смущенье,
и, видит Бог, потомкам передаст.

*   *   *

А там, под шапкой недомолвок,
как прежде неизменный век,
и россыпь маминых приколок,
и голубые вены рек,
а справа – в глубине трельяжа
её то профиль, то анфас,
то конвоир сибирской стражи
не опускает строгих глаз.
Зачем он здесь? В прохладе комнат
век надобно предостеречь –
он, конвоир, немало помнит
и знает, как опасна речь?
Но мама машет понапрасну.
Я недомолвками не сыт.
И мне случится быть пристрастным
не от побед, не от обид.

*   *   *

А перед кем его метать?
Перед собой? Неужто лучше?!
Слова… Затёртые слова…
Они ведь не всерьёз.
Они на случай,

вдруг попадёт на плаху голова.

* * *

А «чёртов Пушкин», ишь что возжелал –
лишить эльзасцев сладкого Дантеса.
И что взамен? Создатель возражал?
Иль жизнью правит хам и рядовой повеса?

Да, «чёртов Пушкин», угождать – закон,
чем упоительней, тем горше.
И где-то за углом приник ушком барон –
изнанки жизни мерзостный потворщик.

Что на весах? Да, нету тех весов,
деливших на угодников и гордых.
Эльзас не знает прелесть русских слов,
курчавость и певучесть звуков твёрдых.

* * *

А потом как будто спохватились.
Где Вы были? Где скрывались раньше?
Мы бы Вашим словом облучились,
глядь, и стало бы поменьше фальши.

И потом. И присно. И вовеки.
За подол хватают только руки.
Где Вы сами были, человеки?
Почему свои не чтите муки?

* * *

А ранних не было. Случились
они – и тут припомнят Фета –
в преклонном возрасте явились,
от Старого вдали, от Света.
Возможно, воздух здесь иначе –
не моложав, но схватит горло:
«Чего молчать? Даёшь удачу,
пока чужбина не припёрла.
А припирает, стань моложе!
Сумел же он в такие лета!»
А ранних не было… И что же,
молчать? Пускай припомнят Фета.

* * *

Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
тебе не уйти от судьбы.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
за нами крадутся гробы.

Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
и ты пропадёшь ни за грош.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
о чём ты, безумный, поёшь?
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
за рвом больше нет никого.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
нет даже отца твоего.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
куда подевалася мать?
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
её не найти, не обнять.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
Не скроешься, нет, от судьбы.
Ах, Менделе, Менделе, Менделе,
в полметре мы все от беды.

* * *

А ты рассказывай, рассказывай,
что всё не этак, всё не так,
и узелки души развязывай –
то медный грошик, то пятак,
то в пуговке звезда, забытая
отцом, тобою ли, страной,
то во дворе соседка, битая
своей наперсницей срамной.
Ведь дело не в подкладке мелочной –
мы все – итогом мелочей –
в душе, не ставшею копеечной
среди торгашеских речей.

* * *

Возвращение в погоду,
в простудой полные дворы,
и слабый бег, и воздух гордый –
ты снова частью детворы,
и клик победный, гол желанный –
всё так наполнено судьбой.
Она случится бесталанной,
и Бог был терпелив с тобой!
И позже, за морями, в Лету
макая ломкое перо,
вернул дворов дощатых лето –
неброской памяти добро.

* * *

А правильно иль нет, никто не ведает.
Тебе сподобилось не позабыть
и то, что недвусмысленно – победами,

и то, что надобно избыть.
Другие вынесли им важное:
обиды, склоки – не стихи.
А правильно иль нет, то дело каждого –
сам должен знать свои грехи.

* * *

А он не мне потворствует,
всего лишь языку,
и вместе с ним упорствует,
как будто на веку
иные сникли лепости
и надобно радеть
о звуке – в неизвестности
над строчками корпеть.
И было бы всё по сердцу,
да тут апреля клей.
Он каждой почкой просится –
раскройся, обогрей.
И я к тебе без просыпу
стремлюсь, забыв строку,
и в частый дождь, и посуху
в апрель влеку.

* * *

А революций обаянье
от той поры до наших пор
находит чистые созданья –
они ведут напрасный спор,
пытаясь действием, примером
и даже совестью своей
мир изменить… Откуда вера
и как договориться с ней,
когда во власти только властью
всенепременно дорожат,
и ложь – единственное счастье,
и перед Летой не дрожат.

* * *

А мы-то думаем – СЛОВА,
а выбраны души томленьем,
но публика всегда права
от миросотворенья.
И если ни горбушки нар,
ни корки пеклеванной,
то никому не нужен дар
твоей судьбы диванной.
Что толку, если ты похож
на них?! Откуда звуки,

коль не в себя нацелен нож,
не снится Русь в разлуке?

* * *

А если ранний, значит, будет поздний.
А если робкий, значит станет грозным.
И все слова насмарку, все запреты.
Отныне сердце настежь, зимы – летом.

Ты поздняя. Для ранней нужен возраст.
Ты припоздала. Я давно не холост.
Ты вовремя! А если бы не встретил,
и грозным умер, робость не приметив?

* * *

А если опять появлюсь, не прогоните?
А если заполночь вдруг, не поймёте,
и к чёрту пошлёте, и наземь уроните.
Ну, словом, вполне без меня проживёте.

И я проживу… Только в праздники вечные,
когда прячешь тело под хрустом рубашки,
мне не с кем делить мои чувства увечные,
душой открыться нараспашку.

* * *

А писем кратких треугольники –
средоточение любви?!
Цензуре не нужны покойники.
Он значит жив, лишь чуточку в крови,
лишь ранен и ещё поднимется,
и жизнь случится наверстать,
и с адресом не разминется,
и будут Времени подстать.
Ведь те клочки бумаги траченной
с пунктиром выцветших полос,
по-прежнему бедой заначены –
всем тем, что вызнать довелось:
и недоед, и хлад безвестности,
и убиенных скорбный счёт…
Страна вставала вышней честностью,
и лишь такой во мне живёт.

* * *

А если строчки глупее меня,
то как мне должно быть стыдно?
Хотя, чего там?
Какой с них может быть спрос?

Вот в списках расстрельных
давненько курилку не видно.
А это значит,
ты просто до Слов не дорос.

*   *   *

Л.

А здесь у девочки начальной
откуда слух и верный тон?
Не слишком ли она лояльна
для строчек, брошенных на слом,
на поруганье, на потраву?
Ведь для кого они, стихи –
для тех, кто прав и лжёт лукаво,
иль тем, кто платит за грехи?

*   *   *

А я могу без тебя,
вернее – смог.
Сердце своё поделя
выдумал слог,
вывел наружу и вот
мимо хожу.
Видит лишь только Бог
в сердце межу.

*   *   *

46 году

Блажен, кто верит,
только с пепелищ соскок,
и тут же свежих откровений крепи,
они-то разглядят урок –
в мозгах военный ветер.

Блажен, кто видит тут и там,
возьмутся новые посевы…
Взялись!
Всё направляет Сам
Военный ветер,
он в окопах смелый.

*   *   *

А.А.К.

Безумца трогать, –
стать похожим!

Неужто Вы готовы речь
и поместить,
и приумножить,
и от забвенья
уберечь?..

* * *

Блаженны изгнанные правды ради.
А тут не изгнан, значит, не блажен.
Но там и здесь в полосочку тетради.
Но тут и там чернильной правды плен.

* * *

Памяти О.М.

Был голоден. Просил котлету.
Потом писал «медовая струя».
Вина ль голодного Поэта,
что он, неправду сотворя,
опомнится, и вновь котлету просит,
а станет сыт и звук найдёт,
который вправду медоносен,
и нас от пресности спасёт.
Вина ль его, я этого не знаю,
но сытости своей стыдясь,
твержу, дай силы, ложь святая,
иль с мёдом у других иная связь?

* * *

Всё Осипу несу, всё Осипу.
То щепку на растопку, то листок –
он в крапинках ещё свободной осени,
да занесло на лагерный песок.

То ниточки обрывок – всё же пуговкам
нужна и здесь, хоть крепче вервиё,
штаны прихватит, будто строчки буковки,
глядишь, и вспомнят зэков бытиё.

То штуку сухаря при нашей роскоши –
надкусан, там, где зубы, посветлей,
по глупости иль сытости отброшенный
за скрипы ржавые дверей.

А давеча перо поднял упавшее.
Подуешь – будто по небу летишь.
И щекотно, и детство неплутавшее,
и слов пустых ещё не говоришь.

Всё Осипу несу, всё Осипу.
Да, видно, эта невидаль невпрок.
Глядит на осень, расстаётся с осенью,
и шепчут губы запоздалый слог.

*   *   *

И.Б.

Венецианский – венценосный! И только так.
И дожи вечность купоросят вне наших благ,
кладут побелку на былое, к обоям льнут
к стене, где Данте стал пожбоем средь адских смут.
Но синь индиго только гуще, коль ночь темна.
Нигде ему не станет лучше. Дитя ума!
А надо бы трепать остатки вкруг рыжины,
баклуши бить, да вить тетрадки средь тишины.
Никто не знает, не рассудит, каков ты был.
А славы вовсе не убудет, коль рядом пил
бомж из потрёпанной эпохи иль сытый мент –
в век распродаж все люди плохи, таков момент.
Но здесь не Русь, дороги нету к его словам.
Хоть волком вой. Зачем поэты? К чему обман
фигур словесных, пряжа звуков и строчек швы?
Но выбор сделан. К чёрту слухи. Вы все правы!
Забаву делая, стеная, ах, как он мог?!
Знать не хочу, не отверзаю. Пусть знает Бог!
Его присмотром и доглядом… Иль в мире всё ж
ты сам своим стенаешь адом, и свой правёж
страшнее слов, страшнее звуков – всего страшней?
И с каждым днём всё горше звуки и боль слышней?

*   *   *

Вдруг Время встанет и ни шагу,
и слово выхватив из рта, смеётся –
что теперь в бумагу?
И совесть у него чиста.

А как моя? Она безмолвно
стоит и смотрит слову вслед.
И всё нормально. Все довольны.
А счастья не было и нет.

*   *   *

Вся правда не нужна –
не выдюжим.
Вся правда хороша,
когда она к другим
приходит в гости,
аргументы выложит…

Мы без неё
за жизнью
проследим.

*   *   *

Вокруг других примеры,
и знания как звуки
должны быть планомерны
и аккуратны руки.
А ты необъяснимо
влезаешь между строчек
и нет ни правил мнимых,
и безобразен почерк.
Но как душе прикажешь,
молчанье обусловишь?
Косноязычным станешь,
но разве суть уловишь?

*   *   *

Век оскудел в своих порывах –
ни революций, ни скопцов.
Он дул в дуду без перерыва –
мы вслед за царством мертвецов.
Старался очень, не иначе,
ведь до сих пор не в силах счесть,
как много он во рвах заначил,
как в лагерях лелеял смерть.
Но после новых устремлений
не старый ли нашлёт ответ,
и гибель юных поколений
в расцвете лет?

*   *   *

Всегда остановка за малостью –
текст дословно прочесть,
и не ложиться на шпалы,
рельсы для этого есть.

ведь никому ничегошеньки
не надобно доказать.
Это занятие Боженьки
с совестью нас повязать.

Битвы или стагнация,
рифмы или картечь –
необъяснимая акция –
душам пригодная речь.

*   *   *
Всё просто… За тебя предрешено
то партией, то нацией, то домом.
От слёз твоих – сплошное решето –
покрой незабываемый подзола.
Что потерял? Иль не обскажешь, что?

Всё просто… И не надо истязать
свою отдельность, вымыслы… Откуда?!
Решат, когда извлечь и повязать,
и где я, нелюбимый, буду
природу прахом подлым истязать.

*   *   *
Всё решат небеса иль решили
и просто глаза закрывают?
Порезвись, мол, потешься,
от нас никуда не уйдёшь?!
Это в гвардии выстрел,
наутро уже поминают –
Отлетался, орёл!
Только разве для смерти живёшь?

Всё решат на земле,
потому как давно не летаешь,
даром в небо глядишь,
и порою стучишься в слова.
Или, проще простого,
кто бы ни был,
и что про себя не считаешь,
но бессмертье тебе не дано –
не по Сеньке права.

*   *   *
Всё так и получил:
любовь и катастрофу.
Они сродни.
Их некуда девать.
Не потому ли так нахальны строфы,
что руки поздно –
стыдно воздевать?

*   *   *
Вернуться назад –
ах, какие чужие.
Рвануться вперёд –
ах, зачем я спешил.
Вы живы?
И мы кое-как,

но живые.
Я это сегодня решил
или, нет, не решил?

* * *

Все щелочки в душе кровцой замажу.
Представьте, снова ясен, мил.
И отпишу тебе, как был обезображен
мой прежний пыл.
Все щелочки в крови…
Но ты пасись, как прежде,
как будто не было беды.
И только среди траченной одежды
на ощупь помни давние следы.

* * *

Вот и правду раздели.
И стала правда голой.
И отвернулись люди,
поскольку – срам.
Подобное случается,
хоть редко, но с глаголом.
Он жжёт!
И не по силам нам.

* * *

Время останется –
сил не хватает умчаться –
смотрит нам вслед,
угловатые плечи подняв.
Кто его знает,
когда ещё будем встречаться,
псом или птицей тоскливою став?

Время останется.
Нет, не дано наглядеться.
Если бы помнило,
сколько нас мимо прошло?..
Ты не серчай!
что нельзя на меня опереться.
Ты не казнись –
не настолько со мной хорошо.

* * *

Всё поздно.
Складывайте ноты!
Вас ожидают, однодворцы,
мансарды или чердаки.

Но главное,
что Вам доступно –
души бездонные колодцы –
и кто-нибудь отыщет воды
беспечной вечности реки.

*   *   *

Вот и искусно, а плакать не хочется.
Рядом – не очень, а слёзы навзрыд.
Ты объясни мне, жена и пророчица,
суть колебаний от звёзд до обид.

Как мы с линеечкой, сыто размеченной,
входим друг к другу: такая – такой.
Звёзды на то и пожизненно ввёрчены –
нет, не корпят над бессмертной строкой.

*   *   *

Всё неизменно. В особенности жажда
рядом прилечь, ощутить Богом данную плоть,
будто случается это впервые однажды –
и от тебя отвернётся назавтра Господь.
Ты улыбаешься. Выдумщик! Скажешь, впервые.
Я улыбаюсь в ответ. Всё, что было не в счёт.
Это сейчас, когда миром вершат «деловые»,
важен налаженный и бесконечный учёт.
Всё неизменно. И ты соглашаешься вскоре.
И на плече замираешь, как будто я прав.
Истины – слышали? – чаще рождаются в споре.
Но мы не спорим, рождение истин проспав.

*   *   *

Всё проще. Всё сущее рвётся.
Светлеет хэбэшки окрас.
И всяк за иголку берётся,
когда истончает припас.

И вот на заплатке заплатка –
колени прикрывший узор.
Казалось бы, что она, тряпка,
а помнишь её до сих пор.

*   *   *

В Россию не ездить и даже твердить – ни за что.
В Россию – ни шагу, и верить, такое возможно.
Но тут же – в язык, и небрежно накинув пальто,
меж строчек бродить рядом с речью подкожной.

В Россию не станем… В России теперь не до нас.
Но строчки опять и опять спозаранок
разбудят, расспросят и снимут «затмение» с глаз –
ты в ней навсегда, даже в логове вечных загранок.

* * *

Всего-то делал для Победы –
ходил под стол
иль часовым после обеда
за тем кустом,
что к доме был приставлен сзади,
где тишь двора,
и брат кричал, на фрицев глядя –
твоя игра.
Полвека… Сколько длиться войнам?
Их трудно счесть.
Не часовой, могу спокойно
и пить, и есть.
Но брат кричит: «Игра без правил
и есть война».
Когда бы он со мной лукавил,
ведь смерть видна.

* * *

В отличие от всех, кто обещал,
я фотографий не листаю –
здесь я богатый, здесь я обнищал,
а здесь верста, и я её верстаю.
Не лгут они! И потому впопад
и чёлочки, и глазки в объективе,
годам своим давненько рад,
а впереди – похлеще перспективы.
Но раз в столетье всё-таки возьму –
меж пальцев фотки пропустить, меж пальцев,
и ничегошеньки, конечно, не пойму –
куда иду, доколь ещё скитаться.

* * *

Е.М.

Вот девочка вне дома, вне семьи,
верней, осталась из неё последней,
и по пятам убийца семенит
и послезавтра, и намедни,
и только Волга долгою водой
путь преградит ему и посулит надежду –
Всё было так иль нет? Мы рождены войной
Нам вечно сохранять её одежды.

* * *

Памяти М.Б.

Вдруг странный сон: Булгаков Миша и стихи.
Он мимо смотрит, но стихи прекрасны.
О чём? Не вспомнить. Замолить грехи?
Но чьи и чем они ему до сей поры опасны?

Мне некого спросить. У местных Маргарит
не больно разживёшься вдохновеньем.
Откуда сон? Душа во сне парит,
а память, видит Бог, в недоуменье.

Но те слова… Души его размер,
и поступь чувств, доверенных бумаге!..
Я знаю, он не всё сказать посмел,
уж больно недвусмысленны гулаги.

* * *

Всё что будет посмертно
лишь должно тебя укрепить –
ни взыскуй, не проси,
не юродствуй.
И не стоит, не надо себя торопить!
Слово всюду не дальше, не ближе
погоста.

* * *

Е.М.

Всего-то выпало продлиться,
чтоб бесконечно вспоминать,
как просто с жизнью распроститься,
как смерть пыталась уставать –
иначе ни тебя, ни Волги,
ни канувших давно людей –
спасли не зря, для жизни долгой,
всего того что будет в ней.

* * *

Всё в правильных словах
или они докука?
Вот если бы входили невзначай,
без малого кивка, без стука,
и что по числу – получай…
Вот если бы повсюду день весенний,
а слов ни-ни, и облако в руке,
а жизнь как продолженье сновидений,

плывущих по медлительной реке..
Молчи! Молчи! Я сам давно без правил,
и только для пера годны уста.
Я Родину отсёк. Я Родину оставил.
А боль по-прежнему остра.
И что взамен? Ну, что переменилось?
И там слова… И здесь слова…
И лишь апрель – такая нынче милость –
едва согрет, так коротка трава.

*   *   *

Всё б ничего, да жизни кутерьма,
её посулы изнутри, из чрева,
мол, только обойдёшь непониманье слева,
расступится житейская тюрьма.
А выволочки разве не смешны?
Залезут вверх, и в опьяненье власти
даруют нам невиданное счастье,
и пальчиком грозят из воровской мошны.

*   *   *

Выигрыш непреодолимый
слово единое,
возданный по заслугам
или сам по себе
набрёл? Оно залежалось.
Скользили другие мимо.
Далее как получится,
как угодно судьбе.

*   *   *

В мехах золотое вино,
пахучее жаркое месиво.
Мне мало и много дано,
недаром судьба куролесила
и пить, и бродить, и глазеть
на звуков незримые сполохи –
строкою сомнений владеть,
души наковальней и молотом,
ловить виноградин грозу,
их звонкое кликов брожение –
в залатанном медном тазу
земли постигая движение.

*   *   *

Вот говорят, что строчки
в костёр не попадают,
когда они пророчат

иль боль сердец прознают.
А я, седин коснувшись,
не верю в то нисколько –
горят, в золе очнувшись,
мрут на больничных койках.
Что делать – сам не знаю.
Но в сказочки не верьте.
Жизнь безразлична с краю
и равнодушна в центре.

* * *

Вот Моцарту не будет сниться
сопротивление небес
и данная душе граница,
когда размер её в обрез.
Он радостно обозревая
отсель – доселе и поверх
с любого шага звук срывает,
приумножая свой успех.
Иль вовсе не успех, поскольку
его движения легки,
и зависти не знает горькой,
и бесталанности тоски.

* * *

В потоке не просты теченья.
У каждого своя докука,
не в смысле, надобность прочтенья,
а жажда звука.
В созвучиях души касаясь,
они на смысл горазды выйти,
на истины не покушаясь,
на ход событий.
В любой эпохе, в первобытность
войдут как будто им знакомо
и звёзд мерцание, и слитность
с дорогой приводящей к дому.
Ты вскормлен ею. Как сокрыться,
упрёков собственных не зная,
и пересилить, и отмыться,
строке ни в чём не уступая?

* * *

Вот рёбрышек полуокружья,
и в тонкой шее скарлатинной
твоё бесценное удушье
над книги горестной картиной.
Он классик или рангом меньше,
но строк неутолимый норов

твою болезнь вполне утешит,
и уведёт в забытый город.
Там в улочках, до боли узких,
плечом к плечу твои мечтанья
и ослепительные спуски
брусчатки к рекам увяданья.
Они стары, а ты беспечен.
Болезнь – что? Она на время.
Но строчки с ароматом вечным –
неописуемое бремя!
Ты станешь их носить повсюду,
и сам себя переинача,
лишь в старости словесным блудом
рискнёшь страницы озадачить.
А та болезнь и строчек клики
твой ранг не бросятся измерить.
Мы все, пожалуй, не безлики,
коль вымыслам горазды верить.

* * *

В отчет на самолюбованье,
взять в пригоршни свои слова
и сожалеть, что мало граней –
перестарались жернова.
Взвалив котомку, посох тронуть,
и, как водилось, в дальний путь,
а это значит – землю вспомнить,
с которой ты постигнул суть.
И с ней брести, и неустанно
на пригоршни смотреть тайком –
ещё томление желанно,
ещё бумагою влеком.

* * *

В своей душе распорядиться
и, почитая выше благ,
сквозь жизнь приветствовать страницы,
в которых ты душою наг,
в которых мелочное мелко,
высокое – куда с добром,
а ложь заглядывает в щелки,
не в силах завладеть пером.

* * *

Вас пригласят на чтение
стихов, а Вы не знаете,
что нужно к ним влечение.
Вы разве их читаете?
И слово разве вызовет

под ложечкой томление,
коль не знакомы с визою
«их начертали гении»?
Но гениям – гонение,
пока они «не умерши»,
и нету к ним почтения,
коль раз, другой подумавши,
вы всё равно не станете
читать-реветь над строчкою.
Ну, разве что, припомните
под ёлочкой стишочки.
О, бес! О, беснование!
Стихам не знать прочтения?!
Вас пригласят… Внимание,
стихи – не развлечение.

*   *   *

Вот и вершина… Но сам забираться не смей.
Вот и вершина! Неужто ты сам превозмог?
И никого, кто бы помнил средь ровных полей.
И никого, только памяти нынешний слог.
Пальцы седые. Сухие костяшки волос.
Мерная поступь. Остатки растраченных сил.
Вот и вершина… Неужто и впрямь довелось?
Или у слова о правде никто не спросил?

*   *   *

Вот и небеса поднимет март,
подкинет синьки, ветер хлынет,
и ты опять в извивах карт,
и дух бродячий, да не минет.
Не обнесет заплотом дом,
не отгородит сытым тыном,
и всё по сердцу, всё ладом
под неба неподкупным ливнем.
Где стоны возраста? Где стыд –
не догулял, не доскитался?
Но нет ни на кого обид.
И сам в своей беде признался.

*   *   *

Памяти родителей

В самоназначенный день
лист одинок –
с шапкою набекрень
несколько строк.
Косо легли. И пусть.
Слово при них!

Я позабуду про грусть
в стенах родных.
Здесь твой портрет,
а там ты навсегда молода.
Сколько промчалось лет?
Как я попал сюда?
В самоназначенный миг
хлынет любовь.
Я ничего не достиг
снова и вновь.
Сколько ещё им висеть?
Бедный портрет.
Мне бы пораньше успеть,
вызнать ответ.

* * *

Всего лишь молчание века.
Всего лишь пустая строка.
Не помню, не знаю, где грека
и полная раков река,
забыл для чего существуют
лугов заливных берега,
и страсти какие бушуют,
когда взят судьбой за рога.
Ведь нужно не видеть, не слышать,
глаголы до срока забыть.
Другие пусть песни напишут.
Других пусть ничем не сломить.

* * *

Памяти О.М.

Вы бы сами гению дали
горстку сахара без обмена,
и пальто б с него не снимали,
в общем, знали гению цену?
Но не знают и знать не будут.
Слава – после, сначала – в яму
с разношерстным лагерным людом,
с не успевшими смыться вшами.
Хлеборезы, банщики, где вы?
Сумасшедшего вы пригрели?
Гений, он завсегда неумелый,
там где Вы сполна преуспели.
Вот и все. Вот и кончилась сказка.
Воевал-то за нас, негордых.
А еще твердим не напрасно,
и воротим от прошлого морды.

* * *

В моём пустынном закулисье
февральский ветр, ошмётки листьев,
души невидимой руда
для бесполезного труда.
Назавтра вновь порывы ветра,
и сантиметр за сантиметром,
приходят мысли о былом,
кем был, кем стал, что поделом.

* * *

Ведь мы не сразу отвечаем.
На то и выпадает ночь,
когда ответы мы сличаем,
не в силах лучшему помочь.
И выбор наш того смешнее,
невразумителен ответ.
Ведь по иному не умеем.
Иных в подлунном мире нет.

* * *

Господние дары не рощи, не долины,
и даже горы не его рука,
а гордых душ размах неукротимый
и сердца мягкие – нелепые бока.

* * *

Где вдохновенье? В чём проскок,
ошибка, скудное уменье?
Поставлю тело на колени
в кругами скроенный песок.

Жарынь. Простёртые тела.
Неуправляемое пекло.
От плоти с белизною блеклой
поблекла водоёма синь.
К тому же, скучно. Визг не тот.
Не больно шаловливы дети.
И ты не тот. Русалок сети
вдали от старческих щедрот.
Не потому ль не вдохновен,
поёшь о всём что ни попало?..
Умение давно пропало.
Суть в возрасте твоих колен.

* * *

Гораздо больше тайн
под кожей, под клетчаткой,

чем в сером до предела веществе.
Всю жизнь твердит?
«Нормально – без загадок!
Что можно разгадать в линованном листе?»

* * *

Гарант чего?
Дождей в начале мая
или в конце его?
Иль будет сух?
Покамест дождь стучит,
я календарь листаю
и рассуждаю вслух.
Не гарантируй!
Что нам от погоды?
Души иные мерки.
Только в ней –
отдельность наша от природы.
Природа телу лишь родней.

* * *

Гусиный гогот. Слюдяные
в тени от солнца берега,
и синь, как будто дни иные
не посещают никогда.
Здоровья ради люд бессонный
округу озера торит
рысцой и шагом. Благосклонно
за ними озеро следит.
Что дальше? Дальше мы узнаем,
для прытко бегающих смех,
глядеть на богоданный грех.
Не потому ли ты подвижен,
здоровья позабыв черты,
что понял, сколь гусыня ближе
к греху, чем богоносный ты.

* * *

Давай, как можно ближе подходить,
пытаться разглядеть, что это значит –
на полную катушку жить,
на завтра ни копейки не заначив…

Давай, сегодняшним посильно прирастать.
Что угораздило откладывать на завтра?
Нам так и так не быть другим под стать –
другой расклад, другая пала карта.

* * *

Даром, что их уподобят друг другу.
Бродишь по жизни, какие отличья.
Любит история делать услуги –
сталкивать лбами, макать в неприличное.

Любит! А как же?! Нам ещё помнится.
Светлое завтра… Трудящихся братство…
Что же, тиранам история молится?
Иль для неё нет ни в чём святотатства?

* * *

Душа и внятна и невнятна,
но бесполезно упросить –
пойти на сделку, на попятный,
чтоб дольше голову носить.

Она не от расчётов мира,
и что-то чертит между строк.
Одним, единственным кумиром
свой – возмутительный – урок.

* * *

Памяти И.Б.

Другие скажут, не хотел,
мол, знали правду.
Несчастен? Для чего говел?
Какого ляда?
Пусть не сбывается всё то,
о чём молились.
В России ходят без пальто.
Вы удивились?
Её не знают. Ну и пусть.
Мы знаем. Толку?
Она – неведомая грусть,
сны без умолку.
Она ему дала всё то,
о чём он алкал:
и вдохновенье, и пальто,
и грусть на лапу.

* * *

Донашиваешь не только тряпки,
не столько в заплатках небо,
а более и откровенно чьи-то слова.
Они не тобою открыты,
твоим не вскормлены хлебом,
и не тобою полнится у них голова.

Но нет других и не будет,
каким бы ты не был настырным,
в какое бы небо не прятал
заплаты своей души.
Траченные, и только.
Повинен в этом? Повинен.
Ещё словесное месиво
не больно разворошил.

*   *   *

Декабрь. Леса нищета.
Любые ветви – те же сучья.
Им часто снится теплота
и потому дружны на случай.
Но то когда? То где? А здесь
просевший снег морозно дышит,
одежды позабыли спесь –
им только треск поленьев слышен.
И ты, волшебствуя клюкой,
поленья жаркие сдвигаешь
и вдруг мерещится покой,
которого давно не знаешь,
мерещится тайги броня
и ты внутри, средь брёвен грубых
очерчен чревом зимовья,
его кондовым срубом.
И все конечно впереди,
отъезды, россказни, печали,
собой ещё ты не судим,
на все вопросы отвечаешь.

*   *   *

Памяти Н.М.

Девчурки нрав не робкий,
и ум бессонной ссыльной
в его судьбе короткой,
судьбе послемогильной.
Она, меняя место
и способ выживанья,
была ему невестой
с невиданным стараньем,
и строчки – только в память,
не в тайные чувалы –
они не смеют кануть –
их нам бы не достало.
Поэты! Будьте зорки.
Девчурки эти редки.
Как разглядел он, горький,

с налёту, без примерки?
Как распознал он, сладкий,
в неброской стати тела
души бесстрашной хватку,
любви бессмертной дело?

*   *   *

Джонн Донн, опять ты нагрузился огурцами?
Святому Павлу, видно, наплевать,
с какими ты связался молодцами –
спит, ничего не хочет предпринять.

И Вам плевать?.. Короче, так короче.
Века спустя один чувак решил,
что Джона Донна огурцы порочат,
настолько тот непогрешим.

Он спать заставил всех. Уснуло всё, и баста.
Лишь душу Джона, не кладя в постель
так растревожил, рыжий и глазастый,
что ей не суждено уснуть теперь.

*   *   *

Да, другое – и тоже неправда.
Да, другое – и тоже не так.
Жизнь сама ведь бывает не рада,
что в основе её кавардак.

Это мы подправляя, припудрив
носик, личико, думаем – та,
что могла осчастливить не грудью,
а причудою скорбного рта.

*   *   *

Другой останется в памяти.
Что тут поделать?
Никто себя не раскроет
до срама, до наготы.
Я словом играю. А вы
неужто ничем не играете?
Неужто настолько просты?

*   *   *

Памяти О.М.

Душа поэта отлетела.
За нею устремились вши.
Им не по вкусу больше тело –

прельщает невидаль души.

Внизу квадратом скорбным лагерь,
бараков серых нагота,
и блекло-розовые флаги
венчают мёртвые врата.

Стремительно слова ветшают,
нас вразумляя или нет,
и потому, как жизнь, нищают,
и запоздал всегда ответ.

И потому искать бессрочно,
да, был ли этот Мандельштам
настолько чистым, непорочным,
чтоб развенчать страны обман?

* * *

Другие чаще лгут.
И шкура погрубее…
А тут, себя перекопав,
находишь, что попав в евреи,
ты упоительней не стал.
И сомневаешься в престоле,
и всё бессрочнее хандра,
и только мнятся в чистом поле
убитых клики в теле рва…

* * *

Ещё сопляк, а всё ему подвластно.
И после – в гору, в гору, в гору!
Поэт, с которым всё в тебе напрасно,
лишь тапочки ночные впору.

* * *

Ещё положенные мамой,
они живы десятки лет –
свидетели семейной драмы
хранят единственный ответ.
Их аккуратная укладка,
и стопочки, и свой размер,
мне демонстрируют украдкой
незабываемый пример.
А я, ни сколь не обустроен
в себе, в окружных небесах,
напротив – скручен и покроен,
чтобы терпеть душевный крах,
чтоб жизнь оглядывая хмуро,
ей обещать не перестать,

быть и успешным, и амурным,
и счастье всё же наверстать.
Но то уловки, отговорки,
я сам себе не дам «добро» –
лишь строчки глажу по головке
да чищу скорбное перо.

*   *   *

Жаль, что почерк не сегодняшний
и выговор у слов безгрешный.
Ты здесь проездом или клонишься
грызть круглосуточно черешни?
Они не кислые, не сладкие
влезают сразу килограммами.
Ты здесь уверткой и украдкою,
пока не сговорился с мамою?
А почерк? А слова? Без устали
она любить тебя пытается.
Ты здесь зачем средь сытой утвари,
иль совесть запросто кончается?

*   *   *

Сыну

Зачем я наседаю на тебя?..
Мне до сих пор неведомы секреты.
Прозаику простор. Героев возлюбя,
он всё равно лишь их зовёт к ответу.

А здесь кого? Длинна ли, коротка
строка, поэта вызовет стреляться…
Ну, что, готов? Не подведёт рука?
Не поспешишь в прозаики податься?

*   *   *

Забава? Неужто забава?!
Когда это было? Когда?!
Щеку не подставили справа –
расплатою жизни бока.
Щеку не подставили слева…
Забава страну завела
в бараки продажного тела,
в гулаги Сибири тепла.

*   *   *

Зачем глаза?
Он всё отнял у них.
Они поверхностны,

пока вне потрясений,
и только после, –
ведь невидим стих –
прозреют вслед
за звукозарожденьем.

* * *

За этот произвол из букв сотворенья,
как будто жизнь меж строк влачу,
ведь за окном ни грамма воспаренья,
и потому – не дуйте на свечу.

* * *

Памяти отца

Зачем ты сел за руль?
Зачем спешили в город?
Ты помнишь, сонные дома,
навстречу вал воды?
И улица была воде огромным горлом.
И мы в раздумье – избежать беды.

И этот справа холм,
не видимый доселе,
вдруг руки протянул,
и мы полезли вверх…
Зачем был этот сон,
ведь я и так потерян?
Ты – где? Где – я?
Иль не забыт мой грех?

* * *

Захудалым оказался ресторанчик,
Только посвящённым нипочём.
Нобиль выдается перед ланчем
вместе с подогретым калачом.
Время убивали, примеряя
жизнь вкусна иль нынче так себе.
Клялся Ле Карре, что жил, не зная
об Иосифа пленительной судьбе.
Так, не так, шампанское открыто.
Шведы о случившемся твердят…
Гений – это значит «шито-крыто»,
или если всех оповестят?

* * *

За меня не должны хлопотать,
и надежды не стоит питать.

Что моё, то моё – ровен час,
не тревожит успех напоказ.
День за днём тяжелее строка.
День за днём безоглядней рука.
Что поделать, неведомо знать,
как бездарнее жизнь скоротать.

*   *   *

Здесь от щеколды толку мало.
Устали кирпичи стеречь
и крыши ржавой покрывало,
и некогда живую речь.
И в тёмной кухне, там где печка
Не греет вовсе, лишь дымит,
Вдруг обомлеешь, будто вечность
Тебя к былому прислонит.

*   *   *

За сторожем следить –
болтал бы меньше.
За небо горевать –
опять дождит.
Казалось бы к чему
нам в слове вещем
боль утолить и в новую входить.
Казалось бы о чём
руки касанье?
Ну, кожи шорох.
Ну, чуток тепла.
А помнишь
до последнего дыханья
в подвале, в темноте
сиротского угла.

*   *   *

За бруствером покой. Лишь пули, зная меру,
влекут к себе и увлекают тех,
кто в мир случайно угодил – к примеру,
ещё вчера смеялся полноте.
И глядя на неприбранное тело,
себя виню и вопрошаю вслух:
«В чём дело? В чем секреты тела?
Был смех и, нате, враз потух…»
Неужто ты теперь ни шагу
и только прятаться в окоп,
а жизни главная отвага,
не ведать, что не нужен гроб?

* * *

За неотчётливостью слова
подобье ль духа, полый звук,
не свет окошка углового
один на двух, один на двух.
И стоит ненароком глянуть
на этот свет, на этот свет,
как прошлое не в силах кануть,
ведь в настоящем света нет.

* * *

Здесь всё кустарно, даже почерк:
то клонит в сон, то «руки вверх»,
и будто невзначай пророчит,
не полагайся на успех,
не то нагрянут с тиражами,
с фальшивостью угодных уст,
и поместят строку в скрижали,
и позабудешь про искус.
Ведь, маменька, и я с обманом.
Слова то призрачны, как сны,
то рубят с маху ятаганом –
и строчки кровушкой красны.
И будто бы за каждым словом
кусочек правды, не взыщи.
Ах, маменька, слова не новы,
а правду век ищи-свищи.
Но не тужите! Горек камень,
возлёг давно на Вашу грудь.
А мне б себя унять словами,
жизнь урезонить как-нибудь.
В её кустарном обиходе,
в непреходящей суете
быть незаметным при народе,
быть незавидным по судьбе.

* * *

И.Б.

За следом след… А кто последний?
Кто за империи ответчик?
В какие веки разум бедный
вдруг выяснит, виновен вечер,
закат, падение устоев,
мы с Вами, думавшие скопом..
В какие веки он откроет,
чем привлекательней европы?
От азиатчины – отрыжка.
От безысходности – синдромы.
Мечтатель вновь уткнётся в книжки,

но обществ важней погоны.
А тот, кто выпалил, не струсил,
кто умер «в январе, в начале»,
оставил строчек послевкусье
и недосказанность печали.
Мы все нуждаемся в распаде.
Империи идут на убыль
и только строчки не в накладе.
Им обольщенье наше любо.

* * *

За писарем, понятливым в писанье,
в сплетенье буковок и параллелях строк,
слежу, поскольку вышел на заданье
пресечь копирования порок.

Непочата житейская брусчатка.
Её ведь надобно не описать – пробить
не напомаженной перчаткой,
мозоли твёрдые любить.

* * *

Памяти Б.С.

За свежим случаем – парная,
за солониной – тёплый квас…
Я Вас, Борис, не понимаю –
так безыскусственен рассказ,
не живописны так детали,
и беллетризма ни фига,
но мы прозренье обретали,
когда Вы брали за рога
простое всё – куда уж проще –
и вместе так соединив,
что Время изумлённо ропщет –
не по потребности правдив.

* * *

Зачинщику не заступить дорогу,
а цвет ему и сам подвластен –
пошепчет, выпалит и – с Богом,
который вовсе не опасен,
когда мольберт за шкирку держат,
а кисть всю ночь не просыхает,
и надо позабыть, как прежде…
Зачинщик, что он понимает?

* * *

А этот, новоиспечённый,
он привлекался? Он учёный?
Скакал на жизни помеле?
Какой из просек увлечённый?
Должно быть, не в своём уме.

И так правы. И этак правы.
У просек вон какой размах!
Сквозили через всю державу,
чтоб виден был подальше страх.

Он любит, что ли? Он помешан!
Нет, ничего не обещать.
Пусть рыщет полый, безутешен,
и рифмами спеша нищать!

* * *
А здесь дистанции довольно –
разъятые материки,
и надо же, как прежде больно,
хотя предельно далеки.

И надо же, душа не верит,
что километров грозен счёт –
она внутри до дна промерит,
что неизбежно в даль влечёт.

* * *
А тут уже внутри спокоен,
вернее знаешь, будет слог
в урочный час, пусть ты жидовин,
и недоволен Русский Бог,
что ты пасёшься в русской речи.
Но даже он махнёт рукой,
поскольку слово человечье
дарует волю и покой.

* * *
А он опять на чемодане,
а чемодан – трофейной ткани,
вернее, благородной кожи –
коричневый, как у вельможи.
А он опять почти уехал.
Вокзал, души больной прореха,
зовёт, заманивает, жаждет, –
гуляй, пока твоей поклажей –
трофейная, с атласной кожей,
вы вспомнили уже, вельможный…
Так кто он? Почему так тянет
прельстительность трофейной ткани?

Кого он ждёт?.. Иль не достало
в бессонной толчее вокзалов
той, что летит в плаще раскрытом –
с единственным душой повита?
Но чемодан за чемоданом,
и покрывает кожа рану,
ничейной становясь, напрасной,
к томленьям сердца безучастной.

* * *
А тут и стол, металлом взятый,
и в ящиках картонных снедь,
и томик Бродского, понятный
тебе не больше, чем на треть.

Не гениям ходить в подвалы,
где мускулам понятно, что
тебе так много не хватало
и в жизни той, и здесь. Зато

сейчас, не слыша русской речи,
ты можешь гул её копить,
а час придёт, очеловечить,
в угрозы слуха воплотить.

Но то когда? А нынче проза
и холодильников мороз –
Сибири мнимая угроза
на ихних полках, невсерьёз.

* * *
А люди безупречные опять в любви верхах.
И самые приметные опять при власти вместе.
Мне до сих пор не верится, что им не ведом страх, –
бессовестны, а внешне, честь по чести.

* * *
А Бог их молодыми прибирает – до распада,
иль зрелыми, пока в цене слова,
вдруг ложка по тарелкам «непопадом»,
и склонится в поклонах голова.

А Бог им угождая политесам,
Давал договорить, куда с добром.
И всё-таки мне очень интересно,
он к ним в душе с венком иль топором?

* * *

А тут комарик запоздалый
плутает в неге ноября.
Горюй вослед, пиши пропало –
влетел он в этот мир зазря.

Ведь всё равно не комариной
окажется назавтра стынь,
и ветер явится с повинной,
разгонит негу и теплынь.

И комарьё от нас отхлынет,
как полагается – всерьёз…
В урочный час и нас не минет,
судьба, которой суть – вне слёз.

*   *   *

А мне куда подеваться, отпетому?
Какой заграничный подвал
пригреет душою раздетого,
на новый подбросит вокзал?

Какие заморские прелести,
малинно-смородинный рай,
спасут от томленья и ереси,
поставив на гибельный край?

Стремленья, борение, ропоты,
о чём Вы, кому Вы нужны?
Но тише. Вы слышите, шёпотом
нам жизнь разъяснит, как важны
смирение раннего холода
и выплески поздних седин.
Терпи! Ты умрёшь не от голода,
от слова – один на один.

*   *   *

Памяти отца

Был труд воскресный узаконен
как назидание подростку –
пиление сучкастых брёвен.
Пила двуручная. Ты – взрослый!
Вжик-вжик, и вздрагивают сучья,
визжат под зубьями металла.
Отец и топоры подучит –
вдоль трещин бить, не как попало.
Поленница растёт неспешно.
Но день воскресный истекает. –
Как жить? Отца пример прилежный
до вечера не утихает…

Ты в оный час закрыв ворота,
уйдя в желанный мир на волю,
не знал – воскресная работа
немногих доля – лучших доля.

* * *

Больно шашни Ваши надоели.
Выгодно ль дышать, уже не знаю.
Прекращаю, замираю средь недели –
в правила постылые влезаю.

Надо вкрест себе и до победы?
До какой? Итак, в руках у выгод –
слово разыскать перед обедом,
к ужину найти логичный вывод.

Милые мои, я буду тошен.
Милые мои, я стану скрытным.
Больно шашни Ваши – стать хорошим –
патиной безжизненной омыты.

* * *

Бестрепетна и потому права.
А если трепетать,
то правоту не сыщешь,
и жизнь, однажды данную,
просвищешь,
и слов об этом
сроду не сыскать.

* * *

Будто бы слова возносят над другими…
А потом что – падать иль парить?
Будто под ногами к имю имя,
тех, кто попытались говорить…

И потом, из клеток возвращаясь,
будто б пожалели о словах…
Я отдельных судеб не касаюсь,
сам ведь не прошёл
сквозь этот страх.

* * *

Безоблачно. Почти невероятно.
Слёз где-то дополна, а здесь ни-ни.
Голубизна так необъятна,
как только в молодости дни.

И ты безоблачен. И седина забыта,
хотя б на краткий обольщенья миг.
Пусть позже набегут, но нынче шито-крыто,
и ничего ты не постиг.

* * *
Без пещер пророков не бывает.
Ну, и климат нужен подходящий.
И чтоб неба низкого пределы –
вознесенья происходят чаще.

У меня чаща и горы рядом.
И погода мне дожди пророчит.
Небо ниже низкого – у взгляда.
Возносись – кто стать святым захочет.

Мне б на гору ту, чтоб склон не мучил.
Семь потов сойдёт, пока «сломаешь».
И палатка мне пещеры лучше.
Впрочем, ты сама об этом знаешь.

* * *
Бок о бок малинник с забором.
Бок о бок земля и трава,
и наши бесплодные споры
с подтекстами «прав» и «права».
Но осень подкинет согласье,
умение жить средь дождя.
Привыкнет малинник к несчастью,
как мы привыкали к вождям.
Бок о бок, и врозь, и прогалы –
такие, что криком кричи.
Правы, не правы, дело право –
виновны «евреи-врачи».
Но я только словом калечу.
Припомнят и это, и то…
Ты видишь, дождь белым просвечен.
Пора вспоминать про пальто.

* * *
Вы были ребёнком?
Вы были когда-то напуганы?
Вы помните, бабушка держит
за руку у краешка рва?
Ну, яма такая, в ней дяди и тёти,
и братья с подругами,
лежат друг на друге,
как будто не люди – дрова.

А рядом стоят, улыбаются
дядьки плечистые,
и вальс среди вскриков,
и глянец к лицу сапогам.
Не выстрелы страшны,
не выстрелы страшны,
не выстрелы,
а звуки гармошки,
прилипшей к весёлым губам.

Куда мы, куда мы,
Куда мы, отпетые?
С губною гармошкой
мы, видно, летим в небеса,
туда, где у бабушек
внуков богатство несметное,
и слёзы людские, как божья,
как божья роса?

Я позже на землю вернусь,
я и мёртвым дослушаю.
Мне хочется видеть,
как звуки у розовых губ
клубятся, кипят,
обещая всё самое лучшее,
и с вальсом в обнимку
выходят на жизненный круг.

*   *   *

Всем наваждениям упрёком.
Зависеть? Зависть?
Но любить –
не ограничить сердце сроком –
скорее, время позабыть,
и там, где пропасти пространства,
и там, где глаз давно избыл,
поднять со дна души упрямство,
раздуть опять сердечный пыл,
и высочить тебе навстречу.
А говорили, не смогу.
Но я настоль бесчеловечен,
что вскоре снова убегу.

*   *   *

Вы слышите, несовершенства
дают поэзии права
искать, плутать, ловить блаженство –
пусть от жилетки рукава.

И если Вы владелец слуха,

и если на носу очки,
включайтесь в поиск – на старуху
ещё не найдены ключи.

* * *

В сфере расширенья толкованья
слово для поэта – Божий дар,
но не знать заведомо, заранье,
сможет ли невеститься вне нар,
вдруг порвётся выпуклая сфера
над бумагой с россыпями строк,
и читатель молвит – с этой верой
припаять должны смертельный срок.

* * *

Всё упирается в огарки,
когда от спичек пальцы жжёт…
И где они? Какие марки
теперь в престиж, каким почёт?

И закоулками серванта брести
пытаюсь вспомнить, где
мать бережно и аккуратно
их находила в темноте.

Но рук её давно не зная,
они по свету разбрелись,
уже нисколько не считая,
что вслед за ними вспыхнет жизнь.

* * *

Вся жизнь как предвкушения прихода.
Но ум и ныне там, хоть стало невтерпёж.
Не посетит уже, не объяснит погоду,
как череду дождей и облаков падёж.

Все плачут. Но они… Нет, ум не с ними вместе.
Земной, он по земле пробраться норовит.
И знает, что почём, и сторонится лести,
и лаврами нисколько не увит.

Откуда знаю? Слышал. Наблюдаю.
Но нет его. И не было с утра.
И дождь обыкновенно объясняю,
как предложенье съехать со двора.

* * *

Блокадникам

В доме хоть шаром покати.
И последним словам не спасти –
нет желания есть или пить,
просто надо без этого быть.

Голый ветер на голом крыльце.
Голый голод на бывшем лице.
Вот и сени давно голодны.
И соседи тебе не видны.

В доме хоть… Без еды разве дом?
Те, кто выжили, долго потом
крошку хлеба – пустая мечта! –
не могли пронести мимо рта.

* * *

В который раз пережидая
неспешность ночи, песнь сверчка,
гадаешь, встать с какого края,
чтоб обмишурилась тоска.
Её оставить без обуток,
без курточки под рыбий мех,
и улыбнуться – кроме шуток –
без колебаний, без помех.
Лучи почти горизонтальны,
как подобает ноябрю,
нетерпеливо лезут в спальню.
Дождутся, окна отворю:
«Летите вверх! К своим высотам!
Доколе людям докучать?»
И удивлюсь себе – охота
на недоступное кричать.
Они и сами заберутся
поверх прореженной листвы,
и пятнами к траве пробьются,
невозбранимы и чисты.

* * *

В слове что? Агонии экстаз.
Будто приключившись ненароком,
в вечности продлится –
в центре, сбоку,
с глаз долой, не помня наших глаз.

* * *

Вдруг дверь проделает рывок,
как будто ни к чему «глазок»,
и нетерпением горя –

но всё зазря.

Вдруг рухнет оземь потолок
и бросится с безумных ног,
чтобы к твоим впотьмах припасть.
Что за напасть?

А стены, стены – всё туда,
где нынче не найти следа.
Давным-давно скрипела дверь,
но не теперь.

Так где я? Почему тюрьма
и в состоянии ума,
и в пониманье несвобод
за годом год?

* * *

В раю всё райское, поскольку
не крикнуть радостно: «Земля!»,
и телом не заставить койку
прогнуться, удовольствий для.
Рай невесом, невидим – нечто
равноприимное мечте,
как в детстве тёплое запечье,
ржаной сухарик в темноте.
И ныне оживает – сладок
и горек, столько в нём сторон.
А рай?.. Неужто без помарок
возможен жизни перегон?
И то запечье, отпуская
тебя в неугомонный мир,
вздыхает вслед – оно-то знает,
как много в рае прежних дыр.

* * *

Памяти Б.П.

В него свои стреляли –
соратники по цеху –
в затылок, перед строем –
кто как посмел,
но все настоль серьёзно,
с невиданным успехом…
Уж если выпал гений,
и в этом преуспел.

* * *

В его стихах – развалы прозы –

изящной, умной… Нипочём
ему сюжетные угрозы,
настоль уменьем облачён.

Допишет, вдоль веков промчится,
с тем увязав, с другим сдружив…
Но – проза! Мне иное мнится,
когда стихи текут из жил.

Не бесконечные картины,
прекрасны, разговора нет,
а проблеск, всплеск первопричины –
вопрос и вроде бы ответ.

Но то моё в стихах пристрастье.
Мы разны – разно и перо,
похоже лишь, не признак счастья,
не вера, вслед ему – добро.

*   *   *

Глубоко враждебные и чуждые,
зона в сотню вёрст для Вас тюрьма?
Или в лагере становитесь ненужными
ни себе, ни мыслям, ни умам?

Май опять в цвету опять с «посадками»
неугодных, видевших в штыках,
не усилья стать любви тетрадками –
только страх подкожный, только страх.

*   *   *

Господне лето,
мир ушедший,
ты был почти
как сумасшедший –
зачем-то в скалах
цепких лазал..
Чего искал?
Какие сказы?

Сменяя годы,
дни сменяя.
Господне Лето
вспоминая,
давно не лазишь,
стал нормален…
Зачем им стал,
поймёшь едва ли.

Я всё к тому –

ушли вопросы.
Искал – нашёл –
остался с носом…
Всё зыбко так,
необъяснимо,
как жизнь,
промчавшаяся мимо.

*   *   *

Дожить до повторных арестов,
не зная зачем, но дожить.
И ветер свободы с зюйд-веста
за проволкой вновь сторожить.

И всю свою жизнь распекая –
нескладна, никчёмна, зазря –
забыть, что иные бывают,
под белую песнь января.

Сугробы имеют обычай
весною исчезнуть, пропасть –
тебя не отыщет в наличье
во всё проникавшая власть.

Лишь позже бродяга настырный
в широтах лихих волостей
наткнётся под сопкой пустынной
на горсточку белых костей.

*   *   *

Доколе спрашивать о вечном?
Доколе вопрошать о сущем?
В преддверье станции конечной
тебе уже не станет лучше.

В преддверье слова, может статься,
настигнут звуков обольщенье.
Но к вечному – не прикасаться!
Но к сущему – ни на мгновенье!

*   *   *

Здесь город убегает в сосняки,
а убежав, воротится к подножьям,
где тополя, не нами рукотворны,
а теми, кто на век опережал.
Здесь место подобрали две реки,
соединившись в бывшем бездорожье,
и на восток отправившись проворно,
пока их натиск гор не задержал.

Здесь по линейке улицу, как будто
их начертали трезвые умельцы,
и переулков нет кривоколенных,
и улочек с подобием подков.
Всё так! Но город позабыл, как утром,
лет пятьдесят назад, не отпереться,
напротив окон, сердцу неизменных,
я тополь посадил и был таков.

*   *   *

Здесь не было конца вещам – одно начало,
на всё про всё смущённый рюкзачок.
Эй, ты, с какого угодил вокзала,
и чем расширен твой исколотый зрачок?

А ты, нескладень, столб лохматый,
откуда? Как тебя согнуть?
Когда ловчит к земле прижатый,
канавам открывая путь.

Мы все прижаты к ней, но что-то
меняется в тебе – копнёшь,
и чёрному поддавшись поту,
с ней впредь водой не разольёшь.

*   *   *

Здесь милости не падают с деревьев
и не растут законам вопреки –
расхристана, неприбрана деревня
устало вдовствует на замяти река.
Здесь всякий стужею откормлен.
Ни луга, ни колючего стожка –
лежат вповалку груды серых брёвен,
да дробный перестук вечернего движка.
Всё доросло до точки, до упора –
ни брёвнам встать, ни вырастить травы –
лишь изредка далёким косогором
крадутся нелюдимые волхвы.
Но не домчаться к ним, не прикоснуться.
И снова сны. И снова пал забор –
он шёл к реке, хотелось окунуться,
да отошла вола подальше, за бугор…
И мне бы перестать заглядывать в те воды,
себя поднять и осушить следы.
С народом ты иль вовсе без народа,
не добежать до вечности воды.

*   *   *

Забвение всего дороже –
не высунут и позабыт.
Никто из ближних не тревожит,
и дальних никого не злит.
И вправду, для чего ломиться?
Я закрываю слову дверь.
Пусть он к соседу постучится,
мой ласковый и странный зверь.

* * *

Здесь и слова дальневосточны.
И реки мчатся на восток.
Кета с горбушей – полномочные
владетели и знают толк,
как пробираться вне фарватеров,
колоннами по сто в ряду,
инстинкта ради, не характера,
как бы в «родительском» бреду.
И отметав икры сокровища,
не знать, как в мир твои мальки
войдут и повторят «побоище»
на дне единственной реки.

* * *

Зимовье выбрать на отшибе,
где одиночество всерьёз,
и в небе, на любом изгибе,
полно досель незримых звёзд.

Где речка бредит перекатом,
а перекат скрепил свой путь
с водоворотом виноватым –
настолько тянет глянуть в глубь.

Поверх всего пусть будет взгорье
или достойная гора,
с сосновым лесом в изголовье
с подстилкой пуха и пере,
а понизу – без ветра место,
где вольно управлять костром,
и что случится, не известно –
зло притворится вновь добром.
Но звёзд бессрочное сиянье
с реки пространством меж камней
тебе воротят пониманье,
чем зимовье тебе родней.

* * *

Здесь личности вредны державе.

Держава личностям вредна.
А кандалы всегда не ржавы,
и цель высокая видна.

*   *   *

За млечной женщиной,
за молоком и мёдом,
за спелостью округлых глаз,
шёл вечер, клял себя,
несносную погоду
и то, что не способен на рассказ,
как надобна она,
хотя бы мимолётом,
как млеко истекает без него,
и мёд сгущён,
а сердце средь желёз ломоты
не понимает в жизни ничего.

*   *   *

Здесь от Всея Руси осталось только слово,
да томиков потрёпанные лица,
да разговор, когда же будет снова
на трон посажена немецкая царица.

И вправду, так предполагалось свыше!
В своих одно лишь обожанье срама,
а здесь хоть срам, но впереди умище.
Как результат – бескрайняя держава.

Смотря на мир почти потусторонне.
Здесь до Руси несчитанные вёрсты.
Держава – хорошо? Иль счастье проворонить
в ней, как всегда, непостижимо просто?!

*   *   *

И разве прав художник, сделав выбор?
Душевный слом на то, чтобы не знать –
палачеством себя, чтоб правду вызвать
иль только напоказ, строку призвать?

*   *   *

Г.П.

И если сам откроешь в бездне
не Достоевского – себя,
не будет жизни бесполезной –
из бездны за тобой следят.
Все коммуналки бесподобны,

как понимание, куда
заводит комната свободы
и ванны общая вода.
Но это – мелочь в тесных стенах.
Жизнь коммунальна, как не мерь!
И бездна низкого на сценах,
и пьяный бред ломает дверь.
Но ты, не от неё бежавший,
и получилось то, что есть –
не нынешний и не вчерашний,
к соседям сослепу не лезь.
Иначе бы не рвались строки
к тому, кто всюду чужаком,
и кто давно просрочил сроки,
не перестав быть дураком.

*   *   *

И будут пространства не лишни.
Словам нужно мир оглядеть.
Они – не черешням, не вишням,
не только затем, чтоб галдеть.

Их мера волнует, и свойство
не просто звучать на пиру,
а чувствовать мироустройство,
в час скорбный прийтись ко двору.

И лишь потому не напрасны,
и душам людским по плечу,
что в буковке каждой пристрастны,
постигнув, что вправду хочу.

И зная о том, на прощанье
дадут мне поверить, что был
не столько источник отчаянья,
скорее – несломленных сил.

*   *   *

И смысл несчастья понимая
истоком для нагой строки,
и сторонясь, и убегая
в бесплодные материки,
чтоб прячась среди слов обычных,
нагие в памяти держать,
как держит истово, привычно,
уставшая в разлуке мать.

*   *   *

И страшно оставаться без ответа.

Любой намёк ещё вчера – ответ готов.
Неужто старость – полая планета,
где смыслом плоть и горстка жалких слов?

Тогда молчи! Не трогай старость.
Все камешком вернутся. В этом жизнь!
Ведь самому на дне осталось –
щедротам возраста учись.

* * *

И сам воздаст, и сам припомнит,
чтоб цену кислороду знать,
и не краснеть в тисках утопий,
и понятых к себе не звать.

Ты под арестом – без согласья.
Ты арестован, потому
что нет межстрочечного счастья
на всю огромную страну.

Есть только запах кислорода,
когда рискнёт вкусить озон
читатель, от тебя свободный,
в попытке отыскать резон.

* * *

Г.Соколову

И вымолить. И тут же, пожалев,
вернуть. Уступки! Вечные уступки!
Зато рояль явил звериный зев,
пуская в ход бесчисленные зубки.
Или клыки? Иль только под рукой,
вдруг укрощенные, как нежности соблазны?
Ну, вымолить. Ну, потерять покой.
Ну, звуки гневные бросая раз за разом.
И знать, что зубки знаешь на зубок.
Но звуки, звукоизвлеченье –
всей жизни длящийся урок,
не уговор, не развлеченье.

* * *

И я конформен,
когда строка упряма.
И я бессилен,
когда вокруг гульба.
Мы стали бедные –
повсюду рестораны.
Мы видно счастливы –

под выпивку судьба.

Я говорю конформно,
что ты ропщешь?
Что в том плохого –
крытые столы?
Не знаю. Не пойму,
что в подлой жизни проще,
жить посреди
иль вне любой молвы.

*   *   *

И что в Земле всего дороже?
Не зов полей, не рек голубизна,
а кривизна её шершавой кожи,
неровностей беспечная казна.

Она вблизи нисколько не заметна,
хотя б прищур моих и прочих глаз –
кривит, манит, пока бредёшь по свету,
чтоб, круг замкнув, увидеть снова Вас.

*   *   *

И если не безвыходна, то что?
Какие ветры для неё подмогой?
Вторая свежесть – это слог убогий,
пусть даже издан и прочтён.

А тут ещё – «о большем не прошу».
Прошу, и как!
Неужто всё вторично?
И даже адрес заграничный
напрасно в паспорте ношу?

*   *   *

И этот возраст не по правилам,
и ересь – в памяти на лучшее,
не всеохватности добавило,
и не наивностью замучило.
Трезв! Всюду трезвость зачумления.
Чума – на душу, на бессмертную,
по кругу пошлого движение,
по кругу воздуха инертного.
Мне не хватает только малого –
запрета на стихи потешные.
Вы так серьёзны? Жизнь усталая,
да, не прольётся в слово грешное!

*   *   *

И проиграю в своих глазах.
Зачем мне третьи?
И будет не страх за себя.
Не страх приключится.
Меньше одним малохольным
на белом свете.
Лучше ль дожил до седин,
а рифмы боится?

*   *   *

Кто поставил меня над словом?
Кто подставил?
Дело это и встарь не ново,
да без правил.

Слово бездарь. Слово – мытарь.
Слово бесплодно.
Кто-то молвил, добру не быти –
несвободны.

Кто-то думал, свободу сунув,
всем поможет…
Кто подставил меня? кто удумал –
стану вхожим?

*   *   *

Как будто буковки престижны,
имеют место быть.
И ты пред ними должен
быть унижен,
и всякую всегда любить.
Иль чувствами пренебрегая,
за шиворот – но вдоль строки,
и под престижем понимая
лишь гнев недрогнувшей руки.

*   *   *

Когда б?! Когда бы дело в том?
Но сколько было по сердцу,
кто не цеплялся за слова,
с кем ты в «разведку» уходил,
к кому и ныне бесконечно просится
твоя заблудшая душа
в преддверии могил.

*   *   *

Как самоварно золото по сути,

хоть блеск и жизни долгота.
И что в нём правда, что без мути –
лишь девственная чистота?

Держи его! Владей! Ну, что, теперь ты счастлив?
Ты жизнь выкупил разок, другой,
и длишься, позабыв, что норов страстен
лишь с неподкупною судьбой.

*   *   *

Куда важнее не поэтово,
не то, что звуками полно,
а мир, где с виду перепетое,
всё внове, хоть давным-давно.
И ты б не зная, как невестится
на солнце маковка горы,
не смог бы с ней меж строчек встретиться,
сквозь жизни провести дворы.
И ты б, не замерев от счастия,
глазея как петля к петле,
река влачит своё бесстрастие,
не знал – там горизонт светлей.
И всё это с тобой повязано –
петля, и маковка, и свет –
и не строке твоей обязано,
которая что есть, что нет.

*   *   *

К лучшему, что пока
горстки тепла. Не поздно
нам посягнуть на них,
хоть повернулись к зиме.
Свежие облака
пахнут под утро морозом.
Вечером, передохнув,
только дожди на уме.

Позднее дорого нам.
Раннее, вроде, забыто.
Тянемся к очагам,
греем усталую плоть.
К лучшему, что до сих пор
завтра твоё открыто.
Что ещё, кроме зимы,
может придумать Господь?

*   *   *

Как не присвоен был Россией,
не помогла, не позвала.

Доныне даже не спросила
как беглого идут дела,
как смог без ежедневной речи
слух бесполезный вынимать
и ждать, когда начнёт калечить
чужого слова благодать.

*   *   *

Как отстреливался Бабель!
Он когда-то с Беней грабил –
пулями стрелял по телу
деловито и умело.

Как поранил он чекиста,
с совестью донельзя чистой!
Это после оказалось –
и она врагам продалась.

Все враги рябому Кобе.
Тут глядеть не только в оба –
в тыщи глаз и проморгаешь,
всё святое растеряешь.

*   *   *

Когда бы слова не заметив,
но в нужный миг употребил –
расставив при случайном свете,
при неслучайном оценив –
как там и было…
Ненароком!
Такое разве повторишь?!
И гасишь свет. Но нету прока…
И включишь свет.
И муки длишь.

*   *   *

Когда бы только крохоборство,
и перечень, и прейскурант?!
Но внутрь войди – иное свойство
и нескрываемый талант!

Он прятался в развалах строчек,
в подробностях – попробуй счесть..
Да, совершенство краткость хочет,
да правил неуместна спесь.

*   *   *

Памяти О.М.

Как бы тихо – чтоб не сесть.
Как бы тихо – но пописывать,
и в герои, нет, не лезть –
дни безвестности нанизывать.

Что главнее – ты не Там
или Слова Сочетание
по сусалам, по устам –
не трусливое молчание?!

*   *   *

Как упреждает нас доходчивость –
надёжнее всего не ждать,
и географию по отчеству
иль прозвищу именовать.
И каждый шаг её описывать.
И каждый свой – в её вратах…
Я сиднем сел. смешно отыскивать
восторг в усидчивых устах.

*   *   *

Листва опять переметнётся
в удачливость соседских дач.
И встанет там. И лбом упрётся
в решении чужих задач.

А у тебя в пустотах сада
ни листика, ни пол листа.
И ждать зимы холодной надо.
И в чёрных думах – неспроста.

Догадки – больше чем ответы.
Но вот соседи жгут костры.
И пахнут безутешным летом
к ним убежавшие листы.

И пахнут лживым обещаньем
тебя нигде не покидать,
не мучить беглостью прощаний,
и вместе жизни сострадать.

*   *   *

Меня давно пора остановить,
не то седые лохмы опозорю.
Когда ты стар, слова – двойное горе,
их можно лишь на миг усыновить.

За молодых они стояли и стоят,

и в драку ввяжутся – настолько славил…
Меня давно сомнения корят,
чтобы не портил возраст правил.

* * *

Мы призабыли, в настоящих
трагедиях не нужен Вильям.
Любой диктатор завалящий
на нас ушат трагедий выльет,
и мы по жизни в чёрном теле,
герои вовсе не герои,
и ничего не ставят целью –
живут, коптят, и всё такое.
И погибают безотказно.
И под пером не оживают,
а ведомы судьбе приватной,
которую позабывают.
«Не быть» – не слишком частый выбор.
«Уйти!» – у смуглых кожа – платье.
И ни к чему, что Вильям прибыл
из Статфорда, где нет понятья
о ревности, о принце Датском,
об укрощении строптивой –
кабатчика роднее ласка,
на дне всегда прогоркло пиво.

* * *

Но в этих строчках «топлесс»
ни капли откровенья.
Расстёгнутые пуговки? Но это не душа.
Немеркнущая плоть – от
скорби отстраненье,
от рук, которые «ворваться» не спешат?

* * *

Памяти М.Г.

На нашей Земле некто жил,
он сердцем своим удружил,
увидел средь скаредных строк
ему показавшийся прок.

На нашей Земле кто-то знал,
что строчек непрочен металл,
но если душою прочесть,
то нужной окажется честь.

Его среди нас больше нет,
унёс понимания секрет,

и больше никто на Земле
не пишет уже обо мне.

*   *   *

Но ты не фруктовый, не ягодный,
и даже не овощной
в этой дали ненагаданной,
с этой не нашей мошной.

Руки никак не примерятся
не по потребности брать.
Разве с такими поделится
вся королевская рать?!

Разные есть испытания.
Нынче важнее еда, –
скромное пропитание
чавканье без стыда.

*   *   *

Не успеем развеселиться.
Кровь под судьбами потечёт.
Перевёрнутая страница.
Счастья в жизни наперечёт.

Не успеем понять, что рядом,
не за тридевять сытых земель,
всё, что надо, – ведь мало что надо,
если дверь не срывают с петель.

*   *   *

Неужто мелочность каприза
размен дыханья на слова,
а жизнь и сверху, и понизу
своим молчанием права?

Неужто забегая справа,
и слева звуки городя,
взыскуешь не с себя, а к славе
спешишь, красотку возлюбя?

*   *   *

Не потому ли оголтелы
в своей любви материки,
что прячут собственное тело,
и друг от друга далеки.

И дальними повелевают,

кому, куда морями плыть.
И слёз, увы, не проливают,
что не умеют вместе жить.

Но там, где было исключенье,
где разбежаться не смогли,
моя земля – мои мученья
в той, незлопамятной, дали.

* * *

Но там, где подлинная ересь,
являются еретики,
и в каждодневном разуверясь,
берут не логикой строки,
а всем отличием мятежным,
неизрасходованным сном,
с доверием по-детски нежным,
и лишь случайно – с ремеслом.

* * *

Памяти З.Г.

Нарушение законов физики.
Отрицание законов статики.
За заслуги в области лирики
он пожалован в математики.
Наконец-то! И он отведает
между чисел души спокойствие.
Степень третья, нет, не победная.
Но ведь есть взамен удовольствие
растворяться в слове Борисовом,
задыхаться от осени Болдинской,
и себя шаг за шагом прописывать
там, где степени сроду не водятся.

* * *

Не строки обдуманных правил,
ни странности новой страны,
до Вас никогда не видали
ни мужа ещё, ни жены.

И там, где запретов заставы,
и там, где диктует толпа,
живите ни слева, ни справа –
лишь сердцем любовь не слепа.

Ты станешь отличной женою,
его различив средь других.
Ты будешь мужчиной – виною

отныне одной на двоих.

А то, что живём мы поодаль,
и то, что живём мы вдали,
не Вашему дому погоды,
проблемы не Вашей земли.

*   *   *
Не вмешиваться! Слову не приятно,
когда ему советы там и тут.
Оно ведь чем и ценно, что приватно,
а впутаться – излюбленный маршрут.

И тот, кто никогда не впутан,
талант сумеет превозмочь.
Но как он объясняет внукам –
что душу надобно толочь?

*   *   *
Нет, не вернуться тем низким ветрам –
полы палатки, и те пополам.
Ну, а высоким и вовсе не быть –
мне до вершины уже не доплыть,

но продолжая грести в суете,
слово пытаюсь сказать в простоте.
Жалко, что дома слова не просты –
нет в них безумства бродячей версты.

*   *   *
Но каждый день напоминаньем –
ты станешь на него похож,
и пища будет главной данью –
неодолимый острый нож.

И каждого куска величье
в другой, но не его руке,
теперь заглавное отличье,
настолько ум стал налегке.

*   *   *
На себя оглянусь и застыну – отсюда слова.
Столб соляный, небрежная пика «сушины».
А правее чаща – в бороде голова,
непривычного лика мужчина.

Он пустынен. Он держит в потае скиты.
Он уходит от нас, чуть заслышав, мы близко.
И не нужен ему сельсовет правоты,

и отеческой лаской живая прописка.

На себя оглянусь. У палаток таган.
Зреет каша. От голода стянуты скулы.
Столб соляный, я ныне пешком по слогам
продираюсь то склоном, то цепким багулом.

Или хочешь, любую строку обрати
в эту небыль, где Время лишь сегом торопит –
он нисходит с гольцов, он меня превратит
в тех, кто азий наевшись, минует европы.

*   *   *

Но все в характере горазды
увидеть слабину – мол, гений,
а мог «по матушке» иль праздно
забыть про трезвость воскресений.

Коль угождал, то лишь случайно.
А возносился – выше меры…
Он умер. Разве не печально,
что живы зависти примеры?

Какой ни есть, он Вас протащит
в историю бесповоротно –
пустой, бесплодный, завалящий,
Вас, в Ваших муках бесподобных.

Он Время разглядел до корки,
до кислой рвоты узнаванья,
за шкафом, врезанном в каморку –
в размах людского прозябанья.

*   *   *

Но Время, взятое невесть откуда
и прикреплённое к тебе,
не даст понять, какое чудо
забыть о нём, о ворожбе
часов, ежеминутных стрелок,
не отстающих ни на миг…
Как был надзор смешон и мелок
среди его унявших книг?!
Они, представ как бы снаружи,
поверх и снизу, помогли
понять – не Времени ты нужен –
безмолвию родной Земли.

*   *   *

Но только чтобы не богаче!

Что может быть богаче книг?
Неужто я зазря заначил
их разнотомья материк?
Неужто кроме складок ложа
и глади призрачной стола,
мне нужно больше, суть итожа
того, что строчка подала?

*   *   *

Не к холодам лицо повёрнуто,
но явятся, куда девать.
И над рекой, с душой распоротой,
туманам руки воздевать.

А там, где скопища машинные,
где круглосуточность шоссе,
они припомнят стынь старинную,
возницу с дёгтем в колесе.

Ишь, что удумали? Всё движется!
И нам шоссе не отменить.
А холод к берегам придвинется
и станет льдом туман дразнить.
И скорости неподотчётные
отменит, высмеет, сомнёт…
О, как тепла мечта залётная,
но слог к теплу давно не льнёт.

*   *   *

Небесных звуков факультеты.
Земных ошибок детсады.
Вы вместе и зимой, и летом,
иль Ваши не видны следы?

Зачем Вы, выскочив за город,
кричите – здесь свободы звук?
Ведь у сравнений жизни норов –
вне Академии наук.

*   *   *

Не написал ли сгоряча?
Не похвалил ли Ильича?
Не то обиженный усач
сойдёт с резьбы, умчится вскачь
в страну, где станет всем и вся,
согласье наше не спрося…
Но если холодны стихи,
власть забывает про грехи.

*   *   *

Но с той поры,
когда по звукам узнавали,
как низок небосвод,
и что скопленья туч
не нас единственных признали,
и первый не способен луч
всё высветить, всем объяснить,
как темень
горазда обмануть,
и почему стал звук бесценен,
когда к душе сумел прильнуть.

*   *   *

Не может вечно продолжаться,
чтоб на стихи смотрели снизу,
как будто пролетают мимо,
и нет в них запахов земли,
не может, потому как слово
не рождено души капризом –
её последняя надежда,
которую мы сберегли.

*   *   *

Но радость горечи страшней,
коль разделить её не сможешь,
а тот, кому её предложишь…
Когда бы выдумать смешней!

*   *   *

Не золото пьянит кареты,
а золочённые леса.
Пускай туманные рассветы
от них сокроют небеса.
Но, канут прочь,
лишь солнце встанет,
и синь на золото падёт…
Кареты – что?
Душа не канет,
коль мимо золота пройдёт.

*   *   *

Не алгеброй гармонию расчислил,
но алгеброподобен был –
в подробностях числа, в подтекстах смысла
монбланы гор наворотил.

А всё зачем?.. Внутри столь безутешен!
Писать помене – раньше смерть.
А тем, кто наведают – грешен, грешен,
лишь повторю – как можно сметь?!

* * *
Но неофиты запоздалые –
тропа исхожена другими –
вдруг окунутся в строки шалые,
припомнят жизни прошлой имя –
распутицу её, бескормицу,
ведь были счастливы, не ныли…
О, как давно столы не ломятся
друзьями, сердцу дорогими!

* * *
Но жизнь ль сама, испугана необратимо,
нас понуждает смерть отодвигать,
бросаясь на своих иль пролетая мимо,
как будто не по силам поддержать?!

* * *
Ну, кто ещё бежал из-под надзора
дружины, тёщи, ВЧК?
Кто паспорт утерял в ту пору,
когда о нас заботилось ЦК?

Мои умельцы каторжных кайлушек,
проходчики немерянных шурфов,
куда Вы утекли? Кто «бьёт баклуши»
вне пышных, но бездушных слов?

* * *
Но красоту лица –
гляжу в него украдкой –
ещё твоя природа стережёт.
И даже Рыжий цедит
сквозь перчатку:
«У русской красота не лжёт».

И я о том.
Но от меня докука.
За столько лет – привычка.
Может быть?
С лица воды не пить.
Но красота порукой,
что ты пытался рядом с нею
плыть.

* * *

Но сучка Яшкина –
беспечный комбайнёр –
себя перегрызёт
и вырвется на волю.
Глядишь, изюбр –
под выстрелы в упор,
спасаясь от её «кусачей» боли.
А мы, чем лучше мы?
Ещё не велика,
бежим, и новую –
страшнее – обретаем.
Вот и моя
беспечная рука
влечёт меня
к убийственному краю.

* * *

Но в годы те фойе кинотеатра
как пропуск в призрачную жизнь,
артисток красота в правдоподобном кадре –
на каждую невольно заглядись.
И от артистов в блеске бриолина
исходит превосходство – как ты сер…
Пиликает оркестр. У пианино
не то эсдек, не то эсер.
В Сибири мало что покажется случайно.
И эти уцелели средь борьбы –
чтоб контрабас и звук его печальный
и серебро «сурдинное» трубы.
У каждого типаж неведомого быта.
Но джаз смолкает. Нас пускают в зал.
Здесь классово, и все буржуи биты,
и блеск победы в зрителей глазах.

* * *

А.К.

Но вместо ярмарки тщеславья
необъяснимое согласье
меж продавцом и тем, кто свищет
бесценное в текучке дней,
кто полагает, нет, не можно
взрастить на пашне чужой счастье –
не растерять бы то, что было,
что есть и что всего важней.

Все ярмарки куда-то мчатся,

не замечая мир усталый,
нелепо предлагают выбрать
неколебимую тщету.

Мой продавец, откуда речи?
Пойдёшь со мной, пиши пропало.
Иль ты взаправду не продажен,
и сможешь приласкать мечту?

*   *   *

Ни в коем случае не убьют –
даёшь искусство.
Ни в коем случае не оживёт –
единственная жизнь.
Где он, реальный размер,
ложа Прокруста?
Равенство в нищете
родственных укоризн?

Где она, пустота,
за которой тебя не будет?
Другие продлятся,
нисколько не обеднев?
Только строка, разгребая золу,
осудит.
Что же ты рассказать
о себе не сумел?!

*   *   *

Нет избавления!
И потому причастны.
Нет умиления!
И потому плевать –
как выживут,
насколь прекрасны,
кем выпадет повелевать.

Тобой, уж точно, нет.
И досыта. И баста.
Хоть изредка глядеть тебе в лицо
и видеть след морщин «щекастых»,
и ниже глаз полукольцо.

*   *   *

Детям

Не подношение, а более.
Да, скорбен, не страшусь скорбеть.
Мои высокие условия

в одном – зову попроще смерть.

Как у отца, где тромб стремительный
закрыл единственность пути…
Уходят в свой черёд родители.
И мне бы вовремя уйти.

*   *   *

Остатки разбитых партий –
наградой периферии.
Неисправимые споры –
Марксам не устоять.
Где Вы теперь? Какие
Вас уломали Сибири?
С правдой своей по силам
лишь с нарами воевать.

Кто мы теперь такие?
Разве мы истину рыщем?
Сытое подаянье –
наш безупречный итог.
Жизни лицо срамное
видно вблизи у пищи,
и никаких сомнений –
счастия главный урок.

*   *   *

Ответственен и потому безумен.
А прелесть… Неизвестно, в чём она?
В том как ноябрь рядится июнем,
или на лапах белых подползёт зима?

Всё чередом своим. Ответственных немало.
Но и безумства в жизни дополна.
Взять тот же снег – расстелет покрывало –
белым бело. А что в том от ума?

И ты не замечай, бела или цветаста,
июнь иль октябрит, и надо ль вслед
кричать, как варварство зубасто –
обгладывает жизнь, и звуков милых нет.

А соответствия тебя тому что пишешь,
его величина и твой размер?
Неужто всё пройдёт, и Время взыщет
с других твой возмутительный пример?

*   *   *

Одна тысяча шестьсот шестнадцатый,

вполне обыденный год,
культуры не знает массовой
средневековый народ.
Но вот апрель, двадцать третее,
оба уходят… И что ж?
вечность давно их приметила,
когда пускала под нож.
Знали они друг о друге?
Подозреваю, что нет.
Но помнятся их испуги
почти четыреста лет.
И будут помнить и дале,
какой был рыцарь один,
и как другой оскандален,
зазря Дездемону убив.
Но нам не об этом похвально
задуматься, даже приять –
что массово не гениально,
назавтра ему умирать.

* * *

Она свободу посулит.
Она свободой одурманит.
И в одночасье прикарманит,
но странно, нет, не веселит.

Неведенье всего милей,
пока ты в состоянье верить,
что вне тебя полно америк,
и что одна другой родней.

Но если взялся за перо,
то от свободы многоточий
душа саднит и кровоточит,
и нож сомнений под ребром.

* * *

О вкусах и договорю,
когда в аду дотла сгорю,
и пеплом поздно посыпать,
коль не сумел над вкусом стать.

Не сразу распознал, что вкус
лишь злободневности искус,
мгновения лихих слогов –
дорога в царство пирогов.

* * *

От участи своей умчаться

на север, на восток.
С листком последним поквитаться –
извлечь урок.
И став адептом послушанья,
забыть про дом.
Ты не последний.
Ты не крайний.
Да, что о том?

* * *

Она не прокричит – «Готова!»
Зачем? Все знают, что она
от старого отстав, за новым
пойдёт, и нет заменам дна.
Все те, кто приходили прежде,
им несть числа. Но что с того?
Напрасно тешиться надеждой
стать исключеньем. Никого
не пощадит, сравняв итогом.
А ведь случалось, мнилось им,
что вровень оказались с Богом…
Всё тлен. На том и мы стоим.
И только камень в гладких скулах
вкруг лиц, исчезнувших давно,
смешон кремлёвским караулам.
Там все равны. Там всё равно.

* * *

Он совсем на земле. Волочится крыло –
то, что стало бы им, так не вовремя встреча.
Лучше видеть их там, где пространство свело
вместе ночи и дни, вместе утро и вечер.
Я не помню, как долго он с нами прожил.
Только лапы мужские, не ручки ребёнка,
клюв, которым он мне удружил,
и глаза с равнодушия сизою плёнкой.

* * *

Пропорции заложены в тебе.
Ты угловат? Не в этом дело.
Они по жизни, по судьбе,
и вовсе не причастны к телу.

Его туда, сюда переноси,
прокорм хорош – о большем ни словечка.
Пропорции об этом не проси.
Нужна лишь чёрной масти речка.

Да, что о том?! Пристало говорить,

когда слова внимают переменам,
а здесь ни кровь дурную отворить,
не выскользнуть из пустословья плена.

* * *

Памяти А.А.

Под конец её забыли и не взяли…
Под конец тебя припомнят и возьмут…
Все звонка заслуженного ждали,
предвкушая лагерный маршрут.

И страна в сравненьях не искала
глубины и счастия ответ.
Узелок тихонько собирала.
Невиновных в этой жизни нет.

* * *

Прозрачен дом иль звуки не просты –
пронизывают слух и запускают эхо
меж голых стен, щелей сухой доски?
Быть может, в этом путь к успеху?

Живите, возвращайте суть вещам,
передвигайте их, скребите стулом,
с ножом пристаньте к горлу, к овощам
потусторонним гулом
потом черёд – с утра мусоровоз
прилежно объезжает закоулки.
Он среду ждёт и в шутку, и всерьёз
для очистительной прогулки.
Знать и тебе… И ты в шуршанье шин,
расталкивая полосы хайвэев,
умчишься в мир, где рок наворожил
стать русским отражением еврея.

* * *

Позволено для рифмы взять любое слово –
хотя б «полова».
Позволено ему придать глубокомыслье –
нашёл, расчистил.
Но не позволено себя вводить в тетради,
лишь славы ради.
И знать заранее, до срока,
не буде проку.

* * *

Пусть не ново солнце. Пусть

нам новизна приснится ночью,
когда луна шепнёт – «Клянусь!
Мир голову тебе морочит».

А утром я взгляну на мир.
Морочит? Разве он способен?
И солнце проскользнёт меж дыр
двери и между бывших брёвен.

И горняки решат: «Кончай!
Ты, паря, целишь в богадельню.
Кайлушку в руки и копай!
Стихи пусть балует бездельник».

* * *
Рабом я уже побывал. Раббаем?
Разве случится?
Вспять повернуть горизонт!
И не Сибирью гордиться!
Палаток забыть комфорт.

Пусть будут раббаи правы
и в общем, и в частном.
Мне ни горько, ни сладко,
поскольку другой.
Кабы кто просветил,
были ли предки пристрастны,
насколько боги владели
их головой.

* * *
С такой радиальной скоростью
не только от звёзд ускользнёшь.
Дай на прощание робости!
Ты ведь везде проживёшь.
В туманностях или галактиках –
кто о названых прознал? –
в твоей безупречной практике
не предположен провал.
И всё же, припомнив о робости,
глянь на меня, обернись.
В земной непутёвой волости
наша случится жизнь.

* * *
Слух у меня негодный.
Времени вздохи не слышу –
шаркает башмаками,
кашляет по ночам.

Слух у меня пустяшный.
После жена напишет –
надо было пораньше
передоверить врачам.

Только мы с ней о разном.
Времени нету дела,
станет врачам известно,
был мой слух нехорош.
Думаю, это не сложно
слушать как дышит тело,
только с подобным слухом
к Времени ты не вхож.

* * *

Состою в переписке с Богом.
Правда, писем его не вижу.
Изъясняюсь обычным слогом –
не приближен и не унижен.

Никаких от него подсказов,
откровений иль указаний.
Косит только всевидящим глазом,
в поздний вечер и ранней ранью.

И рукою моею не водит.
Только ночью бумагу сунув,
ждёт, когда я, ему угоден,
прошепчу: «Кто же это придумал?»

* * *

Стихи ведь последнее средство
быть в этой жизни услышанным.
Вслед за последним – молчание,
полная тишина.

Стихи ведь когда ты к стенке
прижат, а они недвижны –
ждут, насколько упёртый,
насколько не хватит ума.

* * *

Памяти О.М.

Сколько позволено?
Да, полноте. Только – выжить!
Нищие подбородки
не держат так высоко?
С Вашим решайте, как.

Его вразумляет Всевышний,
слыша как бьётся сердечко
в плоти слогов.

Лишним бывает талант.
Как его спрятать?
Жертва итак –
звуков, на зависть толпе.
Гроба не имет?
Так что нам, без устали
плакать?
Граду и миру показ –
дело в судьбе.

*   *   *

С частью себя согласен.
С частью – не очень.
Счастье, когда
согласье во всём.
Ночью ли встанешь –
да здравствуют ночи.
Днём ли воскликнешь –
мне радостно днём.
              Вы подливайте!
              Сегодня погода нашепчет
              Выпадет столько –
              земле до утра не испить.
              Горе, когда по углам
              хороводятся черти,
              корчатся, будто вину
              невозможно скостить.
Дождь зарядил.
Неужели прогнозы способны
вызвать не только осадки,
но сердца печаль?..
С частью себя не согласен –
промучусь до гроба.
Вы подливайте!
Неужто Вас жизни не жаль?

*   *   *

С самоуничиженьем незнакомый
разве что напишешь?
Самолюбованием прикрывшись,
что поймёшь?
В закулисье строк
чего ты, хмурый, рыщешь?
Жизнь, одно,
до крови не проймёшь.

*   *   *

Стволы в слоновых шкурах.
Столы сосновой плоти.
Какие шуры-муры?
Ключей не подберёте!
Какие трали-вали?
Расплата пядь за пядью.
Вы осени не ждали?
Вы прозевали счастье!
Кругом ошмётки листьев.
Вокруг бразды разора.
И нет нисколько смысла
в бесплодных разговорах.
Ну, ствол, откинь слоновость!
Ну, стол, пахни смолою!
Ведь осень всё же новость,
что б ни было с тобою.

*   *   *

Сколько осталось в тебе незаписанных?
«Воистину тайна сия велика есть».
Вот и влеки их пока недвусмысленны,
и полагают выказывать честь.

Вот и не думай, живыми иль снулыми.
Дело твоё, пока взял извлекать.
Будет удача – промчатся багулами,
в юности вешнюю падь.

Вот и не надо загадывать загодя,
что, для чего и зачем.
После – тебе подземельные заводи.
Позже – ни слова ни с кем.

*   *   *

Ты возвратишься среди слов.
Неправда, ты не был таков.
Не выгорел. Не угорел.
Коль речью и вдали скорбел.

*   *   *

Ты повторяешься, ведь ночи повторимы.
Ты притворяешься – прошмыгиваешь мимо,
иль заглядевшись вдаль и увлекаясь вечером…
Но не к кому спешить, и делать нечего.

А утром как встаёшь? Насколь заманчиво?!
Чай одинокий пьёшь, а в окнах вкрадчивых

заря, как одиночества свидетельство…
Но вкруг тебя не что-нибудь – Отечество.

* * *

Ты понизу. Но всё равно наверх
тебя влечёт необъяснимо
что забываем,
кто теперь учитель,
и головы задрав,
пытаемся понять –
свод твёрд, как своды правил,
и сможет ль он земному внять,
коль не лукавил.

* * *

Памяти О.М.

Ты говорил о шести.
Сейчас убивают в девять.
Надо лишь потерпеть.
Что нам ещё дано?
Ты говорил, не носи –
пиджак повисит на двери.
Если промажет смерть,
вспомню его сукно.

Ты говоришь о шести –
о миллионах, всего-то.
мир от счастья расцвёл –
девять они не смогли.
Шести миллионам сукно?!
Считать пиджаки неохота.
Двери многое прятали,
мало что сберегли.

* * *

Ты только послушай, назавтра
мне выпадет слово в строке,
в котором ни свата, ни брата,
а только надежда в руке.
Все станут с него незаметно
пример, подражание брать,
и чуточку, по миллиметру
себе каждодневно не врать.
Ты только послушай, возможно
и сам я не лгать научусь,
последние годы итожа,
словами в Россию вернусь.

*   *   *
То сна немая благосклонность,
то непочтительная явь,
и между ними тела скромность,
а за стеной почти январь.
И мы почти что в пониманье,
что где-то что-то не сошлось,
и не поможет обаянье –
всё полагаем на авось.

*   *   *
Ты, пожалуй, тоже понятой
при арестах каждой запятой,
вдруг переродится на глазах
и окажется, беспечная, в слезах.

Мне бы за строкой не наблюдать,
в потолок затылком не влезать…
низок! Низок! Мы – для высоты
посреди житейской срамоты.

*   *   *
Так медленно и неправильно,
как Венечка завещал,
чувства перпендикулярны
к разным и прочим вещам.

Слова ведь тоже неправильны,
медленно, но пришли,
в потёртостях и подпалинах
и – кровоточьем души.

*   *   *
Такое, разве что, приснится?!
Земля чужих материков
тебе ответствовать стыдится,
а вопрошать ты не готов.

Так искони. Мы тщимся правдой,
готовы на рожон идти…
А получив, молчанью рады,
глаза готовы отвести.

*   *   *
Ты изнутри не тот. Все изнутри не те.
Наружу выползает так немного.
Неровен час, не доверяй мечте,

нутро найдёт искомую дорогу…

И тот, кто был рябым, и тот, кто бесноват,
не удержали – выпустили зверя…
И что с того, народ не виноват?
И сколько нас, дарующих доверье?

*   *   *
У муз носы великоваты,
к тому же полноваты.
Иная возрастом – дитя.
Наверное поэт, шутя
возносит их или порочит.
Всерьёз же говорить не хочет.
«Я помню…». Музе вслед письмо,
его мы спрячем под сукно.
Стихам доверие присуще.
И если пишет – «с девой лучшей
готов в стогу зазимовать»,
пристало слову доверять.

*   *   *
Уже ноябрь. За безразличьем ближних
проглядывают горы и пригорки,
и даже колокол вдали прозрел.
Зачем мы смотрим? В эшелоне нижнем
где бесконечны распри и разборки,
никто заглядывать вперёд не преуспел.
Уже ноябрь… Холод ветки лижет,
с остатков листьев обдирает кожу.
Глядишь, к утру возьмётся за стволы.
Ты слишком далека. Не станешь ближе.
Мир переделать невозможно.
Легко лишь округлять столы.
Синё. Ноябрь присел. Он будто отдыхает.
Стол кругл. Если завернут соседи,
то можно будет с ними до утра,
пока луна бессонная вздыхает…
День пролетел. Не он последний.
И надо бы себя понять. Пришла пора!

*   *   *
Фамилию его не говорите.
Другие цели выпали стрелкам.
Но каждый знает в приближённой свите,
то, что обычно ведомо векам.

Стрелять в поэтов гнусное занятье.
Конечно не правы, они пришли зазря.

И серости всесильное заклятье –
не отвратить, как холод ноября.

*   *   *

Цари…
Наместники…
Один другого слаще.
На скользкой лесенке,
с доской ледащей,
ни тех и не других,
настолько квиты,
в настырной близости
свистящей свиты.

Ему наверх –
скользить и падать.
Цари – к чему?
Чтоб с ними ладить!
И от наместников подале
плести бессмертные
сандалии.

Я угодил
в истоков дебри.
Там некто лез,
пытая жребий.
Поверив, ближе к небу
звуки
даруют ангельские
руки.

И то, и так,
бывало, видно.
Но мне нисколько
не обидно,
что понизу,
без царской лести,
не слыша в спину –
выше лезьте!
И что наместник,
в жёсткой шерсти,
не удостоен
строчек чести.

И только так,
когда приспичит,
когда перо
беду накличет.
Нет, чтоб огляд
в когорты власти…
Не дай нам, Бог,

такое счастье!

*   *   *

Что важно? Что важнее?
И почему свеча
горит ровней, ровнее,
коль с мылом на плечах?
Зачем она потёмки
укладывает спать
и без малейшей «ломки»
ложится на кровать?
Ломание… Ломаться…
Что важно? Что важней?
Ты опоздал признаться,
а поседев – не смей.
Как было, так и было.
Свечу спасло
обыденное мыло,
уменья ремесло.

*   *   *

Чем больше слов, тем дальше от себя.
Тебе ведь самому они не нужны.
Ты знаешь – к середине ноября
простужен голос, но не вьюжны

дни, ночи. Где-то стерегут,
чтобы вломиться в безмятежность
без слов. Потомки разгребут –
был снегопад похлеще прежних.

Я – мимо… Цепочки следов
иль слов – что, где, не понимаю
здесь, вдалеке от городов,
поодаль от молчанья рая.

Чем дальше, тем яснее – сны
не возвращают явь. Снегами
не испугать чужой весны.
Она опять вдали, не с нами.

*   *   *

Что от тебя останется?
Что от меня сбережётся?
Вечность не каждому глянется,
и никому не даётся.

Тем, кто веками прославлены,
разве приснится такое?!

Каждою сплетней отравлены.
Нет им и ныне покоя.

* * *
Чем жив контекст – дитя компании?
Какие глупости измучили?
Не слишком ль много обаяния
в реке, способной на излучины?

Она то слева будто ластится,
то справа припадает к берегу…
Но где твоей души сумятица
в непотопляемой Америке?

* * *
Что миновало – минуло,
да створки так раздвинуло –
душа на дно ушла,
и там, питаясь падалью –
неужто Вы не падали? –
Лежит, едва дыша…

* * *
Это и нам присуще – «жертвы хваленья».
Долго ли слово изречь, и его подсиропить?
«Сердца алтарь» – не под рифму моленье.
Впрочем, не только стихи мы умеем угробить.

Что подношу я? Хвала мне по вкусу?
Жизнь на исходе, пора разобраться,
где затаился и праздновал труса,
и над душой позволял надругаться.

* * *
Юродивый разве не страшен?
Дальше держитесь, дальше!
Ну, что Вам в его болтовне?
В словесном взрывчатом фарше
опасно – как на войне.

Слова ведь выходят наружу
правил, приличий, схем,
становятся жаром и стужей,
по сути, становятся всем.

* * *
А я туда не хотел направляться,

в это болото бессчётных обновок,
в право бесценное – соревноваться
с жизнью на фоне ломящихся полок.

Ярость характера признана злобой.
Много чего ещё можно услышать.
Страшно в себя заглянуть – мы любуемся «пробой»,
хоть благородное нас не колышет.

*   *   *

А искры божии ни сколь не множатся.
Зима торопит – в кликах воронья.
Само собой немного в жизни сложится.
И правым будет кто-то, да не я.

А искры божьи не кострами пламенны –
строки усердием, пронзительностью слов.
Ты воспаришь! А я стою как каменный,
к зиме как прежде сердцем не готов.

Ты отлетишь! А мне уже не дышится.
И искры угасают. И зима
завесой снега зыбкого колышется
как проблесками смертного ума.

*   *   *

А руки-то не вижу,
которая так искупительна.
Слово душу зальёт –
не спасёшься, кабы не она.
Ты без слова никто.
Ну, а с ним? Поменялись родители?
Или стала поместнее жизни сума?

И себя-то не вижу.
Настолько давно разонравился.
Перемен бесконечных пустая чреда.
Слово душу зальёт…
Я ведь с ним лишь легонько управился.
А года поджимают.
К молчанию тянут года.

*   *   *

А этот, сердцем не стеснённый,
рождённый в мельницах плутать,
в трёх соснах, жизнью припасённых,
и крылья с ветром заплетать,
и муки сеять, и мукою –
на лохмы, на причуд чело…

Чего он хочет? Нет покоя?
И неспроста. И поделом.
А ветер прятать под подушку?
А окна затыкать душой?
Жизнь, просчитай, налог подушный,
будь малый ты или большой.
Будь голос или шёпот крика.
Будь прям или спина дугой.
И мельницы наполнят скрипом,
да лишь полова под ногой.
А небо, небо недоступно.
И сердцу всюду теснота.
И нестеснённость неприступна.
И сосны где – плутал в кустах,
в пугливой речи пониманья,
в долгах – ну, слушают, ну, чист,
а лист черней чернил предстанет,
услышав рядом смерти свист.

* * *

Бежать от чужого креста со своим на плечах,
не зная, откуда кресты, велика ли награда.
О, кровь моя? Как я тобою пропах!
Кто нас надоумит, брать лучшую надо?

Кто нас приютит, не себя сторожа,
без выгод, рассчётов? И мы ведь двуноги!..
А крест на плечах не заметен. Неловко лежать,
когда тебя гонят, и ты устаёшь средь дороги.

* * *

Памяти В.Д.Дувакина

Был Синявский каторжник.
Стал Дувакин бережным.
Слово об ушедших стал копить.
Пусть подробность набожна,
выспренна, безденежна.
Без неё нам души не испить

Был Дувакин лакомым
до деталей мелочных.
Даже у великих жизнь из мелочей?
Вот и Осип-лакомка,
среди слов копеечных
яркое находит, в сто свечей.

* * *

Более важное даже, чем жизнь моя.

Как раскусить, кто ближний, кто дальний?
Путь к примиренью лежит через мы или я?
Смиренный – это сиречь многострадальный?

Галилейский раввин нас о чём вопрошал?
Быть любимым и ныне полегче.
Что ж важнее, какое начало начал
заставляет в себе открывать неприглядные вещи?
Вот и ты отлетишь, но вопросы одни,
и в удобных ответах себя обольстишь или горьких?
Одинокие странники страннoприимной земли.
Одинокие дети с Голгофой на каждом пригорке.

* * *

Бесконечностью моря не парус питается,
и меж рёбер пазов не вода проникает к душе.
Просто что-то в сознании не умещается –
вот и рамки пространства, неужто в души шалаше?

Обозримость ногами, коль стоек, повержена.
Даже горы, и те, уступают, молчат.
Море, гляньте, до неба тобою рассержено –
и валы, и цунами смертельно рычат.

Вот после, вместившись в лазурное блюдечко,
и послушные губки над ним разыграв,
море ропотом, грубью своею дремучею,
никогда не признает – кто в равенстве прав.

* * *

Бьёт по барабанным.
Вроде уже не чужая.
Но всё же никак не своя.
Радио за углом сыто икает.
Значит, голодные снова края.

Трудно поверить. И всё ж,
праздники – вечная жрачка,
будто доселе не видели вдосталь еды.
Мне бы об этом не знать –
надо ж, такая удача,
вовремя отскочить от перестроек беды.

Вьёт. Утомляет. А ты, голоден или досыта?
Пища – вершина творенья,
чувств самоцель?
Или припомнишь – раздутый от счастья Никита
нас обещал завлечь в райскую карусель?

*   *   *

Все остальные апостолы Тайной Вечери,
где Вы витаете? Как Вам теперь обронить
слово, которое держит душа на прицеле?
Или Вам проще свои откровенья таить?

Камни не хлеб. И воде до вина не добраться.
Только не свечи нужны нам – открытый костёр.
Тайны забудем, заставим себя улыбаться,
будто не жизнь за плечами, а счастья простор.

Сколько их было, вечерь! Как целительны угли!
Бархата чернь то кармином, то златом желта…
Где Вы витаете? Что нам от слова прибудет,
пусть откровение криком у Вашего рта?!

*   *   *

Вот и служишь как бы самостоятельно,
не за страх, не за риск.
Просто голос возник невзыскательный –
твой хозяин и твой каприз.

Что ответы?! Вопросы полезнее.
Жизнь лелеет один лишь ответ:
все уйдут – и в сединах болезные,
и в расцвете ограбленных лет.

*   *   *

Всюду вакуум мнился. Друзей не хватало.
Между статуй селился. Но мрамора мало,
и любых площадей, именитых и знатных,
и на них – лошадей, нанесённых на карты.

Думал, я одинок. Но такого не видел!
Горизонты ему?! Был настолько не лидер,
что не «извести в венах» желал, а простого –
чтоб любили его не за «красное» слово.

*   *   *

В открытые глаза входи, располагайся.
В закрытые слова не стоит. Помолчим.
Жизнь странная. К чему не прикасайся,
такое чувство, будто уличил.

Нет, не её – себя! Бывал уравновешен,
да так давно, что долго вспоминать.
И не сказать, по чести, ад кромешен,
а рай прекрасен, вовсе не сказать.

Глаза открою. Проходи. Подвинусь.
Какой же ад, коль снова мы вдвоём?..
Жизнь странная. Но разве это минус?
У счастья мало слов, не от него поём.

*   *   *
В день похорон, откуда ни возьмись,
возникнет бабочка с крылом оторванным –
но бабочка жива, движенья сверху вниз,
и сядет там, где каблуки подкованы.

А нам взлетать, нам устремляться вверх.
Нам всё равно, где бабочка прицепится.
Смиренны руки. Мы покойней всех.
И никакие больше не грызут нелепицы.

Это живому нечего летать,
крыло оторвано или бескрылый вовсе.
И душу незачем без устали латать.
Ведь мясо поважней. Ну, и конечно, кости.

*   *   *
Всё золото мира наружу.
Устала природа стеречь.
Назавтра навалится вьюга
и хлопьев бессчётных картечь.

Наутро так ровно, так тихо –
ослепнешь, настолько бело.
А золото где? а шумиха –
нам время не вдоволь дало?

И пухом лебяжьим, неслышным –
лишь видны цепочки следов –
пойдёшь, не пугаясь затишья
и с неба сошедших садов.

*   *   *
В бесследности шагов
и слепоте прижизненной,
не только искони моё,
тиски заботливых оков
придуманных любезною отчизной –
контекста благосклонный окоём.

Ты отбиваешься иль сник,
но всё – контекстное,
за рамки века ни ногой.
Бесценный материк

общеизвестного.
Лишь гений обживёт другой.

* * *
В преддверьи старческой любви,
в сенях, на клетке лестничной,
да, где угодно, будто перемена мест
мне возраст возвратит младенческий
и юбочки в песочницах невест.

Владей собой! Вперяя взор в младых великолепия,
не думай, что маразм так одинок.
Ты среди строк куда смешней, куда нелепее,
лишь только возомнишь, прошляпил Бог.

* * *
Вот и снова тебе становится страшно,
в сотый раз повторять, опять не наши
на маршруте тебя обошли, обскакали.
А, казалось, и мы с малолетства искали.

Оказалось надутым чиновником «красным».
Для него, что над баней с портфелем, что с мясом,
объяснять, под каким помещается «измом»
власть спины, живота и других механизмов.
Разворуют, растащут – им всё не хватает.
Вот и снова для них полстраны рассекают,
и ещё половинку, и ещё четвертушку.
Это Вам не заткнутая пальцем чекушка.

И когда на таможне: «Чего убиваться?
Будет плохо, кто вам запретит возвращаться?»
Я и плачу, и радостен – шанс обозначен.
И чиновник моей удивится удаче.

* * *
В размышленьях о Северной Азии,
и о столике красного дерева
просыпается зависть – полазила
моя молодость неумеренно.

Лето к лету, как чётки для странника,
север к северу – если б наскучило –
красным деревом выпуклость стланника,
безупречно на склонах помучила.

В размышлениях то ли привидится,
от «сгущёнки» слипаешься пальцами.
Ну и что, если столик обидится?

Разве Северу жить без скитальцев?

*   *   *

Вы живёте, как должно, не с тем,
но зато Вы живёте там,
где ошибочность новых систем
расползлась по голодным устам.

Вы напишете, как, почему.
Мне останется только завыть.
Жизни грязную величину
мне слезами уже не отмыть.

Вы живите! Авось повезёт?
И устанут правители лгать.
Ну, а дом мой меня подождёт –
у окна, среди ночи, как мать.

*   *   *

Все хотят быть услышаны.
Ушей не хватает.
И желание слышать
не больно спешит.
Я последние главы
в романе верстаю.
Время-времечко
будто водичка бежит.

Всё так просто казалось.
Слова ведь понятны.
Но у каждого к ним
безупречный подход.
И они поникают,
идут на попятный,
или слаще становятся,
радуя рот.

И такие нужны. Соль и перчик устали.
Ведь порою уместнее просто смолчать.
Все хотят быть услышаны… Разве Вы обо мне не слыхали?
Впрочем, спите спокойно. Мне – не положено спать.

*   *   *

Вы слышите, дети казнённых?
Сундук в коридоре неплох.
Припомнится ложем лощённым
среди арестованных блох.

И лампа, и книжная полка

от временных жизни щедрот,
покажутся счастьем недолгим
средь лагерных смертных погод.

Вы слышите? В собственной жизни
не знаем, кого выбирать,
кем станут в просторах отчизны
отец или юная мать.

*   *   *

Взять рисунок Моди и уйти.
Далеко уйти, где он давно.
С многими случилось по пути.
Рисовать не многим так дано.

Линия одна, то вверх, то вниз –
не понятно как, но ты ожил.
Лишь потом поймёшь, на то и жизнь,
чтобы Моди с Анною дружил.

*   *   *

Гений не в том, как его осеняет.
Гений не в том, что его осенило.
Он с малолетства запоминает,
верит что можно «судей на мыло».

Там, где у салочек гам или «впристенок»,
он вроде с нами и вроде не с нами.
Это потом закричат, он такой же, он девок
трогал, не чтобы писать голубыми ночами.

Там, где концерты на кухнях и трепет амбиций,
он исчезает, не зная, как это случилось –
нежными были прекрасные лица…
Где подевалось? Во что превратилось?

*   *   *

Где во всём этом Бог? Нету ответов.
Его наполнение в чём – глядеть как убивают?
Мы никогда не решим, зима или лето
лучше для тех, кто в евреев стреляет.

Мины засунут туда, где никто не проверит.
Скоро придумают так, что проглотишь и – нате.
Где укрывается Бог? Не открою америк,
но не во рву рядом с маминым платьем.

*   *   *

Достану том из-под полы.
Он улыбнётся, загорелый.
И мы, кому какое дело,
откроемся без похвалы.
Он – то, что выпадает раз
во век иль может даже реже,
я – как читатель, нет, не свежий.
Мне запоздало он воздаст.

А вовремя я не приму,
когда за ним носились скопом,
мне стыдно было за Европу.
Стихи даруют тишину.

Им ни к чему суетный пир.
Достану. Вот и помолчали.
Слово, Вы помните, было в начале.
На что его растратил мир?

* * *

Документы не выхватывают,
ежели они расстрельные,
к делу подшивают, бережно хранят.
А того, кто – к стенке?!..
Жизнь его бездельная.
Революции любого обвинят.

Где они, доверия презумпции?
Ты виновен сразу, коль рождён.
Дарвина бессильны эволюции,
если мы под Лениным живём.

* * *

Даже дыханье поставят в вину –
в сторону глупостей дышишь.
Поздняя слава смешна самому.
Тут ничего не попишешь.

Нет обольщений. Нет ничего,
кроме бесплодности слова.
Это младым весело от того,
завтра исправят «основы».

* * *

Демоны мои,
а тут как будто общие.
Мне б своих хотя бы прокормить.
Вот считают, что пристало рощами
парами влюблёнными ходить.

Вот решили, будто двоё выдюжат.
Демоны, неужто наутёк?
Нет, при нас. Мы им почтенье выкажем,
полное взаимности, будь спок.

И душе одной, беде распахнутой,
и душе другой, с бедой своей,
демонов кормить какими страхами
в каждодневности совместных дней?

* * *
Да, мы родились запоздало.
Мы мимо Гулагов… Куда?
Я помню, на тихих вокзалах
в сибирский мороз поезда.

И будто из мрака, из боли –
на каждом – сатин, балахон,
шапчонки без вкуса, для моли,
фанерных запоров резон.

Не дембели… Что в них хранится?
Истёртый дотла помазок?
И серая кожа на лицах.
И сам за собою – в глазок

глядит, и не может поверить –
не камера, выжил… Но как
посредственность Кобы измерить,
коль сгрёб всю державу в кулак?

* * *
Да, горечь в буквах, слева их веди
иль справа, как уверовали предки.
Они молчат, не знают, что там впереди.
И позади улыбки стали редки.

Откуда знать им, что в душе у нас?
Как догадались слово вывести наружу?
Иль тупики вокруг, и ты напрасно спас,
и горстку отогрел в чужую стужу?

* * *
Девочку кладут в рукав от шубы,
а потом поместят на страницы.
У романов руки есть и губы
и, как видите, спасённые девицы.

И ещё есть множество иллюзий
производства, тиража, заглавий –
превосходства дела революций
и ничтожности людских аварий.

Девочка устанет жить меж строчек,
вырвется на волю. Будет странно
разобраться – сложен жизни почерк,
да и логика её весьма туманна.

И ещё она поймёт, что книги,
в рукавах от шубы жизнь даруя,
утешеньем тем, кого подвигли
слать судьбе воздушность поцелуев.

*   *   *

Доколе мне суждена чужая одежда?
Носить, не вдаваясь в суть
велико ли дело?
Даже надежды теперь –
чужие надежды.
Своим остаётся лишь бренное тело.

А от своих надежд по жизни
лишь плачешь.
Общее, общность –
понятно т благосклонно.
Долго ли ты мои тряпки –
чужие – заначишь?
Нет и у них настоящего
отчего – дома.

*   *   *

Памяти О.М.

Его Василиса укроет,
он тут же зашепчет, зашепчет,
и в слове с обычным покроем
увидятся гордые плечи,
а то и погромче, погромче,
как будто стихи не игрушки
он в комнатах шкипер и кормчий,
и парус – в надутой подушке…
Мы их принимаем на веру.
Мы Итакам верим. А как же?
Неужто не плыли Гомеры?
Иль только вдоль пляжа однажды?..

*   *   *

Есть много несчастий,
о которых не знаешь ни слова,
скорее, которые
дальше слов не идут.
Откуда же суд,
будто мы просчитали основу,
и каждый над ней и под нею
ошибочный фут?

* * *

Памяти А.П.

Её поставили к стенке
свои же, но понарошку.
Они – согласно приказам.
Она – в согласье с душой.
Хотели её проверить,
боится хотя бы немножко.
Конечно, боится. Но шутка
стала чуть позже судьбой.

Так мы устроены. Если
кто-то за правду бьётся,
с совестью не играет,
держит её на виду,
становится нам неловко,
неужто нас не коснётся –
к стенке никто не поставит,
не мы накличем беду.

* * *

Если они заблуждаются, то искренно.
В этом – поэты!
Если они говорят о высоком,
значит достала земля.
С пристрастием и гневом –
отличие от историков в этом.
С толикой прекраснодушия,
хотя по жизни нельзя.

* * *

Если нету галёр,
и уключины смазаны,
скрип найдётся –
погонщик отыщет тебя.
Полагают, что слов
предостаточно сказано,
и погонщик невинен –
виновна судьба.

Полагают, галеры
не самое скотское,
а уключин скрипящих
и ныне не счесть…
Повезёт, проживёшь,
втиснув в слово юродское
хоть какую, но где-то
не рабскую честь.

* * *

Памяти И.Б.

Желание неуязвлённым
закрыть последнюю страницу
похвально, но отчасти только.
А почему?
Был некто,
он пытался, глупый,
в горчащих строчках поселиться.
Но разве это удаётся?
Нет, не случилось никому.

Жизнь для того,
чтоб без вопросов,
чтобы они не возникали.
Похвально то, что всем понятно, лишь
на него возникнет спрос.
Был некто? Ну, и что?!
Немного при жизни мы о нём поняли,
ведь был он на порядок выше,
и всех живущих перерос.

* * *

Житейская игра.
Кухонная волнительность.
Парламенты и в шутку, и всерьёз.
Любой вопрос –
адептов нерешительность?!
Здесь вмиг решат запутанный вопрос.

Кухонная игра.
Житейская старательность
на кухнях все решенья обрести.
А за окном стоит
её сиятельность,
концы с концами некому свести.

* * *

Лету 57-го

Здесь ты на вертеле то круг вблизи лица,
то налетают сбоку.
Поклонницам нет счёту и конца –
настолько сладок юный лежебока.

Нет, это не тахта с романчиком у глаз –
агрессия, инстинкт плодоношенья.
Они уже испили тыщу раз
твою кровцу, без всякого стесненья.
Я и сейчас как будто слышу крик,
и мамы полуобморок, и тело
подростка, отправною точкой дела.
Уже потом, наевшись в пух и прах,
все комарихи поняли – противен,
и прятались, и береглись в кустах…
Ты старостью кровей и здесь повинен.

* * *

Здесь небо не разгневано,
в посуду не налить,
не выпито, никем не обворовано,
и можно дни беспочвенные длить,
как будто не самим собой дарованы.

Здесь ночью пофигизм,
движение назад:
все революции забыты и улажены,
и оба дела – форменный детсад –
моложе и на жизни трон посажены.

И ты сомненья выплеснув до дна,
к ним тянешься, доселе незамеченный.
И жизнь грешная, которая одна,
здесь, как везде, с утра до вечера.

* * *

Зубы со скважинками –
звуками легче цедить.
Сердце пустынно –
горестней руки сводить.
Иль расплескав их,
пока не появится звук,
снова воздеть,
но не сразу, не вдруг.

* * *

Здесь лошади загнанной шкура,
и гильза бессильно пуста.

Уходит навеки натура
доступного ручке листа.

Не грифель в крахмале манжеты –
компьютерный массовый рай.
В стихов паутине планета.
Но ты в эту ложь не играй!

Не ходят со строчкой в пространство –
в листы, где три пальца живут,
пера разделяя упрямство,
твой траченный пряник и кнут.

И если на шкурах столетий,
и если на гильзах страниц,
нет пальцев твоих, то не светит
величие белых страниц.

*   *   *

«За органами числились!
страна иль полстраны?
А как «повторников»
считать? Ужель повторно?
И почему «закрытый тип»
не для тюрьмы –
напротив,
для властителей придворных?

О, прелести родного языка,
умноженные безупречным строем,
где первородство
смеет, как века,
хулить, бранить страну,
и всё такое?

*   *   *

Здесь, узнавая в гуще пальцев
души потаенной движенье,
здесь, вынимая вместе с вздохом
не то посыл, не то привет,
невозбранимо,
шаг за шагом,
с самим собой идёт сближенье –
и всё равно вопросов больше,
не всеобъемлющ твой ответ.

*   *   *

Запечатана семью печатями.
Рвись к ней, мучайся – всегда безмолвная.

Суд бесстрастен? Было б
замечательно,
но она почти зазря дарована.

В человеческом такие бездны зверского!
И печати запросто ломаются.
Ну, смелее: «Эй, свинья еврейская!»…
Дальше наши судьбы прилагаются.

*   *   *
Заблаговременно упрятанные
бритвочки в подошву.
Предусмотрительно готовые
тюремные мешки
помогали или лучше
жить попозже,
позабыв вождя любимого грешки?

*   *   *
Здесь Данта скорбь иль руки ада –
ноздри подхвачены уздой.
Она их тянет вверх. Глаза не рады
И рот сомкнулся мёртвою дугой.

Похожей нет. Портрет честней не может
скорбь передать, круги соединив
не ада – жизни, с нашей схожей.
Всегда при ней трагический мотив.

На что Сандро и светел, и весенен,
но тоже скорбный лик его увлёк.
И тени на лице, страданий тени.
И профиля чекан – всем вечностям намёк.

*   *   *
Запоздало и унизительно.
Почему ты молчала раньше?
Без тебя в этом ветре пронзительном
надо падать иль жить мне дальше?

Без тебя лучше тихим свидетелем –
не слыхал, не видал, не понял?..
Знать, такие у нас радетели,
и такие у счастья корни.

Так, стучи же! Глотай аорту!
Распинайся навстречу тромбам!
Без тебя не бывает чёрта –
ни оградки, ни крышки гроба.

* * *

Сыну

И даже в комнату войти сначала страшно,
вдруг след твой тёпл, спрятавшись в носок,
иль сам ты в планах бесшабашных
мне, осторожному, урок?

И даже дверь вздыхает поздней ночью –
опять друзья, и надо бы домой…
Всё без конца тобой кричит и кровоточит.
Увы и ах, ты должен быть самим собой.

* * *

И чтоб не забывать, ты пишешь,
как сердцем уставал, как сердце уносил
то прямо на руке, когда едва ли слышишь,
как бьётся из последних сил,
то спрячешь между строк
и гладишь по головке,
и что-то шепчешь, видимо, покой
сулишь, а где он?! Только недомолвки –
не знаешь, что вокруг и сам какой.

* * *

И лишь тогда поймёшь – неотвратима,
когда без счёта вороньё
пальнёт, слетится, до сих пор таимо –
скрывало своё летнее жильё.

Но всё теперь, оно пошло по следу,
не прячась, не крадучись, не стыдясь,
и будет снег нести, и будет пахнуть снегом,
меж чёрно-белым прославляя связь.

И этот гвалт, и этот грай гортанный,
тебя уймут до следущей весны.
А что потом? Какие птицы станут
предтечами сердечной голизны?

* * *

И странное стремленье к мужику
у городских, хотя б с квартирой общей,
но к теплоте привыкших – на бегу
не орошавший жёлтых горок площадь.

Подробности сибирей, холодов,

бесстыдных школ, дворов послевоенных,
где сталагмиты в ямах выше слов,
мол, всё прекрасно в теле бренном.

И ты, щенок, с остатками тепла,
летишь назад, и только дверью хлопнув,
вдруг ощутишь, жизнь девственно бела –
мороз на окнах сказки зря не штопал.

* * *

И тайнослушанье крупиц случайностей,
и ясновиденье обыденных щедрот,
и всё нечаянно, когда одна нечаянность
к другой непроизвольно потечёт.

Ведь не было вперёд расчёта тайного,
и ясности не будет никогда,
а, вот поди, сложилось среди бранного,
хотя иного требует среда.

* * *

И если пахнут глицерином слёзы,
а глаза сухи –
отриньте стихи.
И если я протиснусь сквозь толпу,
заради фальши –
отриньте дальше.
И если только ткачество, не боль,
не рост души,
и не омоет раны,
забудьте, выньте из
послушной рамы.
И если дал взаймы и не просил отдачи,
карманы не храня, и счёты распустив,
то, может быть, дитя души заплачет,
и тело станет вровень с ним.

* * *

И чтоб с самим собою трудно,
и очередь на весь остаток жизни.
И чтобы понималось скудно,
склоняясь к личной укоризне.

Чего других-то, если сами?
И очередь не значит – важен.
Мы все равны под небесами,
и ляжем все на глине влажной.

*   *   *
И сколько б дороге не виться,
она возвратится к крыльцу,
где можно студёной напиться,
припасть к дорогому лицу.

Здесь всё остаётся неброским,
и небо, как прежде, родным,
и даже заката полоска
над лесом зазубрена им.

А ночью, когда над увалом
Полярной засветится ковш,
поймёшь что понятного мало,
но всё-таки что-то поймёшь.

*   *   *
Иди туда! Другой зимы не прячь!
Влеки себя в кривые закоулки,
где каждый дом как пряник, как калач,
а воздух пахнет выпечкой, ванильной булкой.

«Прешпект», простор, пронзивший небо взгляд,
нужны, правы. Но не сейчас, не в зиму,
когда дым вертикален, как века назад,
и валенки теплы, и мама смотрит вслед – не мимо.

*   *   *
И мне ведь тоже обидно –
слова опоздали ко мне.
Хот ни сколь не завидно –
и так на счастья коне.

Хлещу своего Росинанта
по впалым седым бокам.
Одно лишь до боли понятно –
слова нашли дурака.

*   *   *
И я, предтеча «Протоколов»,
подельник, выродок, наглец,
травил с пелёнок
садик, школу,
тайгу и степи, наконец…

И я, как низкого носитель,
не смею Ваши знать грехи.
Вы только думать погодите!
Вдруг ужаснётесь – все плохи?

* * *

Памяти Н.М.

И мне бы Маргулисом с памятью несметною,
с его тридцатилетней сединой –
он с голоса ловил стихи приметные
и уносил, как лакомство, домой.

И мне бы музыку, хотя б того же Скрябина.
Но ни того, ни третьего. Один!
Чего-то надышу, потом поскрябаю
среди своих взаправдашних седин.

А выпадут стихи, смолчат тридцатилетние.
Я сам себе и говоры, и слух.
Не зря боюсь за новое столетие,
без маргулисов умерших боюсь.

* * *

И от себя не ждать –
всё жданное самонадеянно.
Значения не придавать,
Каким числом,
В каком году навеяно,
И боязно ли идучи на рать.

Повсюду замки городить,
земляночки выкапывать
пером помноженным с перстом.
И не любовь к себе накапливать –
откладывать на позже, на потом.

* * *

И будто правая десница
тебе ни капли не дана,
и будто счастье только снится,
коль жизнь вне лагеря страшна.

В ней всюду вздохи и попрёки,
но никому не ведом ад…
Верховья Муи. Тыл глубокий.
Бараков бесконечный ряд.

Верховья Муи. Горы рядом.
И где-то вдоль подбрюшья скал
урана бесподобный разум,
который Берия сыскал.
И те, кто были там, погибнут,

как жертвы каменных эпох,
ведь коммунизма цели видны,
и сам он, может быть, не плох.

*   *   *

Информативный как гербарий,
с перечислением имён
и консулов разбитых гвардий,
и византийствующих икон.
Здесь в каждой дырке пара тварей,
и место их не абы как,
а так, чтоб на Руси признали,
и не брада Орда ясак.
Я информацией повержен.
Стрелой сравнений поражён.
Но мне бы текст чуток пореже.
Поэзия – не список жён.
И от одной душа в раздрае.
И полно ей одной строки,
но чтобы римляне признали,
и греки взвыли от тоски.

*   *   *

И если будет больно,
а будет непременно,
то вытерпеть придётся,
душою устоять.
Но без потерь не выйти,
на то софиты сцены,
чтоб главное не видеть
и главному не внять.

*   *   *

И только звук благоговеет.
Словам быть в славе невтерпёж.
А звук стесняется, робеет,
и к власти никогда не вхож.

И было б вовсе не обидно
за фалды счастье придержать,
но звукам иногда, как видно, –
не в силах слову возражать.

*   *   *

И Грузия, такая близкая,
теперь как зарубежье дальнее.
Я карту нехотя потискаю.
В ней нечто есть исповедальное.

Всё и твоё, и независимо.
Ты сам утёк непредсказуемо.
Всё в детстве к Родине причислено
единственным души связуемым.

И вот теперь, какая разница!
Ты сам не жаждешь территории.
И Грузия свободой дразнится.
А счастье в чём? Спроси историю!

* * *

Памяти мамы

И руку даже не протянул.
Тык далеко для руки.
Глядя в глаза, не «припугнул» –
там все заботы легки.
Нету ни дочек, ни сыновей.
Даль безупречно светла…
Доски обступят от ног до бровей,
все-то дела.

* * *

И выгоды всего, что избавленье,
и выводом всегда – так обсказать,
чтоб самое заветное стремление
смогли как собственное взять,
чтоб счастье, звуков дуновенье,
дохнуло, добралось до скул,
и стало грустно, и подробно,
ведь сам себя везде надул.

* * *

И та, которая меня отвергла на корню –
зачем читать мне, прочим интересен –
сама была предтечей песен.
Не спрашивай, её и до сих пор пою.

И та, которой было в целом наплевать,
словесен я иль бессловесен,
идёт по жизни рядом, но вне песен,
в другим стремясь повелевать.

А мне теперь уже не до того –
прочтёт, поймёт или прикроет ухо.
Я сам себе стал голосом и слухом,
и средоточием нечитанных слогов.

* * *
И если б пращуры не поняли –
отделен звук –
от тела отлетит,
и сам живёт в пространстве,
и если он найдёт себя
посредством букв,
то нет предела этих странствий…

Подумать только!
Вышли вон
империи, набеги, плебисциты.
А буквы тех исчезнувших времён
живут, как будто с жизнью
вечной слиты.

* * *
И мы построены, хотя шеренг не видно.
И мы упрятаны – границы на замке.
И видим только там, где нам обидно.
И украшаем то, что вдалеке.

Но мы научим их любить, как можем сами,
и к счастью поведём своим путём.
Легко командовать: «Впрягайте лошадь в сани!
Вас ждёт неслыханный бездонный окоём».

* * *
И если не соразмерен ботинкам,
пальто и гамашам,
то значит тебя ожидает похожий исход.
И прежде бывал ты не очень
стандартно окрашен,
и не было это предметом
насущных забот.

Сливанья, союзы –
едино-немыслие, что ли?
Хотя исключенья возможны,
но слишком редки.
По-своему видеть
Души маломальской раздолье.
По-своему слышать
безмолвие вышней руки.

* * *
Или ближе с мороза, весь дымкой окутан,
Монферан то исчезнет, то в небе мелькнёт.
И дворцами нездешними город опутан,

будто правду по-своему видит и гнёт.

Почему там Иосиф, и Анна, и многие,
кто пытались забыть, да никак не смогли?
Просто так, несмотря, что душою убогие,
понимаем, но надо нам всехней земли.

*   *   *

И только правду говоря,
ты будешь лгать,
как угораздит строчкам,
как поведут они тебя
в свою постель.
И ночь не в счёт.
Не слышно правду ночью.
Наутро лишь, опомнившись,
прильнёт.
Но только правду испросив,
её согласье,
солгав не ради изумленья
слов,
а только для того
чтоб не погасли
мечты, – мир вовсе не таков.

*   *   *

И музыка войдёт,
и позабудет выйти.
И музыка вскричит –
как без неё живём?
А нам бы по слогам
завыть, забыть о прыти,
не заполнять с ней
сердца окоём.

Нам поднимать его
и тоже приподняться,
и музыку души сличить,
с той, от которой
надо б задыхаться,
и сердце надо б
в скорби уличить.

*   *   *

И на задворках диссонанса,
и в переулках говорка –
аккорд гитарного романса
и жажда нового глотка.

Не уходи!.. И будет длиться,
и голос сердцем будет жить,
и слёз внезапных не стыдиться –
их вкруг лица без счёта длить.

* * *
И вслед тебе – зима, зима,
не потому, что взят землёю…
И вслед тебе – судьба сама
стихи сожжёт.
Им стать золою!

Не в небо ястребом взлетят,
бессмертным зраком озирая
жизнь, где в соседях рай и ад,
и мы границ не замечаем.

* * *
Когда талант универсален –
а нужно ли, пойди, проверь –
он может мрамор римских спален
помножить на землянки дверь.
Она подбита одеялом
из царской шерсти, клочья врозь,
и чтоб в пургу не продувало,
гвоздь опирается на гвоздь.
Здесь вовсе не талант, а сметка,
поскольку доски никуда –
дырявы в ожиданье ветра,
а с ветром плачут от стыда.
Но Рим причём? Какой, там, Туллий?!
И ванны с тёплой H_2O?
Будь ты в Саратове иль в Туле, –
ты в центре мира своего,
где не таланта ждут, не строчек,
а клятвы – истово любить
землянки дверь, размах досочек,
бессилье суть свою избыть.

* * *
Кто любил меня больше… Кто жалел меня раньше.
Помню, нет, не забыл. Не даровано мне.
Рядом Ева росла. Польша, видимо, дальше,
чем соседей дома, чем герань на окне.

Всё войной проросло. Все отцы воевали.
Пацанва, подрастая, рвалась убивать.
Рядом Ева жила. Ни красы. Ни сандалий.
Просто можно в Сибири евреев спасать.

Где-то Евин Адам. Где-то рай безутешный.
И спешит он ребром облапошить судьбу.
Я на Евах по жизни не очень помешан.
И на войнах мне поздно устроить пальбу.

Но и ныне молю – кто любил меня больше,
если живы, а я позабыл, пренебрёг,
не ищите меня ни в сибирях, ни в польшах –
я себя на изгнанье подале обрёк.

*   *   *

Какой, там, смысл?!
Природою расчислены
лишь поколенья длить
любой ценой.
А то, чем занят ты,
к какой беде притиснуло,
твой неотъемлемый –
бессмысленный покрой.

Беспечное зову.
Да, ну Вас, скорбные?
неглавный, главный…
Нам не уцелеть.
В твоей крови, во всём
внутриутробное –
последний эшелон,
обманутая смерть.

*   *   *

Кабы так?! То-то заросли были.
Вместо старых друзей стая новых вдвойне.
Не случится! Ведь там мы за дружбу платили,
как положено, кровью, как сталось, вдвойне.
Кабы так?! Зарастает. Теперь не узнаешь,
что почём, если только «привет» и «пока».
На каком перевале спиной согреваешь,
и каким котелком наполняешь бока?
Кабы?! Криком вскричал. Столько радости в крике!
Я устал без друзей, без желанья понять,
как неправ ты, в какие уйдёшь повилики,
где уймутся сомненья и поздно пенять?

*   *   *

Когда в созвездье Волопаса
доели хлеб, догрызли мясо,
тамошнее Политбюро
голосовало дать «добро»

завозу девок из Плеяды,
поскольку девкам есть не надо,
они и так способны петь,
не зная, что такое «нефть».

* * *

Какие у слова окрестности?
Да, никаких.
Рождается в бестелесности –
одно на двоих,
тебя и бумаги вверенной,
случайной, как старый конверт.
Так чем же слово измерено?
Какой им дарован свет?
Одни, отрываясь от сущего…
Ну, что же ты? Громче рвись!
Другие, сущим наущены,
штукой по имени жизнь.
И всё же, какие окрестности?
Как словам зимовать?
В какой такой бестелесности
надобно их добывать?

* * *

Кривя душой, украсят жизнь поэта.
Кривя строку, но вышагнет нагой.
Ему не по душе ни то, ни это.
Он просто левой властвует ногой.

И тот, кто на догадки не способен,
кто норовит кричать, он был другим –
пусть правлю ногой начертит – неудобен,
повсюду угловат, а надо быть благим.

* * *

Когда б смертельны медальоны,
не только мы…
Укроет их песком и дёрном,
иль снег зимы
припрячет, и весной, растаяв,
откроет суть…
Пропал хозяин. Не плутает.
Закончил путь.
И я смертелен, но бесследен.
Где мой металл?
Каким я медальонам вверен?
И кем я стал?
Снега бессильны. Не способны
сберечь слова.

Весной не сыщут
под сугробом –
пуста трава.

* * *

Как из войны выходят на коне,
на маршальском – награды на спине,
на животе – куда и как ни глянь,
да, и рука теперь по сути длань.

А вот сосед с бесцельным рукавом,
рвань галифе на пьяном рядовом,
но все равно получше чем лежать
и шар земной на косточках держать.

Как из войны выходят, не пойму,
как узнают «по звукам» тишину,
которая уже не подведёт –
не выследит и в спину не убьёт.

* * *

Как антиквар, способный отличить,
в чём обаянье подлинной наяды,
не нонешних, раздетых до пупка,
без спроса, без томления руки,
которой сдёрнуть надо
с неё подобье блузки,
сшитой из платка,
так он за зримый образ,
горизонт – бельём,
а мачты – муравьями,
готов строку влачить
сквозь день и ночь,
и носом тыкать нас,
смотрите сами –
и рыбой сизой станет пойманная ночь.

* * *

Каким я не был никогда,
но Вы таким представили.
Каких я слов не говорил,
но слышались они.
Ненужные, как поздних лет
оржавленность, окалина,
как ранние, из той поры,
нарошечные сны.

Каким не буду никогда.
И Вас туда не велено.

За океаном дней полно,
и ночи хоть куда.
Нужны? Не знаю, не решил –
на беготню нацелены.
А Время не спешит, стоит.
И счастья ни следа.

* * *

Кто он? А глаза уже нездешние.
Что он? А глаза вопросами горят.
За окном апрель и тьма кромешная.
Матери неброшенные спят.

Кто он? И она опять наклонится.
Что он? И пронзает будто взгляд.
Мама, не прощай меня! не дай мне успокоиться!
На земле пройти я должен ад.

* * *

Кто-нибудь победой посчитает.
Строчку повторит, тебя не зная.
А строка, стыдясь и причитая,
растворится, улетит, истает.

Её другие руки долго мнились,
и к другой душе она пыталась
прислониться – но, не получилось,
облачком истаявшим осталась.

* * *

Как лучшие чувства ложатся неслышно,
и бедное солнце скользит по нагим деревам!
Мы ставим на разум – не нужен Всевышний,
когда ты доступен себе и словам.

Возникнут, придут. Только лучше не станет.
И солнце опять. И деревья как прежде наги.
Ты слышала в спину: «Они не славяне!»?
Как будто и вправду мы людям враги.

Как худшие чувства. И чёрен теперь околоток.
Ты будто последний среди безупречных славян.
И бедное солнце. И кто-то не любит кого-то.
И ищешь в себе очевидный и страшный изъян.

Мы ставим на разум. На что нам поставить?
Всевышний от распрей ни разу не взвыл.
И лучшие чувства, как крылья, уже не расправить.
Деревья наги. Я об этом, увы, не забыл.

*   *   *
Лионы, Бернарды и прочие,
совсем не простые,
спешили в Москву почувствовать
рабоче-крестьянский искус.

Где им понять, искушённым,
надурит любого Россия,
дай только всемирности Кобы
войти в диктатуры вкус.

Лионы, Бернарды и прочие,
наивность не ходит в политику!
Вот и сейчас обмишурят,
чтобы крикнуть «ату!».

Распишут, разбередят
такие в душе эклиптики,
поверите безоговорочно –
осуществляют мечту.

*   *   *
Лишь сердце знает,
что мы с ним наделали.
Лишь сердце вызовет слезу,
и с ней уйдёт.
Куда? зачем?
И за снегами белыми
вдруг отзовётся –
знало наперёд.

Но сердце «вон»,
Когда ты прикасаешься.
Но кинешь взгляд,
и я опять молчу.
Снега белы.
Да, разве ты признаешься,
что нам немного
было по плечу.
Снега, снега, лишь с Вами льнуло чистое.
И улицы белы. И ты летишь ко мне.
Лишь сердце вызовет слезу, но счёт не выставит.
Лишь сердце знает, ты живёшь во мне.

*   *   *
«Мне не вернуться домой» –
это он написал.
«Сталью своих хрящей»

всё равно он город всосал,
в кровь впустил, в простат наготу,
все колонны колонн,
всех оград черноту.
Среди снега они закуржавлены,
чуть белы.
Солнце понизу тучи,
как-будто из-под полы.
И не надо, не надо стенать,
никого не в силах вернуть…
Но ведь в буковках прежних
жива их сермяжная суть.

* * *

Мой угол. Мой американский угол.
Повсюду полок разнобой,
и ящиков любых услуги,
и холодильников постой.
Один для овощей замёрзлых,
другой для мяса, третий для…
Откроешь и пахнёт морозом.
Закроешь и – тепла земля.
Всё примитивно, бесконтрольно,
и пахнет бывшею страной.
Воруют! Но тебе не больно.
Ты сам украден сединой,
привычкою глазеть на совесть –
позволит иль не извинит.
И потому захлопнешь повесть.
Кто нас, блуждающих, простит?
Ведь угол мой, других не краше,
для мускулов – не для тоски –
забудь где наши и не наши,
и вовремя меняй носки.

* * *

Моя ведь тоже не промах.
иголку не станет томить.
Чего в ней? Какие препоны
иголке дано отменить?

Но я, к сожаленью, не Ося,
и шапкою срам не прикрыть.
Иголку беру и понёсся…
Заплатой себя уронить?!

Да, полно! Я первым сезоном
такие заплаты вскормил,
что женщин смешные резоны
давно между слов утопил.

*   *   *

Мировое представление о Солже
простирает рядом нагружённых полок.
Здесь о русской культуре студентам доложат,
и о том, что путь был «тернист и долог».

Только что это? нет талантов красивше?
Разве он велик как ему представлялось?
Пусть Гулагов ещё с десяток распишет.
Но заморская слава за иное досталась.

Этих метров десятки борца с большевизмом.
А гордыня своя… О своя безупречность…
Цель понятна, но ложь с Вами рядом по жизни,
хоть порою о том не заботится вечность.

*   *   *

Мнение составить – вот первостатейное,
полное ошибок и тоски,
потому как общество питейное,
и с утра рвёт душу на куски.

Кабы так, и я б не шибко тратился.
Мнение – не к трезвости призыв.
Это сердцем в слове обозначится,
над Рейхстагом рифму водрузив.

*   *   *

Мне здесь и двадцати не будет.
Или двадцать два?
Я позабыл все палубы, где сера
вода, октябрьская твёрдая вода –
Байкал ведь устремляется на Север.

Стою. Перила. Пышности волос.
Да, парикмахеров не держим.
Оржавлен берегов забытый купорос.
Ты сам осенний, без иллюзий прежних.

Как выжатый лимон… Все силы на горах,
на склонах, с стланниковых лапах –
прихватят так, что вырвешь с корнем страх,
и весь в пыльце, и разложенья запах.

Мне здесь… Заладил. Старше, чем ты сам,
чем те, кто летом нежатся у моря,
кто жребий не тянул и не бросал –
в чём счастье, с нежностями споря.

*   *   *

Место себе не могу найти, настолько податлив.
Были Сибири. Украины были. И что ж?
Где то ружьё, под которым откроют спектакль?
Руки дрожат. Ты под занавес не попадёшь.

Место в тебе или в душах, которые рядом?
Место в диванных подушках или на дне –
вот он, каньон, хаоса правопорядок,
леса взлетевший кругляк висит в вышине.

Тихо. Покамест не рвутся природы плотины.
Можешь своим молоточком обстукивать твердь…
Место себе – это если каньоны покинув,
новых – подобных – больше не поиметь.

*   *   *

Мы влипаем в истории. Вроде не мухи.
Но её отодрать от себя ни вовек,
близки к власти иль ближе к соседке старухе,
для которой быть доброй – немыслимый грех.

Мы влипаем в подъезд, в жизнь которая около,
в переезды, традиции гордых семей.
А потом оглянёмся – мы счастье прохлопали.
И ничуть наши семьи других не срамней.

*   *   *

Мы лезли в штабеля –
лежать не одиноко,
и в камеры мы шли –
ты снова не один.
О Боги, слева, сбоку!..
С такой бы
добирался до седин!
А тут вдыхай,
её спасти не в силах,
и оседая медленно на пол,
успеть шепнуть:
«Ты красоту взрастила.
Я вижу как бессмертен
твой престол».

*   *   *

Мне бы небесной горлинкой
лапки перебирать,
подле заборов дробненьких

зёрнышек твердь подбирать.

Или вдоль края облачка
тихо себе лететь –
нету нужды нисколечко
счастье как все иметь.

Мне бы… И вскрикнет горлинка,
вскинется меж кустов.
Мне бы… И оземь облако,
канув в дожде пустом.

*   *   *

Но ревность снедает меня
и поныне, и присно.
Но строки крадут у меня
тишину и покой.
Что будет, то будет.
Зачем же несу укоризну?
О чём это?
Разве укрыться строкой?!

И мнимость теснится во мне,
и опущены плечи.
Ну, вскинусь. Ну, брошу словцо –
и поник.
Ведь ревность снедает,
поскольку велики предтечи,
и звук твой как рыбьих мехов
воротник.

*   *   *

Наука тем и хороша,
что говорит «не знаю»,
как вкусы рассчитать,
и средний изыскав,
привлечь к груди стихи,
перечисляя,
и здесь любим, и этим прав.

И мы рассчитывать не будем тоже.
Наукам верить – наш удел.
Пускай стихи поправит Боже.
В молчании он дивно преуспел.

*   *   *

Ну, что ж, из тупика в тупик,
из крика в крик,
и перемены лишь снаружи.

Почту за честь себя прочесть.
Какая, там, благая весть?!
Самим собой случайно обнаружен.

Ну, что ж, здесь выход или вход,
и для чего тебе народ?
Он из каких местечек?
Ему на благости начхать.
Берём! Здесь так добры давать,
и гнуть гордыню неча.

И там тупик. И здесь тупик
не об одном, но страшен крик –
зачем мы вышли
из рвов, из пепла, из облав?
Какой угоден жизни нрав,
чтоб позабыть – ты лишний?

* * *

Но рваться «прочитать стишок» –
совсем не счастие.
Знак избавления!
Свободен! Пусть живёт!
Когда бы любование собой
подобострастие,
возвышенности собственной учёт.

Всё! Изыди! Отстань!
И так не можется.
По горло сыт. По маковку.
Долой!
Ведь ничего не вспыхнет,
не умножится
за кромкой строчки «долговой».

* * *

Не воронежская, но передышка.
Тем, которым делалось лишку,
каждый день благодать.

Всё забудут,
ибо повсюду коврижки,
наслаждение – не передать.
Не воронежская,
но горлом рвётся,
что-то в жизни случилось не так.
Или она для того и даётся,
чтоб с мечтами всегда – впросак?

*   *   *
Не понаслышке смертны. Даже рядовой,
согласно правилам контракта,
не раз кричит: «Давай медбрата!»
и сам живой и не живой.

Профессия, какой не извести!
Века иль сами виноваты?
Сестричка, я смогу когда-то
подобного себе произвести?

И снова перекрестием прицел
находит не тебя, а просто точку…
Контракта мнимая отсрочка.
Ты сам уже нигде не цел.

*   *   *
Никто так вакуум не любил.
Он душ измерил разряженье?
Критерий пустоты открыл,
следя за строчки продвиженьем?

Он, что, разрыв её настиг –
ты удаляешься от хора,
когда тире – последний крик,
и точка – смысл разговора?

Но все критерии слепы.
У каждого их выше крыши.
Медоточивость – страсть толпы,
любого вакуума превыше.

*   *   *
Но праведник стихами не питается.
А грешнику они не по нутру –
такое чувство, будто издевается –
кривишь душой, я в пыль тебя сотру.

Но праведник их по плечу похлопает,
а грешник рвёт листочки пополам.
Кому писать? Тому, кто в центре топает,
кричит – я сам смогу, я сам?

*   *   *
Но здесь законов выше.
Высвобождая голос,
не держишь, что напишешь,
не охраняешь волос –
да, с головою вместе,

да, надо жить в боязни.
Но голос равен чести,
а честь превыше казни.

* * *

Но сдержанность советует –
востребован лишь тот,
кто озабочен чувством меры…
Я радуюсь ему. Я обуздаю рот.
Но дай и мне сказать,
хоть ты и первый.

О, хладнокровие!
О, прихоти ума!
Как можно?
Разве брань одна
нещадна!
Не строк исторгнутых вина,
что жизнь нескладна.

* * *

Ну, что ж, пинок за лицедейство –
вполне приемлемый итог.
Исчезнет Время – вновь злодейства –
суля счастливый эпилог.

Так уходи! Оставь площадку
тем, для кого пинки новы…
Какая странная повадка
не гнуть пред залом головы?!

* * *

Ну, как же Вы так, уважаемый классик?
Штаны нужны и не очень признанным.
Любой мужчина без них опасен,
да и не все комсомолки капризны.

Вдруг он род свой продлит – тем выживет,
и дитё у девочки не пролетарское?..
Уважаемый классик, не платье ведь нижнее,
да и штаны раздавать занятие царское.

* * *

Памяти Н.Я.М.

«Неаккуратно почищенная и уже подсохшая…»
А нас уверяют, будто пьют меды.
Как же ты живёшь, моя хорошая,

средь отечества немереной беды?

И ошибкой наши восклицания,
не скорбят они – всегда поют.
Как же ты смогла сказать заглавное,
то что в строки вечные суют?

* * *
Не рай, который в центре
любого мирозданья,
а рай, который с боку,
где жизнь не рай,
и никаких «любвей»
и никаких признаний,
лишь горечь изумленья –
опять страницы край.

* * *
Нова и потому текуча? Или сам,
настолько переменчив, пахнешь ново?
Воды сродни упавшим небесам,
их повторяет слово в слово.

Вот облако – спина, а рядышком живот,
здесь руки, головы не вижу.
Неужто новизна безумствами живёт,
к движеньям сердца ближе?

* * *
Памяти А.А.

Напророчил мантию из горностая.
Для стихов важней нечеловечье?
Чувство – пробираешься вдоль края
немоты, ещё бессвязной речи.

Напророчил… Но когда? А спязей
оставалась красива, как прежде,
и покой в ней был слова родящий,
царственность в обыденной одежде.

* * *
Но сыну отказано в списке,
и муки его терзают.
Да, были по жизни не близки,
но смерть разделенья не знает.

И знать ни за что не захочет,

был сдержанным ты иль пристрастным…
А детям и нынче пророчат
как папы и мамы прекрасны.

*   *   *

На дворе декабрём и не пахнет.
Не по-зимнему свод высок.
Всюду пышных кустов папахи.
Птицы летние. Наискосок

одуванчик весенний проклюнул –
перепутал, судьбу забежал.
Да, и я себе строк подсунул,
над которыми не дрожал.

То ли дело, когда их цедишь,
целый год под спудом хранишь…
На дворе декабрь. Ты не едешь,
и по-зимнему хмуро молчишь.

И внутри ожидание хлада.
Одуванчикам – что? Бог, ты мой,
мне тепла не небесного надо.
Мне б с тобой обрести покой.

*   *   *

Нева в одну калитку,
скользит между мостами.
А те не кошек спины –
раскроют в небо пасть,
которое упало
и рядом, между нами,
и даже корки хлеба
ему знакома сласть.

Нева упрётся в море
и потечёт обратно.
Мостам уже не слиться –
вокруг вода…
В одну калитку – это,
когда нам всё понятно,
когда не дальше корки
твоя беда.

*   *   *

Не увлекая за собой, не посягая –
всяк прав, хотя бы тыщу раз не прав –
и самого себя, неправого пугая,
словесных не боясь потрав.

Ведь нечем подсластить, настолько страшно,
коль бездна не озвучена досель?
Что там? Молчанье рукопашной
иль грязевой, гортань забивший сель?

* * *

Памяти О.М.

«На скатерти стола»
портретик набросают.
Станок печатный всё же не портрет.
Вот он каков!
Улыбка не простая.
В себя ушла. Другой в запасе нет.

Вот он каков!
Ему хрустальным гробом
судьба хотела угодить.
А он глядел, слепой,
за жизнью в оба –
не угождал…
Пришлось его убить.

* * *

Откуда посторонний?
Он в Гаспру не ездок!
Кто блага проворонил,
и Осипу подмог?

Питаясь не от власти
и непонятно чем,
он непочтеньем к счастью
являлся тем и тем,

кто бережно приемлет –
на то слепая власть –
и рылом роет землю,
стремясь в неё попасть.

Но Осипу, но Оське
все власти нипочём.
Хохочет! Смерть морочит
над вечности плечом.

* * *

Памяти В.Ш.

Он был досконально подучен –

ни кухонь, ни потных чаёв.
Слова притираются лучше,
когда ты один о своём,
и склянь опустелого звука,
и ложечки дребезг, и синь –
в глазах её речек излуки,
а руки трепали полынь.
Но вот закипит и прольётся
в стаканы ручной кипяток.
И бытом любовь обернётся –
людской благодати урок.

* * *

Она на границах утопии,
бездны розовых снов,
там где крадутся не тропами –
чтоб никаких следов,
и вовсе не важно новое,
и чтоб побыстрее пропасть –
души потрошенье дословное,
неутолимая страсть.

* * *

Один пропускает информацию через себя,
другой – себя через Время,
но оба не видят – планеты следят,
где человечье племя,

погрязло в чём, какой из богов
почётнее и агрессивней,
и как сумасшедший посредством стогов
входит в галактики линий.

Время, оторва и чинная дочь –
развязною сладостью слога
познаем, вкусим, и уходим в ночь,
где нет ни стогов, ни Ван Гогов.

* * *

Неграмотной 90-летней солдатке
Прасковье Григорьевне

От частого употребления
даже фронтовые не выдержат –
истираю треугольнички,
рассыпаются в прах.
Ванечка с Прасковьей,
память это выдюжит,
повторяя вслух

нежности в словах.

И почтарки зависть,
до сих пор бесстыдная,
ложь, которой Ванечку убьёт,
не исчезнет,
станет очевидною,
жизнь спустя
виновную найдёт.

* * *

Откуда идём на войну? Да, из детства.
В кого нам пристало стрелять?
Да, в таких же, как мы.
Вам худо жилось? Тяготило соседство?
Иль просто они непонятно во что влюблены?

Спасибо Богам! Расплодились. Даруют «заветы».
То гурий подпустят. То просто словесную ложь.
Куда мы спешим? На войне жизнь кончается летом.
И осенью тоже кончается, коль доживёшь.

Вы к нам заходите, соседи, пока не стреляем,
пока можно просто друг с другом сидеть
и видеть, как полдень живым обитаем.
И, нет, не понятно, зачем нам убийства терпеть?

* * *

О чём Вы думали тогда?
Вопрос хороший.
Да, ни о чём таком,
лишь друг и друге.
Или о случае –
его хлопок в ладоши,
и нате – появляются супруги.
Или ещё…
Неужто вправду любит?
Или вдогон…
Такое разве можно?
А что сейчас?
Кто у кого отсудит?..
Нам это представлялось невозможным.

* * *

Обмылок предпочёл!
А мы теперь лукавим –
любил комфорт, признанье, то да сё.
Любить любил,
да строчки не исправить.

Обмылок – это наше «всё»!
Дешевле земляник,
которыми не пахло.
Хозяйственное – недра буровой…
Весь в трещинах, сухой,
в землянке дряхлой,
где кто-то позабыл, в сердцах рванув домой.
Вот ты, по пояс гол,
и кто-то льёт не целясь,
то на затылок, то под поясок,
и от обмылка городская ересь
покинет лесом пахнущий висок,
впустив в тебя забытого, иного,
к которому вернёшься, предпочтя
не прелести из края душевого,
не ванны освящённые врачом.

*   *   *

Простые истины не познаваемы.
Их не увидеть в гуще лиц –
повергнуты или повалены,
и голову склоняют ниц.

Ведь поверх всем и всё известное,
её Величество толпа,
всегда объёмная, поместная,
и преднамеренно слепа.

В какую даль уйти, увериться,
услышав сердце без прикрас,
и к незаёмному примериться
хотя бы раз, хотя бы раз?

*   *   *

Пещера затем и возникла,
чтобы позже – на фото,
и Гроб Господень, и много чего.
Ты стал знаменитее,
когда за спиною ворота
чьих-то триумфов,
всесильных богов?

Пещеры души.
Пещеристо многое в теле.
Но фото зачем?
Ты достаточен сам по себе.
В тебе совершаются
тайные мира вечери.
И сам ты с собой
в предательской – вечной борьбе.

* * *

Пойдём за праздным любопытством, куда попалою
Ты был. Ты есть. но почему – пиши пропало?
Но для чего дитя природы уходит в небыль,
где даже корочки не сгрызть земного хлеба?

Наверно это поделом за путь недолгий?
Мы все курганы разберём за плавной Волгой.
И будут позже находить в небрежной гнили
подобье нашего жилья – напрасно жили.

Пойдём за праздным, за дурным – как угораздит.
За Волгой степи там и сям, и колок – праздник.
От деревца до деревца судьба героев,
и общее в чертах лица, и нет покоя.

* * *

Памяти Н.М.

Потом, когда страну приблизят к смерти,
«К немецкой речи», стало быть, виной,
жил Маргулис, хотя б сейчас проверьте,
французскою изысканной войной.
Он сквозь бараки проносил не шпаги,
а мушкетёром выспренний обет –
«один за всех», и получал в Гулаге
от однодворцев пайку на обед.
Или на свист симфонии склоняя,
со всей причудой богоданных нот,
бараки невесомым наполняя,
тем, что везде всегда наперечёт.
Что лагеря?! И вне мы без музыки,
без обещанья лучше стать, честней,
и наших кладбищ смирных повилики
не лучше лагерных непоименованных камней.

* * *

Полночь. Скрылись свистки.
От провинции – тишь, и полиция дремлет.
Пол полушкой ты скроешь запястье руки.
Мне почудится, мышь
нашим странностям внемлет.
Полночь. Скоро звезда догорит.
От окна до окна ей осталось немного.
Дверь тихонько ноябрьский день притворил.
И другой собирается тут же в дорогу.
Полночь. Всё! Позабуду про мышь.
Даже руку твою не найду под подушкой.

Завтра ты мне доскажешь, как с жизнью шалишь,
почему я порою похож на игрушку.

* * *

Поклоны и привет, кто вслух воображает,
что фразы насмерть поражают!
Откуда бы тогда народонаселенье?
Ему что слово, что коленопреклоненье.
И всё же те поклон – колено оземь,
спина пряма, а ты нервозен.
Как фраза хороша! Народ неужто дремлет?
Емля молчит. Народ другому внемлет.
Мне время жалко и живых скпленья,
вы помните, народонаселенье,
оно какое есть, таким и будет.
Все фразы хороши, когда в посуде
полно еды и налиты бокалы.
За что мы пьём? За то, чтобы хватало
ума тому, кто бесполезно пишет,
и тем, кто дело делает и зря не свищет –
всем нам, объятым жизнью временной, да сладкой
поклоны и привет. Пьём без остатка.

* * *

Первину от своего урожая
на краю ойкумены –
прообраз того, что придёт запоздало,
но всё же придёт –
похожа на детскую радость Вселенной,
в небе меж звёзд и созвездий
беззвучно не подплывёт.

Как было давно!
Мой сосуд измельченью подвержен.
Первина больше похожа на полову.
Мне бы к краю земли стремиться пореже,
делать вид, всё в порядке, ещё на плаву.

* * *

Снимая нагар со свечи,
о прошлом навзрыд закричи,
о прошлом ушедшем заплачь,
коль память – бессонный палач.

Снимая стежонку с плечей,
припомни совет копачей,
сгрудившихся подле костра:
«Зажился – если полста».

Какая бесстыдная ночь!
Она повторяет точь-в-точь
свечи неизбывный нагар
и «спальник» на жёсткостях нар.

* * *

С годами не печаль страшна,
не серые одежды,
которым ты становишься под стать,
а пустота в душе,
в пристанище надежды,
с которой жизнь способен наверстать.

Она давно ушла. Я помню только спину,
и нет, не тороплюсь. Куда спешить?
Одни считают, ты пришёл с повинной,
другие – совесть рассмешить.

* * *

Стань суеверным. Выбери тетрадь.
Раскрой случайные страницы,
чтобы взлетать и оседать,
как делали намедни птицы.

Они сегодня смотрят вдаль.
Какая даль? Зачем им надо?
Страницы белая эмаль
им нежеланная преграда.

Но ты от строк не отходи –
сойдутся, станут тесным кругом,
и отопрут в твоей груди
все суеверья друг за другом.

* * *

Слишком обыденен.
Слишком кухонен.
Божие птички вне зёрен поют.
В мире невидимом
звук малохолен,
ищет ему лишь
понятный приют
в строчках, в банальностях
скомканной речи,
в форточках –
слышите, я оборзел,
если пытаюсь на человечьем,
сам еприметен
и так неумел.

*   *   *

Сплошная актриса Раневская
склоняла Анну к питью.
Сплошной поэт Ахматова
дивилась Фаины чутью.

Какое нам дело до трезвости,
когда сам двадцатый век
шалеет от женской дерзости,
свой убыстряя бег?

Сплошные, насквозь горделивые,
судьбы свои пронесли,
не соблазняясь глумливыми,
выстоять нам помогли.

*   *   *

Ты представляешь –
и поток сознанья,
и сон навыворот,
и символов полно…
В ней было море
детства, обаянья –
всего того,
что мне слегка дано.

Ты представляешь,
я боялся верить.
И жизнь навыворот.
Она лишь терпит сны…
В ней было то,
что не дано измерить.
Так безупречна
чистота весны.

*   *   *

Только казённых рук боясь,
только с казёнными знаясь,
и за историю не стыдясь,
к ней там и сям подбираясь,
жил, «под собою» не чуя беды,
вернее бедой не считая…
Кто он? Зачем нам бесстрашных сады,
если мы в райских гуляем?

*   *   *

Тайны уносим, великие или смешные,

жизни сплетенья, судеб узлы.
Грешны? Ещё бы. Грешить мы спешили.
Но, не поверите, не были злы.

Трудно признаться – судьбу прозевали.
Что она значит, если её не поймать?..
Тайны уносим. Мы их до конца не познали.
Да и разгадками мало дано передать.

*   *   *
Таких в истории кладут как в люльку,
Афины рукоплещут, плачет Рим.
Ты рядом чувствуешь своих мозгов «фитюльки», –
как будто на одном, но розно говорим.

Но даже так в причины не пробраться,
а истины от каждой строчки прочь.
Великой мысли велико ли счастье?
Кого она спасёт в погромов ночь?

Ты – вакуум, слабее разряжённый,
не полный. Относительность везде.
Ни Рима, ни Афин, и даже кот учёный
вкруг дуба не спешит – как Сивка на узде.

И каждому своё. Ты тоже безутешен.
Не внемлют? И не надо. Суть слаба
глазеть, как гроб смыкает насмерть клешни,
и некому сказать – «обычная судьба».

*   *   *
Тайное лидерство
в слове ли, звуке.
Тихое слушанье
сердца всерьёз –
то ли причуда,
награда за муки,
то ли дознанье,
в чём жизни курьёз.

*   *   *
Тем и должна быть безупречна,
что раны личные беря,
даёт понять – бесчеловечно
жить собственным – бесценным – «я».

*   *   *
Ты будто от корост души,
от каждодневности запоя,

упрёшься в слово – в нём такое,
что сразу дни не хороши.

И сам нисколько не хорош,
в клещах сомнений и соблазнов…
Он улыбнётся мне заглазно,
хотя в иные сферы вхож.

Ведь дело не в размере сфер,
их славе, вечности и прочем –
вся в слове лишь чернорабочим,
и сам себе прилежности пример.

*   *   *

Ты мог не вовремя родиться.
Тебе иного не дано.
Желанье выйти, испариться –
приходит в голову само.

*   *   *

То рвётся в мрамора,
как будто в них спасенье –
прочешет Рим, чтоб статую найти,
в которой нет душевного смятенья
и в вечность будет по пути.

То слов Гиперборей,
его безбрежный холод
манит, и детство снова длит.
И сердцу ясно, этот голод
он никогда не утолит.

И всё к чему? Не мрамора меняют
на холода былой судьбы –
слов одиночество пугает
и скорби смертные следы.

*   *   *

То стул как «чувство пустоты» –
сидела б, не ходила где-то,
то шевиот на теле сжался
шагренью – и не продохнуть.
Был одинок не ради простоты,
не ради шарканья паркета,
настолько к боли прикасался,
что в буквах горечь. В этом суть!

*   *   *

Тьма слов обступит.
Ночью вовсе тёмны.
Поди, узнай,
что держат на уме.
И шепчут, и влекут,
и словно стонут.
А ты один меж ними
в тишине.

Мне б лучше два иль три,
но чтобы без прощенья
себе –
опять не тот искус,
и тишина чтоб знала,
обольщенье
давно горчит,
имеет горький вкус.
И нет ума отставить их, отринуть.
У тьмы ведь слов на всех – отдай другим.
И шторы мамины навстречу дню раздвинуть.
Что станет вровень с ними – дорогим?

*   *   *

А ты? Тебе не время выпасть,
и смене подрасти, и свой диван занять?
Да, стар. Да, не приучен выкать.
Пружинами души пытаешься зиять.

*   *   *

Ты подходи! Станешь женою и прочее.
Я подойду. Муж иль не муж, попытайся приять.
Что нам судьба, кости бросая, пророчила?
Я до сих пор не могу, не умею понять.

Ты подходи! Поезд с фатою к нам движется.
Фыркнет, перрон зацепил и – вперёд.
Счастье? Ты видишь, оно над перроном колышется.
Кто его знает, может и нам повезёт?

Ты подходи! Молодость – дело семейное.
Вера, надежда, совет да любовь.
В жизнь войдём. Позабудем про мысли келейные.
Поднята вдруг и опущена левая бровь…

Ты подходи! Очень может понравится.
Бровь опуская, поднимешь. Вдруг разберусь?
Жизнь посерьёзней, чем нам представляется.
Станешь женою, вдруг на тебя загляжусь.

* * *

Устало солнце. Почивает.
Луна предельно велика.
Её болезнь лучевая,
и бледны ликом облака.

Её повадка – красться небом.
А солнцу – будто неба нет –
упало, вместе с сжатым хлебом –
всегда как мы, себе во вред.

* * *

Памяти В.Ш.

У тебя есть тюремная телогрейка,
у меня – полевой заплатки.
Не богаче одна другой.
У тебя есть жёсткие нары,
у меня были нары в палатке.
Но сравниться было б нечестно,
мой дорогой.
У тебя есть вышки
и небо с упавшими тучами.
У меня по жизни хватало снегов.
Неужели всего-то несчастный случай,
бесталанность партийный богов?
У тебя есть горечь
и строчки – горчее не будет!
У меня приключались с горчинкой слова.
Не сравняться!
За проволкой были невинные люди.
Помню брошенный лагерь стороной обходила трава.

* * *

У меня появилось время себя послушать.
Это не значит себя услышать.
Но получше, чем просто кушать,
повторяя – меня не колышет.

Повторяя, гори всё синим –
пламя рукопись схватит жадно,
потому как шепчут – России
ничего от тебя не надо.

* * *

У шойхета законы писаны –
он режет «от» и «до».
В иное время курица свободна,
и может продолжать

класть яйца на рядно
иль где угодно.
Но девочке, которая отцу
пообещала шойхета проведать,
самой брать нож, конечно, не к лицу.
Едва ли нож окажется победным.
И если б не соседки бойкий нрав,
её пренебреженье «сводом правил»,
узнала б девочка сполна отцовский нрав,
а Бог в покое курицу оставил.

*   *   *

Хотя бы за себя в ответе – не до жиру.
«Прошения и благодаренья» в одной тарелке.
Вот и Кумран отделился – свои заимел «сатиры».
Бог-то широк. Это мы, толкователи, мелки.

Да и Филоны – ура! – не от слова филонить.
Те же евреи и смеют оспорить Калигул…
Самое лёгкое в жизни – себя проворонить
или в кармане держать неприметную фигу.

*   *   *

Харон скрипит уключиной.
По-видимому, левая?
Тобою всё получено.
Прощайте, жизнь первая!

Харон молчит, как водится.
Река забвенья тёмная.
Звезды здесь не сподобится.
Ход времени поломанный.
Или Харону хриплому
не надобно подсвечивать?
Уключиной поскрипывал,
твоим последним вечером.

И я молчу. Неведомо,
как разобрать молчание.
Река забвенья бедная –
простая как мычание.

*   *   *

Через тебя сливают информацию?
О чём?
На мельницу чью льют?
Какие в моде облигации?
Какой процент на вклад дают?

Цифирь настырная и злобная!
Не вразумлён бери шинель –
в те времена, где бедность нормою,
и керосинок чистят щель.

* * *

Часть империи – это Время,
честь империи – это бюст,
и вокруг вразумлённое племя,
и любовь из преданных уст.

Масть империи – это флаги.
Месть империи – это «вон!»
Одряхлели, осели гулаги.
Значит, Время других племён.

* * *

Чужую свадьбу поджидая,
и на пиру себя найдя,
не ведаем, что свадьбы рая
не обещают никогда,
что он гнездится где-то рядом,
и горечь на его устах,
и много что самим нам надо
в лесах по жизни и горах.
Чужая свадьба с Мендельсоном?
Любовь? Вы верите? Отнюдь.
Любить – чужой принять на грудь.
И всё смешать. И стать смешнее.
Ведь веришь – всюду не один.
И сердце больше не Кащеем.
И так продлится до седин.
А помнишь? И глаза на мокром…
А знаешь? Сердце снова вскачь…
А жизнь за окнами и в окнах.
И в каждом розности палач.

* * *

Эпоха прощания с дарвинизмом.
Деревьев выросло вдосталь.
Каждому выделить сук,
и чтоб сидел на своём,
своим давясь пофигизмом,
и никаких квартир
и приходящих сук.
Эпоха прощанья с иллюзиями –
двуногие, значит гуманные,
спины прямком подержат,
станет в душе светлей…

И каждому сук отдельный,
не папины дети, не мамины,
а сэру Чарльзу повыше –
больно украсил людей.

*   *   *

Я упаду.
Вы улыбайтесь, как будто нормально.
Я поднимусь.
Вы улыбайтесь, как будто не встал.
Слово похоже.
Оно не всегда идеально.
От идеальных
по жизни смертельно устал.

Судят, рядят,
от примеров своих безупречных.
Лестно неслыханно,
вдруг о тебе промолчат.
Ну, написал. Ну, прочёл.
Потому как беспечен.
Я ведь ещё в полный дых
говорить не начал.

*   *   *

Я приеду. Войду. Всё как будто не движется.
Те же блеклые краски и серая грязь.
Мне б хотелось забыть. Но ничуть не парижится,
и нью-йорки не входят в душевную связь.

Я приеду. Пройдусь. Грязь не страшной покажется.
То ли помнишь, что было три века назад?
То ли сам от неё и не можешь отважиться
видеть то, что никто тебе больше не рад?

*   *   *

Памяти отца

«Я б ещё погулял лет десять…»
А осталось десяток дней.
Жизнь не взвесить, не перевесить –
поподжаристей, повкусней.

И ему, безотцовщине бледной,
обделённой любовью сполна,
было надо всего-то – победный
хвост селёдки, да чарку до дна.

Грубоват или груб, но надёжен,

и себя не считая судьёй,
в каждодневности знал, где положен
разговор с подстерёгшей судьбой.

«Я ещё погуляю лет десять…»
Вот и тромб вразумил – погулял.
А февраль продолжал куролесить,
терриконов золу тасовал.

* * *

Я не хотел им стать.
Мне было баловства довольно.
Когда играешься,
слова за горло не берут,
не ведаешь,
как нестерпимо больно –
всю душу в звуки изотрут.

* * *

Я не первый, не третий. Просто паршивый осадок.
Что-то выпало, где-то осело внутри.
Мне не больше чем невзыскующим надо:
нагрешил – за собой подотри.

Но земля продолжает визжать и вертеться.
Дальше некуда ехать. Довольно! Пора
в нас самих, распрекрасных, до боли вглядеться
и решиться на что-то хотя бы с утра.

* * *

Я заскорузл в отведанном смолоду.
В блеске комфорта какой-то обман.
Нужно всего-то в любимую комнату
втиснуть меж полок нескладный диван.

В гавани книжной надо чтоб плавала
крышка плота, извиняюсь, стола,
и чтобы чашка кофейная ставила
нечто густое, почти как смола.

* * *

Я рад, что ты неисправима.
Я рад, что сам неисправим.
И нового не надо Рима.
Мы старый сохраняем Рим.

Хорош иль плох, не в этом дело.
Не всех прельщает новизна.

Мы выспренни и неумелы
и наяву, и среди сна.

СОДЕРЖАНИЕ

1995

1996

Куда уходит человек? В какие веси?.. *Памяти Б.Ч.*
Кто может без притворства…
Как брадобреи стерегут…
Как волочат металл…
Когда б не наказанье быть самим собой…
Красные помидоры, вот и настал черёд… *Памяти Б.Ч.*
Кончаемся загодя – впрок…
Как давеча случалось…
Как поздний ребёнок… *Жене*
Как оговорено бедой…
Коль в мраморе не замурован…
Коль вовсе не осталось суши…
Листик за листиком…
Лишь одинокий ворон исподлобья…
Люди мелкого счастья…
Мне предложили жизнь возобновить…
Между нами не звуки…
Мне как-то невдомёк…
Мне не было больно…
Милостивый сударь, разочарованье…
Не устоять! Америка – как взятка…
Не лук на подоконнике…
На конец сентября всё по норме, по норме…
Не грех, а прегрешение…
Нам до судьбы не дотянуть…
Не регулярность хороша…
Не буду путаться в ногах твоих…
Но только осень кровоточит…
Ничтожен каждый край земли…
Неверие людей тебя да не минует!..
Не подражанием живу – своей охотой…
На пристани, в толпе изгоев…
Непозволительно штукарство…
Не в пустоту… *М.Поповскому*
На «кембрий» надежда, на «кембрий»…
Никаких эксцессов не будет…
От руки себе угодного…
О чём трубит молва?..
Осыпает дарами…
От зла творимого, от наважденья…
От приглашения на казнь…
Об участи иной ни слова…
Отринуть красоту…
Отче, благодарю!..
Поплачь – и недолга. Остуда – не помеха…
Пенять на себя. Ничего не просить…
Примиряют не лоск…
Разрешает менять цвета… *Жене*
Рождённый речь любить…
Рождённая повелевать… *Жене*
Я был подвластным и отнюдь…
Разве я сторож подлунному миру?..

1997

Сужу не выше сапога…
Старческие надежды…
Среди сна ужаснуться… *Памяти Б.Ч.*
Тщеславным – что? Они всегда отыщут…
Талант запоздалый…
Так вот оно, братство Сиона…
Уже луна нетороплива…
Уймитесь! Я от Вас устал…
Я слышал, Вы больны…

1998

А если не обречено…
А ярмарка была!..
Быть с шутками своими тет-а-тет…
Без объяснений – стало тесно в море…
Всё та же чистенькая гладь…
Да, пепел на губах…
Ещё есть силы воровать… *Памяти В.Ш.*
Его уже не ждали…
Забудут свои… А своих-то?..
За немощь музыки, за ропот…
За прозелень вина, его холмы и горы…
Зачем ты? Ещё не понятно…
И танец подстеречь, забыв про неудачи...
Иное дело изумиться…
И псу в одежде конвоира… *Памяти О.М.*
И надо быть готовым у отчужденью…
И в слуги угодил, а ведь горазд был – мимо…
И в этом мире подневольном…
И только к старости начав…
Лишь воздух воровать…
Масштабы личностей не те…
Меж строчек не ищи – превыше…
На отзвук, на отзыв, на озимь…
Неровен час…
Не отогнать. Не излечиться… *Маме*
Не засветившись лишний раз…
Не выкупайте меня!..
На утлой лодочке, на самообольщенье…
Ну, не брани меня. Ведь вовсе не повеса…
Но предисловием унижен…
Не от обиды – от коварства…
Нешумных радостей растратчик…
Ни там, ни здесь…
Ну, погоди…
Не Евраазий сторонясь… *Жене*
Не умирать по-божески… *Памяти Вильяма Озолина*
Не прихотью своей…
Не будет ничего другого… *Сыну*
Неизреченно хорошо…
Не так безумен, чтобы добрым стать…

На избранность для сырости, а прошва…
О, как благополучны мы, как мерзки…
От пустоты до пустоты…
От бескорыстия усталость, от добра…
Отпустите его, отдайте…
То розовое платье из гипюра…
Я стар…
Я принимаю хлеб стыда…

1999

А выплатить долги не то чтобы царя…
А если надоест?..
А на зубцах…
А для тебя всё слишком поздно…
А если выше рост и выхватить неловко?.. *Памяти О.М.*
А выгода одна…
А в старости враньё всё желанней...
А если беспощадней без любви?..
Безнадёжности горняя крепость…
Без фамильярной простоты историю не сложишь… *Памяти О.М.*
Блажить – не значит сыпать рифмами…
Буду ждать минут двенадцать…
Всё!..
В столярку стащат, в казеина запах…
В запасе вечность…
Всё в гордости…
Волшебных снадобий сосуд…
В подробности входя…
Всё колдовство в охапках…
Дрожанье мостовой с упругой взрослой пылью…
Да, обвинитель общественный… *Памяти убитых дедов*
Довольно шёпота…
Ещё травинка, одуванчик… *Сыну*
Жизнь поучительна. Неужто незаметно?..
Ждать случая…
За черепом своим вернусь. – За костью!..
За частность свою, за частичность – лишь толика спектра…
И вытащить Плутарха в скорбный час…
Иудейска страха ради…
Из жизни смятенной, из жизни тревожной…
И грех тягчайший сочинительства…
И если не было дано сойти с ума заранье…
Как он пытался убежать… *Памяти Л.Б.*
К барьеру!..
Казалось бы, зайди за холм…
К счастью Пушкин был смешлив…
Конец божественной субботы…
Куда – луне? Потёмкам – вовсе!..
Мессии, в общем, наплевать…
Мы крылышки себе обрежем…
Наплыв на русскую поэзию…

На густые решета взят по-дружески…
Но как бы чаша не была полна…
Не странность зеркала…
Ну, шагай… Ну, не бойся… Я кончен и выжжен… *Сыну*
От алчных, пугливых прохода не будет…
Одинокость в поэзии…
Откуда сей курчавый вьюн?..
Оспаривать сверчка…
Общий наркоз и прощайте, преосвященство…
Пусть каждый атом скрытен и брезглив…
Писать Шекспира не еретиком…
Пусть лучших стихов…
Русский театр в бывшей синагоге?!.
Раблезианские холмы…
С чужим лицом…
Старость глазки приоткроет…
Сеть изорвать, чтоб больше не плутала…
Так долго красота, так близко озирает…
«Тискать ро́маны»…
То оземь падает, то оглашает высь…
Уезды дорожат улыбкой «фараонов»…
Что за беда, коль оскудела проза?..
Что ж ты супчик не сварила?.. *Памяти А.Зверева*
Чужих ролей?..
Чёрт догадает уродиться…
Я, слава Богу, выдержки иной…

2000

Комнат анфилада для кого?.. *Маме*
А Боги одиноки. На то они и Боги…
А мне об истине твердят – не скоротечна…
А век, того, остался позади…
А «это удовольствие» – за домом…
А радости чуток, пока душа кровит…
А мы всё в судьи норовим… *Памяти М.Ц.*
А этот беглый от одних к другим…
Боюсь, что строчки покаянные…
Безвестным сборщиком налогов…
Выдать дочку за придворность ювелира…
Вы слышите меня? Я счастлив!..
Вот предскажу…
Вот выплеск на рояль…
Верните бред безостановочный…
В истории местечко приглядеть…
Всё та же кабала!..
Вот вал пустой. Вот ноты – принадлежность…
Голубоглазая прохлада…
Где алогичность, нас не обнесут…
Две правды о самом себе, а то и больше…
Доносчику – наперво кнут…
Дорогу превозмочь – не сплющиться, не слиться…

Доколь взрослее взрослых?!.
Догуттенберговское время…
Еврейство как приманка для беды…
Ещё сочится кровь. Ещё следов довольно...
Еврею не показаны стихи…
За слово уцеплюсь…
За верноподданичества страсть…
Зачем мне поздних ласк заморские чернила?..
Знакомая оцепенелость…
За частность мою не пытайте…
За несравненность правоты – своей, не чьей-то…
Зачем нам хвататься за ноты?..
Зла убоись!..
Из жизни дождевых червей…
Из жанра выйти…
И цвет кристаллов не при чём…
Из фанатиков, из самых оголтелых…
И я тебе ответил «если»…
И даже за первых читателей…
И речки второй непутёвость… *Памяти О.М.*
Избыток времени? Его избыть не можем?..
Искать удачи у других поэтов…
И я неотделим, хоть радуюсь отдельности…
И вовсе не блажен…
Истории не нужно доказательств…
Кенигсберг взят…
Кусочки памяти сглотнуть…
Когда бы чувство правоты…
Как тёплой мебели кусок…
Может и вру я?..
Мы были смешными…
Не сижу у тебя в голове… *Жене*
Но чистый разум против хаоса бессилен…
И ты за ней, повеса…
Неистовы. К тому ж неукротимы…
Но так и не ответить на вопрос…
Ну, дата…
Не себя и её… Абсолютно напрасно!.. *Жене*
Назавтра известят, кто свят. Назавтра!..
Не испугать мне сборщика налогов на мосту…
Наградою лишь осени гоненья…
Не мы безумны – краски…
Но тема гибели поэтов…
Ну, что, возвысился, шлимазл?..
Но вместо линии косой…
Не сидя спать, а как бы привалившись…
На погибель лугов…
Но доктор, дудочку достав, дудеть не станет…
Не побережный…
На лестнице…
Ну, вот и лабиринт…
Не совпадаю ни с тобой…

Но там лежать, где музыка в крови…
Назавтра будет счастье…
Он в хоре пел, Сосо. А мы-то думали…
От интонации цитаты – закавычите…
Опять бесцарствие. Ни виршей. Ни имён…
Оглохну, онемею…
Строжайше запрещён мне вход на полустанок…
С иллюзиями полный кавардак…
Союзки и подмётки, без права на пролётки…
Свободы жест…
Слово от Бога или себе на потребу?..
Сперва повяжет побарачно и попарно…
Селёдка, слава Богу, хороша… *Памяти А.А.*
Три или две крупинки… *Памяти блокадников*
Таинственный недуг… *Памяти А.А.*
Ты помнишь жадную грозу…
У финикийцев отнимать – себе дороже…
Уйму своё негодованье…
Филистимляне всё ближе…
Шекспир виновен, что века…

2001

А осень напослед…
А высшее – предел услады управдома… *Памяти выживших и вернувшихся*
А если звёзды не хватать…
А прошлого забеги по ночам…
А истине немного по плечу…
А Боча мой, он репицей не двинет… *Вьючной лошади по кличке «Боча»*
А дождь поверх снегов хоть прыток, да куда там…
А скрепы жизни той устали разошлись…
Барьеры – пусть!..
Вот только душу запродам и вышагну из клетки…
Впредь о приличиях ни слова…
Вся жизнь как ожидание засветки...
В какие веси нас влечёт…
В замедленной искусности письма…
Вот только докажу последнее…
Всесильны лагеря!.. *Памяти В.Ш.*
В облатки рифм себя небрежно обернуть…
Долу четвёртый склон…
Для блага творенья творящим – а что тут поделаешь?..
Жизнь вычеркнуть как худшую строку…
Зато пророков дополна…
И угодить в «колючку» снова…
И с каждой дуростью считаться…
И толком не понять, как звук находит…
И если повезёт…
И стыд за жизнь, за то что длишься…
И вовсе не «гнездо Иосифа»…
И я объём рисую…
И если нам так красота важна после ухода…

Так перед кем я трепетал…
Ты запоздала увлекать меня…
Такую биографию коту под хвост…
Хочу составить лучшую строку!..
Чтоб кто-то и ясный, и юный…
Что Вам ответить? Я не перевозчик…
Что за тюрьма без обольщенья?..
Я шубу запахну. Енот облезлый… *Памяти О.М.*
Я здесь имею место быть…
Я сам из той страны коварной…
Я скромно перечислю два подвала…

2002

А если я чего и не успел…
А тут не комната – поболе…
А в глине только кость крепчает… *Памяти отца*
А юность где? Хотя не верится…
А с чувством правоты повременим. Когда бы…
А саван будто жёван… Обовшивел…
А наледь вдоль кара…
А мне пора. Ещё не серебристо…
Боясь прослыть лауреатом…
Бывший наивный – ни соли, ни перца…
Был смутен взгляд и жесты неопрятны…
Блажен, кто вовремя был сослан… *П.Померанцу*
Белая колоколенка…
Всех пожалевши…
В Венеции темно...
Вселенская мокреть…
Вот и пепел вновь взывает к Друскину… *Памяти Д.Х.*
В чём похоронят?..
Всего жальчее зябкий окрик… *Памяти мамы*
Вселенной бежевость…
Вы по весну? А я о чистом поле…
В месиве или на полках…
Вот евреи идут…
Вне истины слова…
Вновь ожидание дороги…
Все нападки от шалфея…
Ведь главное, не понимая…
Всем существом в сценарии уйдя…
До сана маркиза искусство каменотёса?!.
Ещё застал на белом свете…
Ему ничто не светило. Ликом уж больно чёрен… *Памяти В.Ш. и Б.Г.*
Желаете латку на латке…
Жаль, горя не унять. Слова давно бессильны…
Запрыгнуть в камеру и дверь захлопнуть… *Дмитрию Страхорскому*
За всю обыденность…
За удовольствие расплачиваться лестью…
За други своя – порыжелых словес позолоту…
Зима как самоотреченье…

2003

2004

Вот и цветочки на глине…
Всё закончилось плохо…
Вплоть до проказы…
Вот и я без биографии…
В расчёте на эпоху целуют лошадей…
В этой опасной затее…
Вы ждали Бога из пенала…
В какой кровати «по качеству»…
Все в ожиданьи справедливости…
«Ваша цыганка в штанах»…
В гостях у правды – значит на задворках…
Вдова не Манделя, не Штамма…
Вот обреку на слово… *Сыну*
В расчёте у белой вороны не выгоды краски…
Выгляни, ангел! Выгляни, ангел! Тучи приспущены…
В очередь, сукины дети! В очередь!..
Врут – эмиграция не вечна…
Всё уготовано. Как выпады стекла…
Всего-то крах… Ну, маленький… Ну, свой…
Всё казалось, что ходит у дома…
Взамен участию в скандалах…
Всё мало бумаги – себя передать…
Всё не будет иначе…
Всего лишь шаг через порог…
В деревне вместе с Еврипидом…
Все нападки от шалфея…
Грозы ночной уведомленье…
Диктатура пера или сам по себе?..
Давно уже вниманье обращаю…
Дожить ли? Заглянуть…
Даже имя безупречное…
Дорога меж заборов, дорога у калитки…
Два прикреплённых друг к другу обломка, две боли…
Жил одноглазый. Верил, с луком…
За верных негодяев…
Зачем играть аскета, однодворца…
За лучшее Время? Увольте!..
За чистоту тумана не горазд…
За длительность, за снисхожденье…
За то, что плохо кончу…
Здесь каждый круг непрочен…
И ты – разменная монета…
И даже кладбище твоё – изделия из букв!..
И я всей правды не скажу…
И кров пойдёт, как пелось, горлом…
И этот, отдельно взятый…
Их переставив так и сяк, истратив… *Памяти М.Поговского*
Из детских обид – не кокетство…
И ближнему – на горизонте – погрозить…
И ты бесплоден…
И всё бессмысленное ближе…
И этот, который себя убивал…

И что с того, не ждут «посмертно»…
И среди ночи меня не спросишь…
Игры дивные творя…
И, надо же, свалился с рысака...
И как-то не очень правильно…
И позабыть значенье слов…
И если не прикроют газетой или тряпкой…
И потихоньку уходить…
И это вечное бездомье, чуть прирастёшь – меняй посуду…
И чтобы беспокойный слог…
И будто не было ни разу…
И если угадать по скатерти стола…
Из простых рыбаков. Не дослушают. Надо иначе…
И что ни лагерь, то старик…
И каждый ворон…
И, слава Богу, не артельна…
И малой речки кривизна...
Испуганным мальчишкой…
И в этой ссылке, сломленный слогами…
Июльский дождь, ты был беспечен…
И жизнь прочесть как поиски Голгофы…
И на исходе слова…
И этот запах керосина от эпохи…
И только речь нечистой крови…
И у меня не хватит сил трясти кадилом…
И безупречно подсадили…
И Время выпадет…
И ты с улыбкою сторонней…
Из божьих рук, а дальше как придётся...
И даже в казённой печи…
И не смирив себя, залечь…
И ты простишь великодушно…
Крайняя скромность одежды и быта…
Когда бы думать о любви…
Какое чудо, после боя…
Как наваждение во мне…
Как ласковы были туземки…
Как гость… На сцену – под конец…
Когда я не был знаменит…
Кровь закипит…
Как пёс кудлатый, подожду…
Как будто всадники по полю…
Когда бы оберег от красного словца…
Кровосмесительство как суть стихов сложенья…
Когда бы не стихи о снеге…
Кто его знает, за что…
Какое откровение?! Когда…
Когда бы версию узнать при жизни…
Когда меня коснётся слава…
Как невлиятельна душа…
Как свидетель случайный…
Канун декады. Десяток вёсен…

Когда б желанная взаимность…
Каким меня задумал Бог?..
Кличка «Шекспир». В опьянении страшен…
Лишь ожиданье справедливости…
Лишь рвение моё необъяснимо…
Меняю гнев на милость…
Молчи, пацан!..
Маркировка – 37…
Мы ещё вернёмся к разговору… *Сыну*
Мне некого любить. Страна ушла в кусты…
Мы стали фотки получать… *Памяти отца*
Мне не с кем поделиться… *В.Павлыку*
Мне нужен не успех в игре – сама игра…
Но только преступив черту…
Но только сбои, аритмия…
Не снимут семь печатей с уст твоих…
Но в табеле о рангах – надорванной манжетой…
Не возвратиться побеждённым…
Не убояться слова своего…
На каждого по тазику, но иногда нехватка…
Ну, что ж, подозревайте…
Никто не явится во сне, не озаботится…
Ну, чем не пиррова победа…
Не вскоре умирать, а тут же… *Памяти М.Поповского*
Не варвары стремглав – мы им открыли двери…
Ни времени на выбор, ни перста…
Надень любимое платье…
Не очень честны дневники…
Ну, ладно. Ну, и пусть…
Не столько равноудалён, скорей, в дали приближен…
На донце. На солнце. Уже пригревает неделю…
Над этим тупиком не облако…
Невиданная почесть…
Намёки лжи нескладной…
Не всё ль равно, как уступают пальцы…
Но если в драку нос не сунуть…
Наутро встать и ужаснуться…
Не всё ль равно, каким был след…
Ну, что ж, мой друг…
Не изумят ни день печальный…
Ни в удалении из леса…
Но скудность позднего тепла всего дороже…
Но чем утробнее подвал…
Неторопливы облака…
Не смей к моей могиле подходить!..
Но если вымолю, живи…
Не приведи, Господь, в ней задержаться… *Памяти отца*
Но сумерки всего дороже… *Памяти мамы*
Наши не победят?..
Не до прочтенья мыслей…
Не первым планом, не первым…
На бруствер лёг, травинку закусив… *Памяти отца*

Три всадника за поворотом…
Текли напрасно дни Гомера…
Там жил сибирский Бог, раскосый старикашка…
Ты в первый раз меня предал…
Так деловита, будто бы не мне…
Ты слышишь? Я вернулся. В сени…
Та же постройка лица – лес в отдаленье… *Сыну*
У Вас роман или смирена одежда ночная?..
У тебя нет для меня крика…
Уже не двуногим зверьком…
Чем средь домов и переулков…
Что главное – себе не нравиться…
Я говорил, что буду в среду…
Я-то знаю, за что и как…
Я странного хотел…
Я стою дешевле, чем кажется…

2005

А вдруг мой отец…
А зовут меня – «ветер поутру»…
А этот в долг не брал… *Памяти И.С.*
А мы уже опомнимся едва ли…
А звукам для толпы не верьте…
А снег помажет губы…
А вдруг на роду написано…
А ты, распоряжалась ветками…
А жизнь-то прожита, и как – уже не важно…
А Время разве намолено?!.
А приблизительность показа…
А поезд всё мчится на Север…
А мудрости всего…
А ласковость последних дней…
А тебе хорошо?..
А если встретимся в Иерусалиме, если встретимся…
А по весне, когда пора вытаивать…
А тут и глазу выгода…
А знаешь, всё уже было…
А те, кто в партию пошли…
Ах, вот он, клуб! Троллейбус приустал…
А с этим что мне делать?..
А гнев на бантики пойдёт, потом на фантики…
Без анфилад! Неужто рады?!.
Будто под вечер пришёл, но не поздно…
Всего загадок – смуглость леди…
Ведь нет, не дерзновенен – руки о бок…
В божеский вид приведут…
Все эти знания нелепы…
Весь в заблужденьях добросовестных…
В ней всё от места производства…
Всё просто. Выбирая сам…
Ведь на другой масштаб игры…

И младших слов незрелые уста…
И, дай-то Бог, высокой меты…
И если побудительно попасть не в ноты…
И потом мы с мамой снова…
И чтоб год Мастера обувка…
И то что мной не завершится… *Детям*
И где положен был валежник…
И в каждой доле правды…
И дали дальней безнадёга…
И если звук не призрак…
И то немыслимо…
И Блока целые куски, и блоками…
И только там, вдали от берегов…
И все, кому не лень…
И мне б свои слова всучить…
И этот голос дармовой…
И размышления мои – не плоть, не лицедейство…
И для себя надежду оставить ненароком…
И возвращенье на вокзал…
И если жизнь свою не сокращать…
И на преддверие склероза…
И если прибыли нисколько…
И даже личный отпечаток…
И если знать, во что ты слишком веришь…
И я за это заплачу́…
И если жизнь не бесит…
И это касается только меня…
И выставить себя, и высмеять…
И не дай Бог стоять пред выбором…
И только центры речевые…
И всё равно был чуть подслащен…
И только первого июля…
И если ты испросишь позволенье…
И ниточка узкоколейки…
И мне бы на четыре тракта… *Памяти Е.В.*
И ты, приспичит время, подверстаешь…
И если ты евреем быть согласен…
И ты велеречив…
И если тень от дерева…
И, уходя, не хлопнет дверью…
И ты хвалить меня устанешь…
И будто память променять собрался…
И если Вы, меня судя, решите, так и надо…
И вновь отъезд… Как будто понарошке… *Сыну*
И всюду злоба дня…
И пальчиком грозит…
И если ввечеру нет строк…
И ты сожжёшь мои стихи…
И в этой дымке облаков и гари…
И запах лета ускользавшего…
И что с того, Голгофа рядом…
И этот Бог неуловимый…

И мне досталось от Победы…
И Боря Слуцкий с цепочкой горшков…
И только средь своих императивов…
И признанным хотя б чуть-чуть…
И ложь прочту. И стану невменяем…
И он, прощальный, тихий до беззвучья… *Памяти отца*
И только шкуру продырявив…
И я отделюсь от Америки…
И где воды зерцало…
И будто куриная лапка… *Памяти мамы*
И это зачатье несчастное…
И щепочки нужны словам, и шепоточки…
И вслед за тенором, за тенором…
И вроде дом… Да, нет – бездомье…
И на придворного похож – так раболепен…
И было бы стремление к показу…
И этот день порфироносный…
И вдруг – наплывом – жизнь военная…
И было стыдно Мандельштаму…
Как будто звуки не улики?!.
Кому он нужен, этот Трифонов?..
Куда бы не завела…
Как холод свеж – раздвигает занавески…
Конечно, не в ладу со всеми…
Как смерть права…
Как генуэзец выпустить чуму из Яффы, и дать ей волю…
Как жадность на слова святá…
Как голос, выводя на свет…
Коль скоро, этому режиму…
Когда меня пошлют в чистилище…
Как в поле лес, а лес в беззвучье…
Конечно, славно, лес на взгорье… *Парамским порогам р.Витии*
Лишь гений промахов уверен…
Лишь здесь, на пашне муравьиной…
Лишь гогот одиночный…
Лишь своё – непотребное…
Лишь по возможности, по случаю…
Лишь снега запоздалые…
Мне важно всё, что думает пацан…
Мы все горазды знать других… *Детям*
Мы едем. Это странно…
Может что-то получится?..
Мы поперву ещё горазды…
Мы станем жить на лукоморье…
Мы все на публике другие…
Мне б красть, но воздух так подвижен…
Не распинаясь перед каждым…
Ну, придадут тиснению, ну, вычтут…
Но суть когда-нибудь вернёт свои приделы…
Наладились песни лудить...
Но только нищете подвластны…
Не то чтоб понять, ну, как бы почувствовать – рядом…

Но только помрачения не надо…
Не обречённость, не докука…
Но если в голову приходит…
Но таинство всегда в подбое…
Но мой пример – такая скука…
Но в этом мире полудачном…
Не упрекай меня. Слова неутолимы…
Ну, похвали ещё…
Не сыт песком. Он ветренен, непрочен…
Но вечностью не соблазниться…
Не собственно вода, которая струит…
Но многое закономерно…
Не в каждой осени загадка…
Не предъявляя обвинений…
Не голос времени, а пауза…
Но за колючей проволокой…
Но брезжит свет…
Но если не изгой, то песни в хоре…
Не больше, чем на самом деле…
Не поздно ли? Мальчиком юным…
На перекрёстке газетном…
Но истина превыше!.. *Сыну*
Но мне он нужен, этот маленький…
На расстоянии руки…
Но мало-мальское уменье…
Ну, ладно, метафизика… *Памяти ушедших*
Ничем я не рискую… *Жертвам гулагов*
На кружевах теней то всхлипы селезней…
Назавтра ты один…
Не спрашивай – не знаю…
Но выше всех соблазн пера…
Не путать посуду…
Неужто кто-то сортирует…
Ну, нет уж, увольте. Я так не уймусь…
Но тот, кто должен возразить, не слышен…
Оно и сейчас вопрошает… *Памяти Б.П.*
О, если б мой прадед певал, о, если б… *Памяти погибших в погромах*
От неудобства парика…
Ограда к ограде – двойные дворцы…
О, эти отцы несносные…
Октябрь, как флорист глазастый…
Отцы врагами были…
Прочь все титулы, прочь!..
Подальше от сердца, подальше…
Потому и пишется, что ночью…
Прорицавшие товарняки…
Побег в себя…
Побойся Бога, прошепчу себе…
Пальнут, закурят и – опять за прежнее…
Потом передачу примут…
Приехать умирать, когда приспичит…
Реванши прозы мемуарной… *Памяти И.Б.*

Стучат колодки «утюгов»…
Сестерций накоплю…
Светло-серого багета…
Сандалики на ранте…
Ступив на сырость, взявши робость…
Сказать, что Вас люблю?..
Сегодня маска миротворца…
Спать буду у твоей двери – ужель не ясно…
Сначала хочешь отделиться…
Столько любви, столько сердца… *Памяти А.А.*
Три призрака моих, три призрака…
Только словом не накажи…
Ты что, из евреев?..
То не по делу пересадка…
Удобства на дворе и как бы на отлёте…
Тот священник, который венчал…
То ли ближним боярам услуга… *Ле хаим, бояре…*
Устроен так, такое построение…
Уже не бабье лето…
Увы, Гюго, а так хотелось лучших…
Умерших звали?..
Уже не помня правду о войне…
Хоть в комнате своей, но – гением…
Что оставалось Шейлоку?..
Что ты знаешь обо мне, мой ребёнок?.. *Сыну*
Чтоб ты покоем наградил меня…
Чтобы Богу вернуть странный дар…
Чтоб дом оброс моею шерстью…
Что за палатка – шёлк и щелки…
Чисто поле проволокой обнесут…
Это моя биография. Вы не пеняйте!.. *О.Можаровскому*
Это по силам моим…
Я был и остаюсь…
Я не молюсь за тебя – не умею...
Я теперь друзей зову к шести…
Я позабыл, позабуду…
Я всей своей болезной плотью…

2006

А снизу, за оградой…
А ты меня обскачешь… *Сыну*
А Моцарт знал…
А тебя отсюда не выпустят…
А тут души огарок…
А собственные бесы, их куда?..
А Пушкин Ваш её не понимал…
А здесь без чугуна уже ни слова…
А шестипалый, что, там, говорить…
А здесь не город, здесь никто не жил…
А тут обида как угроза…
А тут единственная новость…

В Россию не ездить и даже твердить – ни за что…
Всего-то делал для Победы…
В отличие от всех, кто обещал…
Вот девочка вне дома, вне семьи… *Е.М.*
Вдруг странный сон: Булгаков Миша и стихи… *Памяти М.Б.*
Всё что будет посмертно…
Всего-то выпало продлиться… *Е.М.*
Всё в правильных словах…
Всё б ничего, да жизни кутерьма…
Выигрыш непреодолимый…
В мехах золотое вино…
Вот говорят, что строчки…
Вот Моцарту не будет сниться…
В потоке не просты теченья…
Вот рёбрышек полуокружья…
В отчет на самолюбованье…
В своей душе распорядиться…
Вас пригласят на чтение…
Вот и вершина… Но сам забираться не смей…
Вот и небеса поднимет март…
В самоназначенный день… *Памяти родителей*
Всего лишь молчание века…
Вы бы сами гению дали… *Памяти О.М.*
В моём пустынном закулисье…
Ведь мы не сразу отвечаем...
Господние дары не рощи, не долины…
Где вдохновенье? В чём проскок…
Гораздо больше тайн…
Гарант чего?..
Гусиный гогот. Слюдяные…
Давай, как можно ближе подходить…
Даром, что их уподобят друг другу…
Душа и внятна и невнятна…
Другие скажут, не хотел… *Памяти И.Б.*
Донашиваешь не только тряпки…
Декабрь. Леса нищета…
Девчурки нрав не робкий… *Памяти Н.М.*
Джон Донн, опять ты нагрузился огурцами?..
Да, другое – и тоже неправда…
Другой останется в памяти…
Душа поэта отлетела… *Памяти О.М.*
Другие чаще лгут…
Ещё сопляк, а всё ему подвластно…
Ещё положенные мамой…
Жаль, что почерк не сегодняшний…
Зачем я наседаю на тебя?.. *Сыну*
Забава? Неужто забава?!.
Зачем глаза?..
За этот произвол из букв сотворенья…
Зачем ты сел за руль?.. *Памяти отца*
Захудалым оказался ресторанчик…
За меня не должны хлопотать…

Здесь от щеколды толку мало...
За сторожем следить…
За бруствером покой. Лишь пули, зная меру…
За неотчётливостью слова…
Здесь всё кустарно, даже почерк…
За следом след… А кто последний?.. *И.Б.*
За писарем, понятливым в писанье…
За свежим случаем – парная… *Памяти Б.С.*
Зачинщику не заступить дорогу…
А этот, новоиспечённый…
А здесь дистанции довольно…
А тут уже внутри спокоен…
А он опять на чемодане…
А тут и стол, металлом взятый…
А люди безупречные опять в любви верхах…
А Бог их молодыми прибирает – до распада…
А тут комарик запоздалый…
А мне куда подеваться, отпетому?..
Был труд воскресный узаконен… *Памяти отца*
Больно шашни Ваши надоели…
Бестрепетна и потому права…
Будто бы слова возносят над другими…
Безоблачно. Почти невероятно…
Без пещер пророков не бывает…
Бок о бок малинник с забором…
Вы были ребёнком?..
Всем наваждениям упрёком…
Вы слышите, несовершенства…
В сфере расширенья толкованья…
Всё упирается в огарки…
Вся жизнь как предвкушения прихода…
В доме хоть шаром покати… *Блокадникам*
В который раз пережидая…
В слове что? Агонии экстаз…
Вдруг дверь проделает рывок…
В раю всё райское, поскольку…
В него свои стреляли… *Памяти Б.П.*
В его стихах – развалы прозы…
Глубоко враждебные и чуждые…
Господне лето…
Дожить до повторных арестов…
Доколе спрашивать о вечном?..
Здесь город убегает в сосняки…
Здесь не было конца вещам – одно начало…
Здесь милости не падают с деревьев…
Забвение всего дороже…
Здесь и слова дальневосточны…
Зимовье выбрать на отшибе…
Здесь личности вредны державе…
За млечной женщиной…
Здесь от Всея Руси осталось только слово…
И разве прав художник, сделав выбор?..

И если сам откроешь в бездне… *Г.П.*
И будут пространства не лишни…
И смысл несчастья понимая…
И страшно оставаться без ответа…
И сам воздаст, и сам припомнит…
И вымолить. И тут же, пожалев… *Г.Соколову*
И я конформен…
И что в Земле всего дороже?..
И если не безвыходна, то что?..
И этот возраст не по правилам…
И проиграю в своих глазах…
Кто поставил меня над словом?..
Как будто буковки престижны…
Когда б?! Когда бы дело в том?..
Как самоварно золото по сути…
Куда важнее не поэтово…
К лучшему, что пока…
Как не присвоен был Россией…
Как отстреливался Бабель!..
Когда бы слова не заметив…
Когда бы только крохоборство…
Как бы тихо – чтоб не сесть… *Памяти О.М.*
Как упреждает нас доходчивость…
Листва опять переметнётся…
Меня давно пора остановить…
Мы призабыли, в настоящих…
Но в этих строчках «топлесс»…
На нашей Земле некто жил… *Памяти М.Г.*
Но ты не фруктовый, не ягодный…
Не успеем развеселиться…
Неужто мелочность каприза…
Не потому ли оголтелы…
Но там, где подлинная ересь…
Нарушение законов физики… *Памяти З.Г.*
Не строки обдуманных правил…
Не вмешиваться! Слову не приятно…
Нет, не вернуться тем низким ветрам…
Но каждый день напоминаньем…
На себя оглянусь и застыну – отсюда слова…
Но все в характере горазды…
Но Время, взятое невесть откуда…
Но только чтобы не богаче!..
Не к холодам лицо повёрнуто…
Небесных звуков факультеты…
Не написал ли сгоряча?..
Но с той поры…
Не может вечно продолжаться…
Но радость горечи страшней…
Не золото пьянит кареты…
Не алгеброй гармонию расчислил…
Но неофиты запоздалые…
Но жизнь ль сама, испугана необратимо…

А я туда не хотел направляться…
А искры божии ни сколь не множатся…
А руки-то не вижу…
А этот, сердцем не стеснённый…
Бежать от чужого креста со своим на плечах…
Был Синявский каторжник… *Памяти В.Д.Дувакина*
Более важное даже, чем жизнь моя…
Бесконечностью моря не парус питается…
Бьёт по барабанным…
Все остальные апостолы Тайной Вечери…
Вот и служишь как бы самостоятельно…
Всюду вакуум мнился. Друзей не хватало…
В открытые глаза входи, располагайся…
В день похорон, откуда ни возьмись…
Всё золото мира наружу…
В бесследности шагов…
В преддверьи старческой любви…
Вот и снова тебе становится страшно…
В размышленьях о Северной Азии…
Вы живёте, как должно, не с тем…
Все хотят быть услышаны…
Вы слышите, дети казнённых?..
Взять рисунок Моди и уйти…
Гений не в том, как его осеняет…
Где во всём этом Бог? Нету ответов…
Достану том из-под полы…
Документы не выхватывают…
Даже дыханье поставят в вину…
Демоны мои…
Да, мы родились запоздало…
Да, горечь в буквах, слева их веди…
Девочку кладут в рукав от шубы…
Доколе мне суждена чужая одежда?..
Его Василиса укроет… *Памяти О.М.*
Есть много несчастий…
Её поставили к стенке… *Памяти А.П.*
Если они заблуждаются, то искренно…
Если нету галёр…
Желание неуязвлённым… *Памяти И.Б.*
Житейская игра…
Здесь ты на вертеле то круг вблизи лица… *Лету 57-го*
Здесь небо не разгневано…
Зубы со скважинками…
Здесь лошади загнанной шкура…
«За органами числились!..
Здесь, узнавая в гуще пальцев…
Запечатана семью печатями…
Заблаговременно упрятанные…
Здесь Данта скорбь иль руки ада…
Запоздало и унизительно…
И даже в комнату войти сначала страшно… *Сыну*
И чтоб не забывать, ты пишешь…